

опустошитель

[иверсния курутьлы]

#35

агрессия



Журнал «Опустошитель»

#35. Агрессия

Москва, декабрь 2021

314 страниц

Главный редактор Вадим Климов

На исходе 2021 год, второй год пандемии, медицинской войны всех против всех. Агрессия все больше сливается с нормой. Ей мы и посвящаем 35-й номер «Опустошителя». Маруся Климова, Александр Дугин, Карл Радек, Вильгельм Шенрок, Света Литвак, Свят Павлов и прочие генералы и адмиралы литературной резни в декабрьском выпуске антикультурологического бюллетеня.

ISSN 2219-5424

В оформлении обложки использована фотография Уильяма Кляйна.

Опустошитель, 2021
<http://pustoshit.ru>

ж у р н а л

ОПУ СТО ШИТ ЕЛЬ

#35. Агрессия

Сергей Дедович
Евгений Долматович
Артур Другой
Александр Дутин
Александр Гунин
Арсений Занин
Вадим Климов
Маруся Климова
Дмитрий Колейчик
Алексей Лапшин
Света Литвак
Павел Лукьянов
Карина Намазова
Карл Радек
Свят Павлов
Александръ Саньковъ
Евгений Телишев
Марина Третьякова
Вильгельм Шенрок

Москва
Декабрь 2021



ГЕНЕРАЛЫ И АДМИРАЛЫ ПСИХОГЕОГРАФИЯ АГРЕССИИ

На Соколе, прямо у метро, разделенные Ленинградским проспектом, стоят друг напротив друга два великолепных здания — дом Генеральский и дом Адмиральский. В одном живут генералы, в другом адмиралы. Между ними идет долгая непримиримая война, как между шпаной из соседних районов.

Бывает, подвыпивший адмирал сворачивает на выходе из метро не туда и попадает не к своим, а к чужим. В хмельном мареве направляется прямо в лапы своих палачей, которые отведут его, парализованного ужасом, в самую подворотню... за гаражи, где поиздеваются над бедолагой вволю.

Что может помочь такому адмиралу? Разве что случайно подвернувшаяся старуха-кошатница, которая шуганет хулиганов. Генералы конечно же врассыпную, только пятки сверкают. А адмирал посмотрит на старуху недобрым взглядом — нос разбит, под глазом распухает синяк — какая здесь благодарность.

Он не станет говорить «спасибо», но в душе его трепещет признательность, которую адмирал пока еще не умеет выразить. Осмотрев изорванный костюм (вот ему влетит дома), адмирал утрется грязным рукавом и поплетется на свою сторону.

Обратно в подземный переход под Ленинградским проспектом — хорошо еще, если в таком виде его не примет полиция — и вот он уже на своей стороне, в стане адмиралов. Желательно проскочить в подъезд, минуя насмешливые взгляды приятелей.

Хотя... пусть видят. Все-таки не абы как, а в честном бою он свои ранения заработал — пятерых генералов за так отметелил. И отметелил бы еще пятерых, если бы не старая карга-кошатница.

На исходе 2021 год, второй год пандемии, медицинской войны всех против всех. Агрессия все больше сливается с нормой. Ей мы и посвящаем 35-й номер «Опустошителя». Маруся Климова, Александр Дугин, Карл Радек, Вильгельм Шенрок, Света Литвак, Свят Павлов и прочие генералы и адмиралы литературной резни в декабрьском выпуске антикультурологического бюллетеня.

м и к р о

Марина Третьякова **ЗОЛОТАЯ БАБОЧКА**

Однажды в моё освещённое ночью окно влетела бабочка. Ночная, разумеется. Серая, с белёсыми крыльями.

Я писала диплом, и потому заметила это событие, когда она, обезумев от электрического света, стала биться всем своим телом о стены и потолок. Она производила много шума, да и явно была не в себе, так что было решено для всеобщего спокойствия её изловить и отпустить на волю. Спустя пару минут преследований я накрыла её дрожащее тельце попавшейся под руку банкой. Просунула в зазор между стеной и горловиной бумажку и понесла на балкон. Но когда я убрала бумажное препятствие, из банки никто не вылетел. Осторожно я заглянула внутрь...

О, нет!

Это была банка, в которой я смешивала золотые акриловые краски. На дне осталось немного липкой субстанции — она и пленила мою несчастную нечаянную гостью.

Словно распятая, она утопала в золотом болоте с распластанными крыльями. Её незащитное брюшко, невыносимо серое, дрожало. Лапки беспомощно перебирали воздух. Бабочка утопала в золоте, не в силах от него освободиться.

Что делать? Достать её — причинить ещё большую боль, изломать вконец хрупкие крылья. Я оставила банку на балконе и ушла. Ушла, понимая, что оставляю это существо погибать, хотя и помочь ему не могу.

Я любила писать диплом по ночам. Под утро решила освежиться, выпить кофе на балконе. Солнце ещё не поднялось над горизонтом, но от его близости небо понемногу прояснялось. В черноте стали различимы детали. Балкон, развешенное на нём бельё, лавка у подъезда, миски с водой для местных котов и весь двор — всё приобрело графитовый оттенок, словно было нарисовано простым карандашом на белой бумаге. Эту простоту оттеняла звенящая тишина...

Хм, а что-то и правда звенит. Нежно, едва различимо. То ли в ушах звон, то ли наяву...

Непостижимо!

Она жива!

За ночь краска потускнела и высохла. Бабочка в банке сидела, как и положено насекомому, на своих лапках, победно сложив крылья за спиной. Она силилась взлететь, отчего её крылья производили этот волшебный звон. Но не могла. Застывший мерцающий акрил остался на крыльях. Красиво. Но слишком тяжело. А она пытается!

Этот звон мне показался гимном всей жизни. Всю эту ночь, пока я писала диплом, а большинство людей спали, на моём балконе, в этой самой банке из-под какой-то икры, что ли, происходила борьба за жизнь. Вызов: превозмочь себя, превзойти липкую золотую субстанцию — или утонуть в ней. И она победила. Совершила этот переворот, встала крепко на ноги, освободилась от мерцающего плена...

На рассвете она умерла.

Задохнулась, устала, оставила попытки взлететь... Не знаю. Увидела ли она первые лучи солнца, лучи того настоящего света, который она всегда роковым образом путала с человеческим электричеством...

Последний полёт — из стеклянной гробницы с золочёнными стенами в мягкую землю палисадника, разбитого под окном пятиэтажки.

Карина Намазова ЖОР

*Все имена и события вымышлены,
любые совпадения случайны*

Женя (в какой-то момент было решено назвать ее так) долго не могла сообразить, в какую сторону открывается дверь. Если вчера открывалась исключительно от себя, то сегодня несомненно пошло что-то не так, ведь дверь решительно не желала двигаться вперед, зато плавно отъехала назад, и Декина, вздохнувши с облегчением, проникла в редакторский кабинет, откуда порой распахивались интересные виды на современную литературу, но сегодня ничего не виднелось, кроме тьмы за окном идохлого таракана в углу. Декина была необычайно голодна, закусить хотя бы завалящим писательским телом не получалось уже две недели, даже египетские крысы не могут прожить столько без еды, и все-таки она — не в пример жалким грызунам — держалась, напускала на себя грозное величие, приосанивалась в достойном одиночестве, и мурлыча под нос незатейливый мотив, полировала когти. Обоюдоострые, они жаждали сомкнуться на шее бледного литератора, и растерзать, разорвать. Женщину трясло от предвкушения, она периодически выглядывала в окно — не идет ли какой-нибудь графоман, неся подмышкой свое бесполезное творение, и если идет, то какой — старикам она банально и предсказуемо предпочитала молодых, кровь горячее, внутренности сочнее, и если добраться до мозга, разводя мощные челюсти с рядами острых как кинжалы зубов, мечтала Декина, то серое вещество, похожее на грецкий орех, значительно более пряное и нажористое у

юнцов, да и кости у них разгрызаются с таким приятным и звонким лопающимся звуком, вздыхала Женя, куда там глухому старческому треску.

Ошметки писателей Декина выплевывала в урну, там до сих пор лежали чьи-то волосы и ногти, плохо пережеванное лицо, и чей-то вонючий кишечник. Тухлые запахи снова стали будоражить воображение, она поднялась, швырнула пилку, и отчаянно взыв, провела когтями по стене, оставив десять глубоких полос, немедленно требовалась свежая пища, иначе она могла запросто выбежать на улицу и приняться за обыкновенных прохожих, что, конечно, было чревато и уголовным делом, и тюремными заключениями. Дрожа от нетерпения, Декина высунулась в окно и завывала, клацающая челюстями.

Словно услышав ее бешеный призыв, на мостовой показался старик, благообразный, с чемоданчиком, немного помедлив перед редакционной дверью, он отворил ее и юркнул в длинные коридоры. Через пять минут я наконец покушаю, изнывала Декина, мечтая о жестком и горклом мясе, но в кабинет никто не заявился, верно, посетитель направился в иную инстанцию, и не пробавляется писаниной, а например, прибыл заполнить декларацию доходов. Это было ужаснее всего — поманив, судьба расхохоталась. Женя выбежала в коридоры, надеясь, что старец промахнулся мимо нужного номера, где заседает она, или ему сделалось отчего-то плохо, и он застыл на лестничной клетке, и так явственно она видела, что берет за руку гуляющего в прострации старичка, отводит куда нужно, и сразу, без прелиминарий, начинает жрать, откусывает голову, кровь брызжет на стены и потолок, и шершавым раздвоенным длинным языком Декина ее слизывает и наслаждается. Увы, здание казалось пустым, только в кабинетах шла напряженная работа, стучали печати и щелкали счеты, и секретарши набирала какие-то тексты, и глухо бормотали начальнички.

В сердцах Декина хлопнула дверцей и открыла шкаф, где хранились рукописи, конечно, она их нико-

гда не перечитывала, но хранить было приятно, создавалось ощущение весомости и смысла. Теперь даже стопки желтоватых папок не успокоили, она закрывала глаза и видела кровь.

В кабинет неуверенно поскреблись, входите, открыто, весело закричала Декина, и на заклатие явился совсем юный парнишка, лет, может, двадцати, сутулый, с пышной копной волос, зачесанных назад, в давно нестиранном свитере, с заветной папочкой, которую он робко прижимал к груди. Заискивающе глядя на Декину, юноша произнес, что хотел бы напечататься, тут она его оборвала и жестом попросив папочку, уселась возле окна — чтобы было нестандартно — а гостя попросила здесь же обождать, пока знакомится с его творением. Текст напрягал и угнетал с первых строк, там были несмелые поцелуи, и Она, и причастные обороты, визжащие на поворотах каждой страницы, и клятвы, и свидания, и предательство, и суицид на мотоцикле, — все, что выворачивало и вдохновляло на кровавые подвиги, и она, распаясь, стала выговаривать вслух то, что думает об этой низкопробной и непотребной писанине. Юноша сидел, вжав голову в плечи, она ходила по комнате, и громко, насмешливо зачитывала отдельные оскорбительные абзацы, а потом, когда бледный посетитель уже не знал куда деваться, откусила ему голову, как сочную вишенку на торте и, урча, подгребая красное месиво, сожрала остальное.

До конца рабочего дня подошли еще трое, две женщины — особенно любила — и крепкий мужчина средних лет, который оказал бесполезное сопротивление, его ступню в лаковом ботинке она не смогла доесть (живот был набит до отвала) и выбросила в урну. День прошел великолепно, и если поначалу казалось, что голод после двух недель отпуска будет неутолим, то на деле насытиться получилось быстро.

Вечером Декина, поглаживая толстый живот и довольно урча, выползла из редакции.

Стоял желтый смог, на машинах и деревьях висели рванные клочья густого тумана, подсвеченные закатным солнцем. Поблескивая чешуей, она поползла на остановку, но в процессе перемещения поняла, что не может дальше двигаться, в животе что-то происходит. Как будто родовые толчки. Она никогда не рожала, но подумала, что именно это сейчас с ней происходит, ее словно разрывало изнутри. Чтобы перевести дыхание, она забралась в закуток, и тут ее начало корежить и тошнить. Что же я сегодня съела, с недоумением подумала Декина, и вспомнила, что одну настырную даму проглотила целиком, благо та была совсем субтильная. Декина понадеялась на силу желудочного сока, да он, видно, подвел. Очнувшаяся дама, пронзительно визжа, вылезала из пасти. Женю вырвало. Спасенная добыча, сдавленно пискнув, пустилась наутек. Декина вдогонку закричала — попробуй мне еще прозу принести, на мелкие косточки перемелю.

И тут она заметила Читателя. На глаза ему попадаться, да еще в таком виде, было недопустимо, и редактриса поползла в тень, но поздно, он заметил движение и склонился над ней, огромная голова закрыла небо. Он ногтем подцепил ее и поднял, повертел с разных сторон, черные глаза без век смотрели не мигая. Гигантский рот раскрылся, Читатель швырнул туда Декину, раскусил как семечко, прожевал, и рыгнув, пошел по своим делам.

Александръ Саньковъ
ИЗЪ ДНЕВНИКА

Душа покоится, какъ въ моргѣ,
Въ людской утробѣ ледяной.
О чемъ горюешь ты, Георгій,
Копье склоняя надо мной?

Затворы ада, кольца змѣя
Разрушь однимъ уколомъ, — пусть
Вдругъ расточится, быть не смѣя,
Адама гнѣвъ и Евы грусть.

12

Не уходи, побудь со мною долго.
Я никого такъ ясно не любилъ.
И если катить свои волны Волга,
То у тебя подавно хватить силъ.

Завороженъ, я жду теперь испуга
И вру себѣ, что ты утомлена,
Когда тебѣ твердить опять подруга,
Что лучше измѣняться, какъ волна.

А я стою, ссутулившись, на рѣчкѣ.
Я среднерусскій городъ въ октябрѣ.
И въ церковкѣ моей оплыли свѣчки,
Ненужныя на пасмурной зарѣ.

Изъ дневника

«Все помѣняется однажды», —
Подумать мог ли я тогда:
Обыкновенная вода,
Какъ прежде, не утишитъ жажды.

Вино тоски не утолить,
Хлѣбъ не насытитъ, сонъ не скрѣпитъ
Усталыхъ вѣждъ, и утомить
Доучливый сердечный трепеть.

Душа чрезъ смерть должна пройти
Прижизненно, дабы отнынѣ,
Безстрашная, могла расти
На житной адской горловинѣ.

Раскаты грома въ отдаленьи,
Вдоль рѣчки березнякъ густой, —
Все говоритъ здѣсь о смиреньи,
О жизни честной и простой.

Послѣобѣденная дрема
Подъ рокоть майскія грозы.
Здѣсь глина вмѣсто чернозема,
Бронзовка вмѣсто стрекозы.

И вспоминается здѣсь ясно,
О чемъ забыть никакъ нельзя:
Безъ Бога русская стезя
И безтолкова, и опасна.

Артур Другой САТАНИКА

Озноб... Сильнейший озноб. Ничего, потерплю. Мастер Олег сказал, что так и должно быть. И не такое бывает.

А я не зафуфонился. Я смог. Не струсил. Не облажался.

Когда ее принесли... Страх холодом проник в мой желудок, морозом, растекшимся параличом по всему телу. Я окоченел, будто бы меня окатил ледяным душем Саб Зиро из Мортал Комбата.

Она сопротивлялась. Толстая, неуклюжая, с рваным глазом. Жуткая.

Мне было ее жаль...Жаль?! Нет, мне было ее не жаль. Мне наплевать! Мне было не жаль! И ни о чем я не жалею сейчас. Что сделано, то сделано...

Мастер Олег дал мне нож. Брат Аспид и сестра Персея стали скандировать:

«Смерть! Смерть! Смерть!»

«Ритуал! Ритуал! Ритуал!»

«Да свершится! Свершится! Свершится!»

«Хозяин да придет! Да придет! Да придет!»

Стало теплее.

Я схватил жертву — она не сопротивлялась, лишь ехидно посмотрела на меня слепым глазом — и распол ей брюхо. Пицца-мяукая, четыре младенца выпали из ее живота. Кажется, Персея их тут же растоптала.

Смочив руки в крови, я начертил на бетонной стене новую «сатанику», поверх той, выцветшей, что уже была когда-то нанесена моей «семьей».

Больше я ничего не помню. Мастер Олег говорит, что Хозяин меня приметил и принял.

Скоро в моей жизни случатся невероятные изменения. Жду этого с нетерпением. А озноб пройдет.

От автора. Сатанист Леня, от лица которого велось повествование, так и не дождался своего триумфа. Он умер в тот же день от передоза, ритуального пошла Мастера Олега.

Что случилось с остальными? Ходят слухи, что угорели в бане.

Света Литвак
**ОБНАРУЖЕННОЕ
В АРХИВЕ СЕМЬИ ЕГЁ**

Проблема состояла в уточнении плана местности. Биографических данных на отдельных жителей было накоплено уже достаточно. Анализ всего имеющегося материала давал вполне конкретную картину повседневного быта коренного населения. Удивительным представлялся ещё литературный раздел исследования. Наиболее часто употребляемые в сопровождающих документах имена прямых потомков первых поселенцев, собирателей народных сказок и легенд, известны всем специалистам: это Якловнытшук и Аакт-аблемко, а также их преемники Теонмкупов и Тиemp-шин. И здесь соблюдается обязательная парность персонажей, так же как и внутри литературной традиции.

Любимая тема повествования — история любви юноши и девушки и связанное с их именами объяснение происхождения названий деревень и произошедших от них более поздних географических терминов. Казалось бы, всё предельно просто. Тем не менее, попытки определить точное местонахождение той или иной упоминаемой деревни (реальность происходящих событий в данном контексте не подвергается сомнению), совершённые в разное время разными исследователями приводили к противоречивым, зачастую взаимоисключающим выводам.

Если проследить несколько таких историй, упростив их до схемы, то мы определим группу населённых пунктов, находившихся очевидно в непосредственной близости друг от друга:

а) сказка о юноше по имени Томил и о его беззаветной любви к девушке по имени Лаа. Томил был уроженцем деревни Томилжия. А его друг — юноша по имени Дерь, жил несомненно в одной из наиболее близких к Томилжии деревень (иначе как им быть друзьями) — Идерьлла. Оттуда же, как вы уже догадались, происходила и семья возлюбленной Томила — девушки Лаа. Нетрудно предположить, что в каждой из этих деревень использовалось только одно мужское и одно женское имя. В одной деревне всех без исключения мальчиков называли Томил, а девочек Жия. В другой ... и так далее. Таким образом, у юноши по имени Дерь, часто посещавшего деревню Томилжия, появилась подруга Жия. И обе пары благополучно образовали две новые семьи, которые должны были поселиться отдельно и стать родоначальниками новых деревень. Каких? Согласно патриархальному укладу — Томила и Дерьжия. Одноименные пары строили дома рядом с ними, быстро образуя новую молодую общину. В старых же деревнях поселялись семьи, образованные из местных юношей и девушек, а в дальнейшем и их тёзки, происходящие из новых поселений. Поскольку пары складывались преимущественно из молодёжи близкорасположенных деревень, то эти деревни сохраняли стабильный прирост населения.

б) чуть более запутанная история с названием деревни Ужажава. Жава — женщина, но имя Ужа в этой системе словообразования тоже должно быть женским. Либо здесь буква «а» является соединительной имён Уж и Жава. Однако в одной из более поздних легенд встречаем селение Ужаска-

ска. А в диссертации немецкого литературоведа (NN) упоминается имя второстепенного персонажа одной из легенд — женщины по имени Каска. Так что можно предположить: либо опущенную, для упрощения произношения, букву «с» в мужском имени Ужас, либо опущенную букву «с» в женском имени Скаска, и тогда допустить возможность существования лесбийских общин, что ничем не подтверждается.

Мы назвали самые популярные и наиболее часто упоминаемые в источниках имена. Судя по всему, первый город, ставший столицей в один из длительных мирных периодов истории этого народа, именовался не иначе как Дерьжава. Откуда же появились первоначальные названия самых первых поселений, своеобразная матрица для создания новых наименований, а также за счёт чего происходило обогащение имеющегося набора оригинальными именами? Здесь довольно отчётливо влияние варварских племён, которые в упомянутых легендах назывались с помощью исключительно согласных букв. На письме это выглядело аббревиатурой: ЗТТР или ЛРТТ, ОСК или ОЗК, а выговаривалось так: ЗэТыТыРы и эЛэРТыТы, ОСэКи и ОЗэКи и т.д. Парность этих упоминаний связана с одновременностью их присутствия или вторжений, естественно с разных территорий, окружавших так называемую «дерьжаву». Так ОСэКи приходили с востока, а ОЗэКи с запада. Именно безымянные выходцы из этих племён давали новые звуки и слоги для географического словотворчества поселян, время от времени пользуясь местными жёнами, захваченными в результате разбойных нападений. Сами коренные жители очевидно не испытывали потребности в новшествах, и всё их географическое словотворчество сводилось к комбинациям старых или новых имён. Так что варвары являлись двигателем прогресса и

препятствовали процессам стагнации и консервирования общества и языка.

С одной стороны названия деревень употребляли в нерасчленённом значении, с другой — чётко отделяли то, что принято относить к мужской парадигме, от того, что считается женской. Но вот и более сложные образования:

в) что мы знаем о местности Кмтдетхса? Известен народ КМТ. Известно женское имя Хаса. Но мы находим у Якловнытшука и Аактблемко одно единственное упоминание о народности ТХС. Из соответствующих описаний очевиден факт, что и КМТы и ТХасы пришли с юга почти одновременно. Очень вероятно появление имени Хаса после их нашествия. Также вероятно, что племена породнились. Есть предположение, что название народа КМТ впоследствии дополнилось буквой Д (подобные примеры известны). Якловнытшук и Аактблемко также имеют смелость утверждать, что именно тогда впервые в названиях инородных племён появились гласные буквы в конце. То есть, вышеупомянутые племена именовались КМТДЕ и ТХСА. Напротив, Теонмкупов и Тиempшилин утверждают, что бывали случаи (крайне редкие) усложнения географических названий путём введения союзов (де) и окончаний (а). Есть мнение, что данная местность получила своё название из-за частых набегов обоих племён.

Необходимо в дальнейшем более глубокое изучение роли исторической подоплёки в народной сказке и дополнительной нагрузки литературной обработки, осуществлённой последующими поколениями абorigенов а также их взаимозависимость.

п р о з а

Александр Гунин
ЛУК

— Кто из вас убивал? — среднего роста, высушенный как мумия сержант медленно, очень медленно, обводил взглядом группу новобранцев. Глаза остановились на мне. Я почувствовал, что он ими как будто выстрелил, даже услышал сухой треск, где-то за затылком. Вздрыгнул, как от электрического шока или укуса, и сделал три шага вперёд. Боковым зрением заметил, как трое справа и двое слева встали со мной на одну линию.

Сержант медленно, как будто он не шёл, а катился по воздуху, подобрался вплотную ко мне. Его плавность каким-то образом сосуществовала вместе с дикой напряжённостью, сухость его буквально вибрировала, превращалась в моих ассоциациях в змею — перед прыжком. Взглядом, резкими короткими вдохами, еле заметными покачиваниями он, как и змея своим языком, чувствовал меня, заглядывал в самые закрыта. Обойдя всех вышедших из общего строя, сержант указал пальцем в мою сторону и рычаще-гортанным голосом выплюнул: «Уньё». По-французски — лук. Остальным убийцам он тоже присвоил клички. Позже я узнал: все клички были по названиям распеваемых на маршах песнях. Моя — *Chanson de l'Oignon* (Луковый шансон).

Я люблю лук, жареный в масле
Я люблю лук, он такой вкусный
Я люблю лук, жареный в масле
Я люблю лук, я люблю лук

Привет:

В ногу, товарищи, в ногу, товарищи,

В ногу, в ногу, в ногу,

В ногу товарищи, в ногу товарищи,

В ногу, в ногу, в ногу.

Всего лишь одна луковица, жаренная в масле,

Всего лишь одна луковица превращает нас во львов

Всего лишь одна луковица, жаренная в масле,

Всего одна луковица, всего одна луковица

Привет:

Но лук не для австрийцев,

Нет, никакого лука для этих собак

Никакого лука для австрийцев

Никакого лука, никакого лука

Это был пятый день, среда, пятый день моей новой жизни — в тренировочном лагере, или, как его называли, на «Ферме», — Французского иностранного легиона. Мог ли я тогда не выйти, утаить часть моей биографии? И не стать Луковицей, не попасть в первый инженерный полк, в *Section Fouille Opérationnelle Spécialisée* (Отделение специального оперативного поиска, FOS). Но это было потом. А сначала — *CP00* — четыре недели базового тренинга, на Ферме — в четвёртом пехотном полку иностранного легиона, рядом с городом Кастельнодари. Тем самым, где делают пальцеоблизывательную кассу́ле — знаменитую французскую похлёбку с мясом и фасолью. За эти четыре недели тебя ломают по-настоящему. Советская армия, даже и шестимесячные сержантские курсы, что я прошёл — подготовка к Афганистану, где нельзя было передвигаться шагом — только бегом, нельзя было стоять — только бежать на месте, где усталость была такая, что, стоило днём остановиться, прикрыть глаза — и ты падаешь, спи́шим, — всё это было ничто в сравнении с этим. Инструкторы легиона, сержанты тебя бьют. За-трещины, пинки, удары под дых — к ним быстро привыкаешь. Они орут. Французского ты практически не знаешь. Обучаешься же по интересной внутренней ле-

гионерской методике — инструктор орёт всё громче и громче, делается страшнее и страшнее, у него нет и мысли о том, что ты не знаешь французский. *DÉCOUVREZ — VOUS!!!! DÉCOUVREZ — VOUS!!!! DÉCOUVREZ — VOUS!!!!!!!!!!!!!!* Слышен уже один хрип, и в паузе между запредельными криком, визгом, подскочивший к тебе сержант наносит такую затрещину, что еле можешь устоять на ногах. Но головной убор твой слетает. И к тебе приходит озарение, что «*découvrez — vous*» — значит снять головной убор. От настоящего французского у тебя — команды и базовые выражения, глаголы, остальное, опять же, — языковой винегрет. Но за разговор на своём языке, а не французском, — физические наказания. Посему вначале ты лишён какого-либо общения. Все legionеры — крошка из разных национальностей. Кое-как всё-таки общаемся на английском, жестами. Учимся понимать на не вербальном, а более интуитивном, зверином, уровне.

В советской армии я впервые встретил солдат, которые не знали, кто такой Пушкин, офицеров-политруков, читающих на карте «Копекгаген» — так как «н» приходилась на стиб и была похожа на «к», а капитан не знал правильные названия европейских столиц. Но, в сравнении с пацанами на Ферме, это был Эрмитаж. Лу не знал, что такое ножницы. Ногти на ногах, как и на руках, он «стриг» своими зубами. От запахов, исходящих от тел на тренировках, в казарме, поначалу хотелось блевать. Физический тренинг — когда ты отжимаешься, качаешь пресс, а по тебе бегают, прыгают, пинают. Когда ты пролезаешь под торчащими, заточенными как иголки гвоздями, ныряешь в яму с вонючей водой, с полуразложившимися кошками, собаками, — мало того что в тебя швыряют обломками кирпичей, ещё и стреляют под ноги. Ментальный — когда тебя, с завязанными глазами, десять орущих, не знающих, что такое жалость, людей бьют палками... Я думал, что попал в ад. Но нет, это был еще не ад. Потом, после того как тебе надели белую кепи и ты стал

легионером, начинались действительно коридоры ада. Первые четыре недели оказались всего лишь вратами.

Легион часто «работает» в Африке. А воевать там белым, не знающим, что такое Жара... Для этого и использовалось ноу-хау: «адов коридор». Параллельно ставились два длиннющих ангара, по сто метров каждый. В них — нагреватели с вентиляторами, используемые в огромных помещениях для обогрева. Только вот в «адовом коридоре» они стояли через каждые десять метров. И ты, при полной выкладке, бежишь, а вентиляторы кроме жара поднимают ещё песок, насыпанный по полу. Ко всему, конечно, можно привыкнуть. Даже перестать ТАК потеть. Но чем дальше тренинг, тем глубже тебя швыряли в адовы круги.

Война в Африке имеет некоторые особенности, не известные непосвящённым. Европейец весьма ограничен по части запахов. Температура не даёт природе раскрыть свой потенциал, как то происходит в реально жарком климате. Европейец, приехавший в Мексику, будет несколько шокирован яркостью — растительность, одежда, еда и особенно запахи. Но это всё запахи жизни. У смерти они особые. Так вот, чем жарче страна и влажнее, тем чётче выражен специфический характер присутствия смерти, ибо запах разложения начинает ощущаться уже через несколько часов. И стоит в воздухе как туман. Так что к коридору адовому вскоре прибавился запах трупов — кошек и собак... Их бросали рядом с вентиляторами.

Полицейские, проводящие расследование в помещениях с начавшими разлагаться трупами, пользуются специальной мазью — ею мажут под носом, или наносят на усы, если они есть. У нас же не было ничего подобного, да ещё и дышать приходилось быстро. Плюс блевотина. Пробежишь несколько кругов и бегом на стрельбище — из FAMAS по движущимся мишеням. Потом занятия по подрывному делу, тактике боя. А вонь эта везде — и в одежде, где смешались твой пот, — жизнь и запах смерти. Не выйди я тогда, не поддайся змеиному гипнозу сержанта, скрой я аспекты

своей биографии, мне бы удалось, по всей видимости, избежать попадания в FOS и особые, нижние регионы ада, где обучают действовать полностью в автономном режиме, небольшими группами, не ожидая спасительного гула вертушки. Возможно, мне бы удалось не стать Луковицей. Кстати о ней.

Что касается шансона, про жареный лук, — это поверхностное понимание; внутреннее, метафизическое мне начало открываться, когда я носился по коридорам ада, когда запах разлагающейся плоти пропитывал и мою форму, и мои внутренности. «Смерть ужасна только потому, что мы к ней так относимся, мы так её понимаем. Мы не любим её, и потому мы боимся. А страх не даёт нам стать воинами. Страх парализует. У страха много покрывал. Снимите все — останется пустота, ты станешь, как и она, — неуязвим. Научитесь вдыхать смерть, её запах. Полюбив его, вы измените себя — станете ничем, пустотой», — вдавливал нам инструктор. Так вот, как только я перестал блевать и начал относиться к запаху нейтрально, я физически почувствовал, что что-то с меня слетает. Какие-то покрывала, обнажая что-то совсем древнее, страшное, но страшное не для меня, а для других.

По окончании «африканской» подготовки наш полк направили в Пиренеи, зимой. Четыре недели. Тогда-то я и понял, почему меня всегда влекло на Север. Но после живительного холода, жизни, последовало возвращение к коридорам ада, к смерти. Рукопашный бой. Пробежите на жаре километра три — с рюкзаком, килограммов десять, и чтобы человек десять вас усердно помутузили и под ноги вам постреляли, — и попробуйте затем кулаком попасть в челюсть, под дых, лоу-кик там какой исполнить или вертушку. Да ещё не по груше, а по движущемуся объекту, вас атакующему, с мачете, в условиях плохой видимости. Когда сжимаете челюсть, а на зубах скрипит песок, когда хочется нестерпимо моргать, промыть глаза. Все навыки, техники обычных *martial arts* перестают работать. Как

вырубить противника быстро, используя только базовые удары, когда моторика выключается, зрение сужается до туннельного, вы не видите перед собой чело-вечность, а видите только очертания головы, корпуса. Нас обучали поистине звери, и одним из них был Чу'а — сержант, который и прозвал меня Луковицей.

Началась служба в Африке, в Либерии. Там шла гражданская война. Я думал, что мои круги ада закончились, вместе с луковыми покрывалами. Что может быть хуже? Но оказалось, что я ошибался. «Тяжело в учении, легко в бою», — Суворов, по-моему, сказал. Он ошибся. Десяток дохлых кошек и собак с копошащимися в них червями — это Шанель номер пять в сравнении... Несколько баз были разбиты около города Дуэкуэ . Первое, что меня шокировало... Выезжая из города к базе, когда я сканировал правый сектор, в поле зрения попала группа детей, справа от них начинались заросли, как вдруг — всё произошло так быстро, — из кустов — я не смог толком разглядеть, что это было, единственное — запечатлелась нагота, и это обнажённое нечто молниеносными движениями мачете снесло одному из детей сначала руку, затем голову и, прихватив их, исчезло... Обезглавленный ребёнок сорвался с места, орошая высушенную землю алым, сделал круг, ноги его подкосились, на земле его тело продолжало извиваться, как оторванный хвост ящерицы. Остальные дети сели на корточки и стали растирать лицо ладонями, жёлтой, красноватой, пережжённой солнцем землёй.

«Бэдагдз», (ублюдки)», — прохрипел водитель и поддал газу. Так я впервые столкнулся с жрецами Голожопого генерала, как прозвали Блайи — одного из полевых командиров повстанцев. Для нужд своих магических ритуалов — жертвоприношений — они похищали детей, а могли и вот так, по-быстрому, когда, для оперативных целей, — нужно было приготовить зелье, где главным ингредиентом являлись части тела ребёнка. Как мне позже рассказали, голова использо-валась в местной магической медицине, а рука — что-

бы просто зажарить, банальный каннибализм. Уподобление *Nyanbe-a-weh* — главному их божеству, требующему человеческих жертв и дающему силу своим адептам. Жрецы и командиры, как правило, съедали только сердце ребенка, а кровь и остальные части разделялись между бойцами. Половина из которых были подростками или детьми...

— Смотрел «Апокалипсис сегодня»? — уже на базе спросил меня водитель, Лью.

— Даже и читал, «Сердце тьмы», по этой книге фильм снят.

— Ух ты, не знал, что книга такая есть. Ты помнишь, полковник Курц сошёл с ума. И ушёл в джунгли. Местные его как бога приняли, он встал с ними на одну волну. Так вот, здесь те же джунгли, что и там, здесь страна отмороженных, здесь уже идёт апокалипсис, а чтобы выжить, надо сойти с ума. Но ничего, солнце, запах и убийства выжгут из тебя мозги. Жаль только, что нельзя ублюдков напалмом жечь. Помнишь, в «Апокалипсисе», друг Курца, подполковник Килгор, говорит о запахе, запахе напалма. По утру. О запахе победы. Знаешь почему? Напалм дезинфицирует, не оставляет этих смердящих трупов.

Перед тем как заснуть, в тот вечер, меня посетила мысль — откровение. Труп ведь, по сути, тот же лук, с него снимаются разные слои, пока не останется его суть — кость, уже ничем не пахнущая. С меня должны так же сойти слои, и их схождение будет сопровождаться сумасшествием. Здравый ум, сознание должно быть пережёвано червями. Меня донимал один вопрос. Понимал ли всю эту метафизику тот сержант-змея, или он просто имел в виду банальный лук шансона? Ночью мне приснился сон. На трупе, уже начавшем разлагаться, копошились маленькие совсем, грудные дети. Они высасывали из него желейную плоть и становились пухленькими, упитанными, набирались сил.

Перед рассветом был мой первый бой. Наблюдатели с инфракрасными приборами ночного видения за-

метили движение. По земле ползли почти что голые повстанцы — почти, потому что на ногах у них была обувь, а на спине автоматы. Когда уже начался контактный бой и рассвело... помните фильм «Безумный Макс»? Постапокалиптические фрики. Так вот, несущиеся с автоматами наперевес, истощено оружие, безумно-радостные, были детьми, подростками, кроме ботинок на них красовались разноцветные кислотные парики... И к падающим от наших выстрелов подбегали живые, тёрли ладонями раны и размазывали кровь по лицу, слизывали и неслись, прямо на нашу базу, рассыпая вокруг себя стреляные гильзы. Любой, мало-мальски знакомый с военной стратегией и тактикой, понимал, что взять приступом нашу базу, не имея тяжёлого вооружения, которого у повстанцев не было, практически невозможно. Повстанцы жили в совершенно другой реальности, магической. Впрочем, их командиры отчасти этому и подыгрывали. Полевые командиры высыпали из патронов порох, оставляя на дне совсем немного, и, забив такими чудо-патронами магазин, раздевшись, испив жертвенной крови и намазавшись ею, приказывали в себя стрелять. Толпа вооружённых магических воинов видела самое настоящее чудо.

Запах пошёл уже после обеда. Лёгкий горячий ветерок разносил его повсюду. А ночью запах усилился. Он был везде, стоял как туман, как невидимая пелена, окутывающая твоё сознание. А чтобы прорваться, не оцепенеть, надо скинуть с себя оболочку, оболочку разума. Сколько их, одежек? И к обонянию добавилось нечто визуальное. Казалось, что может уже удивить, когда стреляешь по голым детям в разноцветных париках? Оказалось, что это только прелюдия. Вы смотрели когда-нибудь в военный прибор ночного видения? Тепловизор. Изображение чёрно-белое, негативное. Живой человек на экране или в окуляре — белый. Независимо от цвета кожи. Сон, приснившийся мне в ночь перед атакой, оказался в определённой степени пророческим. По земле, прямо перед нашей базой,

усеянной трупами, давно остывшими, но слабо мерцающими из-за начавшихся процессов гниения, ползли белые существа. Они прямо светились, каким-то демоническим светом, и, остановившись у трупа, начинали с ним какие-то манипуляции.

Утренний свет всё прояснил. У трупов были разрезаны груди и вытащены сердца... Трагедия человека в том, что ему надо постоянно выбирать, а сам он находится посередине. Между добром и злом, верой и неверием, теплом и холодом, жизнью и смертью, голодом и сытостью. Там, в Либерии, я понял, что срединность человека — возможно, также и самая важная, онтологическая, — в разрыве между человеком под множественным слоёв одежды — надеваемой цивилизацией, идеями, концептами, формами — и тем, что все эти слои скрывают, — его сутью, его страшной, предельно ужасной сутью, которая и является самой Бездной. И оттуда-то он постоянно и слышит голоса, там и видит мелькание чего-то такого, таинственного, древнего, выжидающего — как застывшая змея перед смертельным рывком.

— Ты пробовал секс с чёрной, дикой чёрной, колдуньей вуду? — спросил меня за обедом, смеясь с набитым рисом ртом, глядя на меня в упор своими небесными прозрачными глазами, швед Эппен.

— Нет, а ты?

— Аггааа, после трахаться с белыми, скажу тебе, что трупак оприходовать, — Эппен так заржал, что рисинки брызнули у него изо рта. — Это сотня вулканов, это табун необъезженных жеребцов, она входит в транс, короче, в неё вселяется сотня демонов, это такая хрень, посильнее крэка, тебе понравится. Она научит тебя танцам — созреешь когда, маякни, я тебя познакомлю. Пули будут отскакивать от тебя.

Похоже, что здешняя магическая реальность, вместе с трупным запахом, начинала овладевать сознанием легионеров.

Но познакомить меня с колдуньей было не суждено. Прибывшие бойцы полевого командира Принца

Джонса со смехом, с криками грузили изуродованные тела детей Голожопого генерала. Через пару дней нас, бойцов FOS, вызвали в штаб Легиона. На западе страны работало несколько алмазных шахт, все — под контролем и охраной повстанцев Давида Рузвельта Джонсона. Нам предстояло добраться до района шахт, произвести разведку и оценить уровень их охраны. Командование планировало их захват.

Римские легионы, со всем их порядком и стратегией, не устояли перед натиском варварских немецких племён, хаоса. Инструкторы Легиона, казалось, это учитывали, открывая внутри нас врата в Аид, врата в преисподнюю, открывая нас ветрам Бездны, сдувающим всю мишуру, все листки и цветки, оставляя голую суть — скелет, ствол дерева, питающегося подземными соками.

Выйдя на дистанцию дальнего обзора шахты, в бинокли мы увидели... хм: шахту охраняли девушки, женщины и карнавальные клоуны. Повстанцы сохранили атавистическую память как потомки рабов — в 1822 году американцы, дав свободу чёрным, вернули их на историческую родину, основав колонию в Западной Африке, на атлантическом побережье. Поселившись в Либерии, бывшие рабы и их потомки стали промышлять работоторговлей, подражая своим недавним хозяевам. Почувствовав себя американцами, прочих, коренных жителей они объявили людьми третьего сорта, легитимными рабами. Так что ритуальную традиционную одежду, помогающую контактировать с местными духами, сменила западная — ярко-красные колготки, яркие парики, белые свадебные платья, разноцветные детские рюкзаки с персонажами мультфильмов. И безумное, запредельное насилие, в котором сама жизнь растворялась, теряла какую-либо ценность. Дело не ограничивалось убийством противоборствующих повстанцев, насилию подвергались все без разбора. Там, где оказывались повстанцы, насиловали всех — начиная с маленьких девочек и заканчивая старухами. Зачастую после группового изнасилования

у девушки вырезали и съедали сердце. Старух просто убивали выстрелом в упор.

FOS — это полностью автономное пребывание на враждебной территории. С полномочиями для принятия оперативных решений. В ходе наблюдения за шахтой выяснилось, что наших сил вполне хватит для их захвата и удержания на срок до пяти дней, когда подойдут основные силы. Решение, однако, дерзкое, рискованное, но мы уже были подключены к сумасшествию, безумию, мы жаждали скинуть с себя оставшиеся луковые одежды. То, что источали безумные африканцы, завораживало. «Война — это секс с девственницей, война же в Африке, контактный, близкий бой — это секс с колдуньей», — делился размышлениями Эппен.

Короткий, напряжённый челночный сон двухчасовыми отрезками дарует интенсивные, яркие сновидения. В Африке земля живая, ты чувствуешь, что она населена невидимыми существами, как и пустыня — джиннами. С виду мёртвая, она прожжена огнём демонов, живущих тысячелетиями, появившимися на земле задолго до человека, задолго до того как он надел на себя одежды морали, культуры. Там, в сновидениях, я видел одно и то же — ритуал жертвоприношения. Дабы высвободить энергию жизни, страха, высвободить кровь, наэлектризованную, напитанную всеми возможными кошмарами, чтобы древнее существо могло почувствовать себя человеком, явиться в мир форм жертве, доведённой особыми ритуалами до переживания неистового ужаса, перерезали горло. Хлынувшая кровь была чистой энергией, питавшей древних монстров.

Когда ты не боишься умереть в бою — это одно, но когда ты делаешь из смерти любовницу и, постепенно сливаясь с ней, ощущая накатывающие волны сладости, кружишься с ней в объятиях, выстрелы, крики, взрывы превращаются в сладкие стоны, в зажигающую музыку. Ты подключаешься к ритму; убивая, испытываешь оргазм и вдруг в какой-то момент осоз-

наёшь, что быть убитым — это тысяча оргазмов, это сотня вулканов, и накрывает чувство, что ты уже мёртвый — вокруг маскарад, клоунада, такого просто не может быть, — на тебя, отбросив автомат с закончившимися патронами, несётся «она» — в белом свадебном платье, с выпученными белыми глазами, в седом парике — резкий контраст с цветом кожи, — ... ты нажимаешь на спуск, FAMAS выпускает две пули и щёлкает... времени заменить магазин нет, вдруг замечаешь мачете, он чёрный — контраст с париком, рывок к невесте, блокируешь предплечьем руку, уже в замахе, и одновременно, обведённой вокруг затылка рукой, с силой режешь шею, сонную артерию, прижавшись вплотную ко всё ещё живому человеку... Этот терпкий запах немытого тела, особый запах каннибала, запах inferнальной невесты... отталкиваешь, пригибаешься, уловив прикрытие короткими очередями, бежишь к земляному забору, на ходу меняя магазин... стреляешь почти что в упор по выскочившему из-под земли клоуну в красных колготках, с маской, жуткой, сделанной из содранной кожи человеческого лица... пуля проходит через горло, перебив позвонок, и голова, маска, падает, как у тряпичной куклы, надетой на ладонь. И с этого момента всё становится сновидением, линейное время рассыпается, остаются «сюжеты», не поддающиеся пересказу, как невозможно порой описать сновидения. Вы его видите, ощущаете, но отсутствие линейности блокирует возможность передачи. Наверное, это и есть время до времени — как его называют аборигены Австралии — время мифологическое.

Или я просто сбросил с себя все одежды, луковые, обнажил то, чем человек является, — пустоту, ничто. Для этого надо было увидеть и почувствовать табу, совершенно запретное и немыслимое для современной цивилизации. Убивать детей, подростков, которые едят сердца человеческие и пьют кровь, которые, чтобы убивать, раздеваются догола или надевают женскую свадебную одежду.

Вернувшись во Францию после годичной экспедиции в Либерию, я надеялся увидеть сержанта Чу'а, американского индейца, давшего мне прозвище Уньё. Получив десятидневный отпуск, я заехал в Кастельно-дари, и оттуда — на Ферму. По пути от штаба в казарму я вдруг спиной почувствовал взгляд, и тут же последовал гортанный выкрик: «Уньё!» Спросить же его, подразумевал ли он, прозвав меня Луковицей, нечто большее, чем луковицу из шансона, я так и не решился. Я просто не знал, что именно, как спросить. Но ответ пришёл сам собой. Стоя напротив меня, всё так же раскачиваясь, всё такой же расслабленный и вместе с тем пружинистый, ощущая меня как ощущает пространство змея, он вдруг спросил: знаю ли я, что значит его имя — Чу'а? Оно значит «змея».

Уже позже я узнал, что его имя обозначает не просто змею, а уробороса — змею, свёрнутую кольцом, кусающую себя за хвост. Перед тем как напасть на жертву, змея сворачивается и катится. И в прыжке кусает, впрыскивает яд. Это был ответ сержанта на мой немой вопрос.

Сергей Дедович
КАК Я РИС ДОЕЛ

Дело было в японской харчевне на Московском проспекте. Я заказал бэнто-ланч, услужливая русская японка мне его принесла. А там, знаете, всё разложено по ячейкам этим: тофу в кисло-сладком соусе, салат из фунчозы с ореховым соусом, фрукты (банан, виноград, яблоко), две дольки лимона и рис — с ломтиком огурца. Я взял палочки и ну всё это есть.

Хорошо было мне есть бэнто-ланч, сытно. Кто-то звонил с незнакомого номера, я не отвечал. Воспитанные люди уже давно перестали звонить друг другу без предварительных ласк, а невоспитанные — с ними разговаривать зачем? Я ел бэнто-ланч. Съел весь салат из фунчозы — его мало было, он первым ушёл. Потом тофу и рис. Потом фрукты. Так уж повелось, что сладкое едят после всего — не знаю уж, как в Японии, а в стране Россия так заведено, вечно мы откладываем самое сладкое на потом, сколько хватит сил. Так я думал, пока фрукты ел.

Доел фрукты. И надо бы уже и остановиться, а я смотрю: немного риса осталось. Он вкусный такой у них. Ну я его взял и доел. Вернее, не так, конечно, просто: «взял и доел». Пришлось потрудиться с этими палочками. Рис, понятно, скользкий, весь в соевом соусе, рассыпчатый, а бэнто-короб толком и не наклонишь. Короче, было трудно. И ещё девки эти псевдо-японские стоят в уголке у кухни, смотрят на меня, перешёптываются чего-то. Ну и пусть, думаю, перешёптываются. Пусть считают, что я жлоб, пусть скажут, что я из голодного края, мне с ними детей не крестить, хочу доесть рис и доем. До последнего зёрнышка доем, назло им. Мы, русские, доедаем.

Ел, ел и, знаете, доел, прямо до последнего зёрнышка доел. И его тоже, последнее это зёрнышко продолговатое палочками ухватил, поднял, поднёс ко рту и глядя псевдояпоночкам в широкие их глаза, поместил зёрнышко в свой рот.

Тут они переглянулись, кивнули друг дружке и идут ко мне. Я думал, посуду забрать. А они нет. Стали рядом. Посмотрели внимательно в бэнто-короб. Потом на нетронутые вилку и ложку. Ещё раз переглянулись. Одна поворачивается ко мне и говорит:

— Могли бы вы, пожалуйста, пройти с нами?

Вторая стоит, глядит на меня не моргая. Что, думаю, за напасть. Им что, показалось, что я веду себя подозрительно или что-то украл? Ну пусть, думаю. Посмотрю на их лица, когда окажется, что совесть у меня чиста.

Встал решительно. Они оценили мою уверенность и повели — мимо чавкающих обедантов, мимо отделанного потрескавшимся бамбуком ресепшн, в недра администрации, по лестнице, на второй этаж. Идут молча, похоже, волнуются о чём-то. Ну как же, вдруг я испугаюсь и побегу или ещё чего выкину. Они же думают, я Люцифер, от меня чего угодно можно ждать. Привели меня в кабинет администратора, пропустили вперёд, сами зашли, закрыли дверь. Внутри уютный полумрак с оранжевой подсветкой, за письменным столом мужчина средних лет, очень серьёзный, на японца уже больше, чем они, похожий, однако не сказать, что прямо японец. Но калмык уж точно, прямо гарантирую. За спиной у него висит картина с тигром.

Они ему что-то на японском сказали воодушевлённо-перепуганно. Ну или на калмыцком — не понашему, в общем. Я от них, признаться, такого не ожидал. А вот! Знают ведь, умницы какие. Он выслушал, безотрывно глядя на меня, что-то им ответил посвоему, ни одним мускулом не дрогнул. Смотрит на меня, смотрит. Я плечами вызывающе пожал, мол, кто его знает, может, и так, может, и так. Сами, мол, разбирайтесь. Они ему что-то ещё щебетнули, он на них

гаркнул тихонько, они и выбежали, оставили нас наедине.

Мы смотрели друг на друга некоторое время. По-душечки пальцев его левой руки касались своих правых собратьев. Во взгляде его мне виделась сила, умиротворение и какое-то предчувствие относительно меня. Я решил ничего не говорить, просто ждал, что будет дальше. Он вдруг сказал на хорошем русском:

— Вы доели рис.

Именно так, утвердительно, без тени сомнения. Я кивнул, делая вид, что понимаю, что происходит. Доел, мол, а ты что думал, не доем? Не на того напал.

Мне почудилось, что в глазах его блеснули слёзы. Может, и правда, блеснули. Но, если так, то он их быстро всосал назад в глаза, сделал глубокий вдох через нос и поднял трубку стационарного телефона. Отвёл от меня взгляд, быстро набрал номер, стал глядеть на меня снова, приложил трубку к уху. Сказал что-то в трубку. Дал отбой.

Встал из-за стола, подошёл к двери, открыл её и учтивым, но не терпящим отказа жестом указал мне выйти. Я вышел и думал уже, что он останется в кабинете, и на этом всё кончится. Но он вышел следом, закрыл дверь и стал спускаться вслед за мной. Мы вышли в зал харчевни, он проводил меня до дверей. Я думал было сказать, что не расплатился за обед, а потом решил: да ну его к чёрту. Непонятно, что это всё значит, но если уж они решили занять столько моего времени своими игрищами, то сами разберутся, когда я должен платить за обед и должен ли вообще. Мы вышли на проспект. Почти сразу подкатила чёрная «Тойота», водитель — представительный азиат в белой рубашке — вышел, обогнул машину и открыл заднюю дверь. Калмык жестом пригласил меня туда. Тут я заволновался. Шутки-шутками, но ехать куда-то с незнакомыми азиатами не входило в мои планы. Не подумайте, что я расист. Будь они любой другой расы, я бы заволновался не меньше. Впрочем, как знать. Азиаты опасны тем, что могут в самый неожиданный мо-

мент превзойти тебя в чём-либо. Но я ведь не из робких, всё мне по плечу. Пусть попробуют. Да и потом, я рис доел. А их это, как видно, почему-то впечатляет. Так может, это я их наконец превзошёл?

Я плюнул на всё и сел в «Тойоту», один раз живём. Калмык сел вперёд, а водитель — на место водителя. Мы развернулись и поехали на юг. Молчали. У меня зазвонил телефон. Бывшая. Я взял трубку и поднёс к уху.

— Привет, — пропела она. — Знаешь, жизнь без тебя — это сущий кошмар. Порвав с тобой, я совершила ужасную ошибку. Но — я никогда не признаюсь в этом ни тебе, ни, тем более, себе. Знаешь, почему? Потому что это как в басне «Лиса и виноград». Лиса не может достать восхитительный виноград, потому что он слишком высоко, и тогда ей не остаётся ничего, кроме как убедить себя в том, что не так-то он ей и нужен, не так-то он и сладок и сочен, этот виноград, кислый он, наверное, и жухлый, и прекрасно она обойдётся без него. Ты слушаешь? Надеюсь, что да, потому что я тут очень серьёзные вещи говорю, как и всегда, впрочем. Так вот, я убедила себя, что ты мне не нужен. И убедила себя в этом настолько хорошо, настолько качественно, что даже сейчас, произнося эти слова и пересказывая тебе басню про лису и виноград, я настолько в ресурсе, настолько в моменте, что совсем, ты слышишь, совсем не желаю к тебе возвращаться. Большую часть времени я работаю, а на вечер у меня есть цифровое телевидение и мои игрушки, а в выходные я поеду с друзьями за город, а в отпуск я полечу к родителям, а потом назад, может быть, устроюсь на вторую работу, а может быть, и на третью, а ещё есть курсы повышения квалификации, и спортзал, и батут, и йога, и ты мне не нужен, вообще, слышишь ты меня или нет?..

Я дал отбой.

Через некоторое время я понял, что мы едем в аэропорт. Стал накрапывать дождь. Водитель включил дворники. Радио молчало. Мы трое тоже.

Через отдельные ворота мы попали на взлётно-посадочную полосу, подкатили к бизнес-джету. Нас встретили двое охранников и милая азиатка с веснушками и в синей форме бортпроводницы с открытым зонтом из прозрачного пластика. Калмык молчаливо передал меня ей, покивал мне на прощанье, чуть прикрывая глаза, и остался стоять под дождём, вместе с водителем и «Тойотой». Улыбчивая бортпроводница, укрывая меня зонтом, проводила к трапу и повела по нему. Охранники крутились рядом.

Когда мы поднялись в воздух, она наконец предложила мне саке и пиво Asahi, я широким жестом выбрал и то и другое. Ни намёка на возможность интимных услуг с её стороны я не уловил. Поэтому выпил сколько смог, глядя в иллюминатор. Облака тёмного золота. Небесная река меняет русло. Уснул.

Мы приземлились. Бортпроводница выпроводила меня со всеми любезностями в глубокую ночь, в лоне которой меня ожидал новый калмык. А может, и тот же самый, но он летел на другом самолёте. Повторяю, я не расист, просто у меня плохая память на лица. Он стоял возле другой машины — тоже чёрной, но побольше и неизвестной мне марки. Машину рамкой окружали четыре полицейских мотоциклиста. Новый калмык открыл передо мной дверь и закрыл её за мной, сам сел спереди. Водитель был внутри. Мы тронулись, мотоциклисты тоже.

Туман в окнах. Долгая дорога в горах. Асфальт кончился, и мы едем по щебнистой почве.

Остановка. Подножие каменной лестницы. На вершине горы храм. Ясная белая луна. Благоухает цветущий шиповник. В зарослях светлячки. Два монаха в бурых кашах держат факелы. Вверх по ступеням. На трёх четвертях пути вновь от бывшей звонок. Голос её доносится сквозь стрёкот цикад и дальний шум водопада:

— Ты настолько мне не нужен, что я даже не знаю. Просто не знаю, как это выразить словами, насколько дорого мне твоё отсутствие в моей жизни. И да, с то-

бой мне было бы лучше. Но кому нужно это «лучше»? Я что, комсомолка? Я похожа на комсомолку? Нет, ну похожа я на комсомолку? Нет? Не похожа? Тогда зачем мне эти все «быстрее, лучше, сильнее». Реальный мир — вот, что меня интересует, а не то, что лучше для меня. Если бы я выбирала, что для меня лучше, я бы далеко на этом не уехала, знаешь ли. И не надо мне тут читать очередную мораль с вот этой твоей ласковой снисходительностью, мол вы все Цицероны, а я один Геродот. Этот номер больше не прокатит, Сергей, слышишь ты меня или нет?..

Я не слышу. Точнее — ни слова понять не могу. Подъём завершён. Вход в храм. Телефон отключаю. Ухает сова.

В тёмном зале священное пламя. Его эхо в золоте чаш. Все старейшины ордена здесь. Все вельможи здесь. Здесь император Японии — в бледно-зелёных одеждах. За спиной его чёрная рукоять катаны. Меня приветствуют поклоном. Отвечаю кивком.

Император приближается. Обнажает меч. Смотрит без страха. Встаёт передо мной на одно колено, преклоняет голову и протягивает мне оружие. Я принимаю меч. Без колебаний одним махом отрубаю голову императора. Очень хорошее оружие. Я почти не почувствовал сопротивления позвоночника. Срез кожи совершенно ровный, круглый, что рассечённый грейпфрут.

Тело императора у моих ног. Голова прокатилась по холодному камню. Старейшины и вельможи падают ниц. Один, чуть подняв взгляд, говорит на японском:

— Столь много инкарнаций. Ты вновь нашёл путь. Чтобы править Японией и всем подаунным миром.

Я отвечаю, тоже на японском:

— Ну а хули.

Дмитрий Колейчик **НЕРЕАЛЬНО**

Утром жена прислала смс-ку: «Не забудь взять билеты!» Я прочитал это сообщение после полудня, когда проснулся. И подумал: «Ну, конечно, я не забуду билеты, ведь сам собирался ей позвонить и спросить, забрала ли она билеты, или их стоит взять мне?» Вечером того дня мы собирались в театр.

Однако я увлёкся и даже не пообедал, а ведь собирался плотно пообедать — попозже, ближе к пяти вечера, чтобы к шести встретить жену в городе, когда она освободится после работы. Я думал, мы с ней прогуляемся, зайдём в кафе, перекусим, выпьем немного чего-нибудь крепкого. Непременно крепкого, чтобы потом на четырёхчасовом спектакле с одним антрактом не захотелось нестерпимо в туалет из-за выпитого. Крепкого можно ведь выпить мало, а что послабее, то нужно выпить больше, и неуместные позывы в туалет могли бы испортить нам вечер. К тому же у нас места в партере на шестом ряду в середине. Если приспичит, придётся тревожить других зрителей, человек де-сять — в любую сторону к выходу...

Да и актёрам на сцене наверняка неприятно посреди пьесы на полуслове трагического монолога, полного горечи и гротеска, видеть спины покидающих свои места и спотыкающихся об чужие ноги, неловко пробирающихся вдоль ряда с извинениями и чертыханиями, неопытных горе-театралов, которые сдуру напились перед спектаклем пивом, или лёгким вином, вместо того, чтобы хряпнуть пару стопок водки, или бренди... Однако я снова увлёкся.

Я так и не пообедал, потому что заработался. Для какого-то развлекательного блага писал статью о раз-

личиях между массовыми убийцами и серийными. И тема эта меня так увлекла, что я ощутило перебрал с объёмом текста, и уже опасался, что редактор такую огромную статью не примет и не захочет оплачивать. Зато, пока я писал, я уже успел выпить две бутылки пива, рюмку водки и рюмку коньяку. Алкоголь неплохо стимулирует рабочее вдохновение — снимает какие-то внутренние тормоза, и становится интересно, и можно писать смело и остро, на грани фола. Это всегда так выходило, и я часто превышал объём и слишком глубоко погружался в тему, в сущности, пустяковых, поверхностных заказных текстов, единственное предназначение которых — быть прочитанными единожды наспех, слегка развлечь и уже через полчаса быть забытыми.

В 17.40 жена мне позвонила и спросила, где я. Объяснил ей, что уже выхожу и очень скоро буду на месте встречи. Я уже был одет, обут и полностью готов к выходу, оставалось только собрать мусор, бытовые отходы, чтобы выбросить их заодно по пути на автобусную остановку. Всякого мусора, пищевых и бытовых отходов накопилось много. Мухи заполонили всю кухню, и ужасно уже стало вонять гнильём.

Я повесил на плечи несколько объёмных пакетов с мусором, и ещё два таких же тяжёлых и неудобных держал в руках. Когда дошёл до мусорных контейнеров, вспомнил, что всё-таки забыл билеты. Я вернулся за ними домой, там заодно выпил ещё рюмку, или две водки. Очень энергичным шагом я дошёл до остановки, сел на автобус, который поехал по выделенной для общественного транспорта линии без всяких пробок. Добрался до места встречи с женой я очень скоро.

Она сидела на скамейке и читала что-то со смартфона, пока меня ждала. Мы поцеловались в знак взаимного приветствия и пошли гулять. Она обедала в обеденный перерыв на работе и была неголодна. Мне тоже есть не хотелось, хотя я так и не пообедал, но зато я предложил выпить перед тем, как идти в театр. Она согласилась. По дороге мы всё же взяли две ша-

урмы. Думаю, это было верное решение, ведь целый день без еды нельзя, даже если нет аппетита. Да и же- не стоило перекусить, ведь спектакль длинный, и до- мой мы попадём только поздним вечером.

Пьеса оставила смешанные чувства. Я не смог по- нять развития сюжета. Эпизоды мне казались какими- то отдельными скетчами, которые напластовали друг на друга грубо и как-то насильственно. Но было ярко, энергично, музыкально и нескучно. Жена тоже не смогла однозначно определить своё отношение к уви- денному и пережитому в театре.

Дело в том, что первые полчаса всё шло вполне обычно и нормально. Но потом актёр оторвал руку другому актёру и третьему съездил этой рукой, как би- той, по голове так, что она отлетела. Затем уже эта троица актёров продолжила рвать друг друга на части со смехом, песнями и шутками. Казалось — им совсем не больно, они не испытывают шока, не воспринима- ют свои травмы как травмы. Дальше на сцену выхо- дили всё новые актёры, которые принимали участие в этой дионисийской оргии плоти. Вся сцена была усея- на частями тел к объявлению антракта.

Мы с женой решили не идти в буфет, а выйти из здания театра и купить кофе и каких-нибудь булочек в ближайшем киоске, чтобы по пути к нему и обратно я успел покурить на улице. При себе мы имели коньяк. Коньяк оказался — так себе.

Когда мы вернулись в зрительный зал, оказалось, что он наполовину пуст — антракта ещё оставалось пять минут, не меньше. Но не выходить же обратно! И мы остались в зале и дождались начала второго акта.

Вопреки нашим ожиданиям, части тел со сцены не убрали к началу второго акта, но и вакханалия, каза- лось, прекратилась. Другие актёры стали собирать из этих частей человеческие фигуры, новые тела сраста- лись так, словно и не было ничего в этом странного. Все, вновь восставшие из кучи окровавленной плоти, актёры улыбались и всячески демонстрировали пре- красное самочувствие, легкость движений и бодрое

настроение. Они кувыркались, как заправские акробаты, пели и плясали, лица их светились самыми искренними улыбками. Весь зал здорово воодушевился.

Тогда актёры попрыгали со сцены в зал и стали рвать на части зрителей. Впрочем, себя они тоже стали рвать заново. Всё это происходило в обстановке безудержного веселья. Мы с женой не знали, что думать, верить или нет в эти чудеса, и поэтому сбежали, не дожидаясь, когда нас самих разорвут на части.

*

Здесь мне бы хотелось в качестве интермедии привести новостную заметку про художника-неокубиста, который убил и разрезал натурщицу. Знаете, кубисты начала XX века расчлняли целое изображение на части и собирали их заново в причудливые комбинации, чтобы показать объект во всей его полноте — в движении, во времени, в полном спектре его возможностей *быть*. Они пытались постичь объект в его *абсолютной* целостности, для этого сначала разрушали его. Но что, если подойти к решению проблемы с другой стороны?

«...Художник-неокубист убил и разрезал натурщицу. Потом пересобрал её из кусков плоти. Но так и не смог добиться портретного сходства. Отчаявшись, он взял ружьё и стал палить из окна мастерской в случайных прохожих. (“Уйду в сюрреализм!” — в сердцах подумал художник.) По иронии судьбы, лучшей его работой стал неудавшийся портрет натурщицы, забрызганный его же мозгами, которые ему вынесли из дробовика бойцы спецназа, когда ворвались в мастерскую, а он попытался отстреливаться. Уникальная работа была продана коллекционеру всяких диковинок за баснословные 250 млн. долларов. Эту работу коллекционер отправил в космос на ракете Алана Маскана, который по такому случаю предоставил ракету бесплатно. Пожелавший остаться инкогнито коллекционер и Маскан так прокомментировали ситуацию: “Мы хотим, чтобы от человечества что-то осталось в

этой Вселенной, когда будут уничтожены все художники и натурщицы”...»

*

Вернувшись домой, мы с женой всё ещё оставались настолько возбуждены пьесой, что не захотели есть и не стали варить пельмени с индейкой, как собирались. Мы немного выпили джина, обсудили постановку, и жена отправилась спать, потому что было поздно, а ей завтра рано вставать на работу.

Я же решил продолжить статью, которую писал днём, поскольку сна не имел ни в одном глазу. Ещё оставалось полбутылки коньяка, полбутылки джина и много пива в холодильнике. А спиртное великолепно стимулирует рабочее вдохновение. Или в данном случае просто — вдохновение. Потому что редактору я написал сообщение, что статьи не будет, я слишком занят — я пишу труд всей своей жизни.

Знаете, психология массовых убийц и нюансировка их отличий от убийц серийных, в быту называемых «маньяками», это неисчерпаемая тема, через которую можно открыть черепную коробку Пандоры.

Зачем это надо делать? Для того чтобы понять её мысли, увидеть свет её глазами. Пифос пафоса, или пафос пифоса.

Открытый ящик всех вещей — пизда-провокация. Пандора — женщина с пифосом между ног, или с ящиком? На что пифос больше похож — на член, или на влагалище? С пафосом между ног. С пифосом. Пифос пафоса. Патоса. Страдания. Механический ящик Пандоры по Гигеру — выплёвывает детей-людей-нелюдей. Человек есть мера всех вещей-страданий. Человек — сосуд страданий, сосуд скорбей, сосуд беззаконий. И человек есть мера всех скорбей. Объективно мир, возможно, не так уж плох, но кто в это поверит?

Объективная истина, вероятно, есть, но имеет вид ненаглядный, непредставимый в образах — сплошные расчеты и формулы, буквы и знаки, цифры, абстракции. Скажем, нет у вас зрения, как вам объяснить

цвет? расстояние? Например, расстояние до дерева. Его можно измерить вслепую шагами, а что такое «шаг»? Шаг — лишь ощущение ног: левой! правой! левой! правой! левой!.. ну и так далее. А что между ними, между этими точками, которые ощущаешь пятками — левой и правой? — там может быть пустота! Там могут быть такие завихрения пространства, что целые вселенные пролетают со свистом. Шаг измеряется временем между левой и правой, субъективным его течением, которое, впрочем, можно синхронизировать с часами на башне: до дерева четверть часа мелкими шажочками пятка-к-носку, носок-к-пяточке. Цвет можно выразить длиной волны. Количество. Что такое, например, «пять»? Можно взять в руки пять кофейных зёрнышек и ощутить их вещественность. Можно ощутить вещественность всех цифр от 1 до 10. Десять — это уже 1 и 0. Ноль ощутить проще простого, ноль — это ваша пустая рука. Отнимем осязание. И обоняние, на всякий случай, чтобы количество нельзя было связать с интенсивностью кофейного аромата. Отнимем руку. На слух «пять» — это чистая абстракция. Как и остальные — от 1 до 10. Ноль — это молчание? Нет, ноль — это «ноль», — громко, отчётливо, иначе не понять. То есть на этом уровне (когда восприятие урезано, а руки отрезаны) уже интуитивно понятно, что ноль это не то же самое, что ничего. Поэтому не так ясно, почему делить на ноль нельзя. Все ощущения могли бы быть иными. Ощущения не есть что-то объективное. Мир не такой, каким нам кажется. Он может казаться любым. А на самом деле мир вообще никакой — абстракция из количественных явлений и взаимодействий. И имеет совершенно ненаглядный вид.

Механическая пизда, из которой выбирается заводной апельсин и крушит античные пифосы в музее древностей и забавных вещей. Просто из жестокого озорства. Или от злости, потому что в нём самом нет никакого смысла, и остаётся одно — он тоже экспонат в этом музее — забавная абсурдная вещь на потеху

публике. Публика любит такое. На амфорах сцены плотских утех. В том числе и гомосексуальных, что делает их как бы более греческими? И прочих — изощрённых и нестандартных, что делает их, наверно, более современными?

Черепки разлетаются; из разбитых сосудов врассыпную разбегаются тараканы — древнейшие существа планеты, — спасаются, ищут новое пристанище; столетиями они жили в глиняных жбанах, разбросанных — разобранных с жадностью — по музеям, а теперь вот надо искать новый дом. Наездниками на тараканах — тихоходки; они ещё древнее и являются высшей кастой, только они очень малы и мы их не видим, когда моем руки пять раз на день исключительно от скуки, или умываем руки, от всего умываем руки — пора искать новую планету.

Пора искать новую планету? Без пафоса они полетят на ночных мышках. (Конечно, ночные мышки — это такие корабли. Они летят на чуме. Полудохлые ночные крысы — крейсера на чумной тяге.) Тихоходки единственные, кто спасутся. Они хорошо переносят вакуум, радиацию и сверхнизкую температуру. Полетят на Луну, например. К Гитлеру — на тёмную сторону. Гитлер — это система. Гитлер — это порядок. Гитлер — это никакого вам говна и раздолбайства. Гитлер быстро прикроет пифос любопытной Пандоре, он не допустит разбазаривания попусту вещей-людей — этих стратегических ресурсов — на всякую ерунду, вроде мифов и легенд, трагедий и комедий. Кибер-Гитлер будет рационален. Объективная истина неприглядна. Он будет ей управлять. Столбиками чисел. Тепловая смерть, например. Её можно ускорить, если построить машину, которая будет вычислять столбики. Квадрильоны столбиков с квадрильонами чисел. Требуемая для вычислений энергия рассеивается с невероятной скоростью. Так может выглядеть Машина смерти Вселенной. Тихоходки, будем надеяться, переживут и её. Тихоходки и тахионы. Тихоходки и тахионы. Если тихоходки питаются тахионами. Если тихоходки плюют-

ся тахионами. Они способны запустить все процессы вспять. Они — скорая медицинская помощь Бога. Они — его агенты с красными свастиками на рукавах...

Кажется, я опять увлёкся. Но это ничего, это простительно. Ведь вряд ли вам доведётся прочитать когда-нибудь полностью мою монографию об устройстве мира. Во-первых, я, скорее всего, никогда не допишу её, потому что мне плевать на Редактора и гонорар, я нашёл нечто большее. Во-вторых, её бы всё равно никто не стал публиковать — слишком гигантский объём и ломаная, как сама случайность, структура. Поэтому здесь я делюсь с вами этими крохами. Это ничего, это даже недурно.

В ту ночь я достиг невиданных пределов в своём искусстве. Слог мой шёл гладко, словно по шёлковому пути. Мысли опережали одна другую и третьей погоняли. Мне было очень хорошо. Настолько прекрасно, что я досидел до утра, когда жена проснулась. В тот час, пока она собиралась, я отложил свой чудовищный, рабский, но такой милый моему сердцу труд, и мы просто общались. Немного обсудили вчерашний поход в театр. Немного поговорили о зыбкости реальности. О том, как эта зыбкость смешно сочетается с её абсолютной и замкнутой самой на себе иррациональностью. О том, что никто никогда не замечает малейшего или глобального сдвига этой самой реальности, когда такой сдвиг происходит. В самом деле, как бы радикально не изменился внезапно окружающий мир, человек не перестаёт считать его приемлемым, понятным, подконтрольным. Он упорствует в своей вере, что всё так, как должно быть! Не удивительно ли? Разве это не иррационально?

Потом жена пошла на работу. Было солнечное утро, обещавшее такой же солнечный и приятный день, поэтому она надела лёгкое бледно-розовое платье и накинула на плечи чёрный вязаный в крупную сетку кардиган на случай, если всё же похолодает.

Я открыл седьмую банку пива и продолжил писать, но скоро заметил, что у меня кончились сигареты. И

как бы сильно я не хотел прерываться и отвлекаться от работы, чтобы не потерять невзначай запал, всё же я оделся и вышел за сигаретами. Заодно я ещё зашёл за пивом, взял три банки чешского «Козла» тёмного и бутылку гаитянского белого рома.

И вот когда я, уже возвращаясь домой, проходил через арку ведущую во дворы, меня схватили какие-то люди и спросили:

— Где твоя жена?

Я, разумеется, ответил, что она на работе.

— Ой-ли! — сказали мне. — А ты в этом уверен?

В это время какой-то тип с медицинской маской на лице, в пластиковом халате и перчатках доставал из мусорного контейнера огромные кровоточащие мешки. Из мешков выпадали части человеческих тел. Или одного тела.

Они мне сказали, что я убил свою жену. Мне было трудно в это поверить, потому что ещё утром я разговаривал с ней, и мы вместе хихикали, отпуская саркастичные шутки. И я ей рассказывал, как важно вжиться в мысли маньяка, когда пишешь про маньяков. Как важно услышать мрачные мысли Вселенной, когда пишешь об устройстве мира. Я даже говорил ей, что мне иногда становится страшно от этого вживания, от этого вслушивания в бесконечный холодный, но такой осознанный и напряжённый мрак, потому что я боюсь сойти с ума и спутать надуманное и реальное. Но, впрочем, что такое «реальное», если не то, что мы видим и чувствуем всеми органами чувств? Спектр чувств тихиходок крайне ограничен, например. Разве это им мешает? Они всех переживут. Они — надежда мира, надежда самой жизни.

Она гладила меня по голове и говорила, что не в пример разнузданным зрителям вчерашней пьесы, я всё ещё неплохо держу себя в руках. И шутила, что было бы неплохо приготовить рагу из соседа этажом выше, который всё время что-то сверлит, и вероятно, его квартира вся дырчатая, как сыр...

А теперь мне говорят, что она мертва. Что я убил её. Как же так?

Но я быстро понял, что попал в собственную ловушку, которую создал в уме для ловли мыслей маньяков и совершенно безумных людей. И покорился тем людям, которые меня заковали в наручники, посадили в машину и повезли...

Они привезли меня в какую-то больницу. Там на меня надели халат с длинными рукавами, и туго завязали их у меня за спиной так, что стало невозможно пошевелить руками. Меня уложили на каталку и отвезли в кабинет, похожий на палату реанимации, как я её себе представлял по многочисленным художественным фильмам.

Я видел над собой лица обеспокоенных врачей в синих шапочках и масках, один из них прикладывал к моей голове электроды, я получал разряд за разрядом, а один из врачей всё приговаривал, будто молился:

— Ты только живи, парень! живи!

— Не умирай, слышишь? Ты всё ещё здесь, парень, дыши! — приговаривал врач.

Всё было похоже на то, что за мою жизнь борются. Может быть, у меня случился приступ, или я попал в аварию? Или стал жертвой нападения? Значит ли это, что я не преступник? Или преступник не я? Пласты реальности сменялись непредсказуемо, накладываясь один на другой, третьим погоняя, громоздились хаотично и соединялись как-то насильственно, они были неадекватны друг другу, будто из разных историй параллельных миров.

Меня это, впрочем, не особенно занимало, взгляд мой был прикован к бледному заплаканному лицу моей бедной жены. Она тоже была здесь, живая, какой я её помнил, стояла за спинами врачей, обеспокоенная и растерянная. Она смотрела на меня взглядом полным любви... Во всяком случае, мне хочется так думать. Мне хочется, чтобы это было реальностью.

Евгений Долматович
...И ДА ПРИДЕТ ЦАРСТВО ТВОЕ

Дверь с лязгом захлопнулась, отрезав насмешливые взгляды охранников, и Данила понял, что наконец-то свободен.

На улице было солнечно, ветер шелестел опавшими листьями, гонял пыль по дороге. Где-то вдали дышал город, изредка гудели автомобили.

Рая стояла чуть поодаль от КПП и с улыбкой смотрела на Данилу.

— Привет, — сказала она.

— Привет, — отозвался Данила.

На Рае была легкая светлая кофточка и ситцевая юбка до колен. В правой руке спортивная сумка, левая крепко сжата в кулак. Данила тоже нервничал. С Раей он переписывался уже три года, несколько раз она приходила к нему на свидание, однажды даже призналась в любви. Клялась, что будет ждать, и клятву сдержала.

И вот они внезапно оказались друг против друга. Свободные и вроде бы даже близкие, но при этом совершенно незнакомые люди. И с этим нужно было что-то делать.

Перехватив пакет с вещами в другую руку, Данила спустился по истертым ступеням и подошел к Рае. Объятие получилось каким-то неловким, вымученным. Но для начала хоть что-то.

В свою очередь Рая осторожно поцеловала его в щеку, затем в губы. Поцелуй Даниле не понравился. Губы у Раи были шершавыми, от нее несло потом и табачным дымом.

Да и вообще, без всякой на то причины Данила ощутил болезненный укол разочарования. Десять лет

он ждал этого дня, ночами вглядывался в потолок, представляя, как все будет. И теперь, когда этот день настал, вдруг выяснилось, что день этот... самый обычный?

И девушка, стоящая рядом, она — тоже самая обычная?

Данила с плохо скрываемым раздражением скользнул взглядом по ее обветренным губам, проблемной коже на щеках, и остановился на розовой пряди волос. Опустив голову, уставился на белесые шрамы у нее на запястье. Вспомнил, как Рая однажды призналась, что до знакомства с ним совершенно не видела смысла жить...

— Пить хочешь? — нарушила она его мысли. — Я соку купила. Вот.

Она выудила из сумки упаковку его любимого апельсинового сока. Данила открутил крышку и сделал несколько жадных глотков. Пока он пил, его ставший невероятно чутким за последние годы слух уловил несколько быстрых щелчков.

Данила обернулся и увидел в припаркованной не-
вдалеке машине репортера с фотоаппаратом.

— Этот давно уже здесь, — объяснила Рая. — Не удивляюсь, если с самого утра дожидается.

— Ясно, — буркнул Данила.

Репортер вскинул фотоаппарат и сделал еще пару снимков.

— Он и до меня доебался, прикинь? — сказала Рая.

— Че хотел?

— Спросил, кто я тебе.

— И что ты ответила?

Рая покраснела.

— Ответила, что надеюсь стать твоей девушкой.

Разочарование перешло в раздражение. Да, Данила не единожды представлял себе этот день — то, как шагнет за ворота тюрьмы, вновь окажется на воле. А еще фантазировал о том, кто и как его будет встречать. Город наверняка не забыл, что они сделали. Город обязан был помнить, а значит, встречать его

должны были толпы людей. Репортеры, может, визжащие от восторга фанаты и, конечно же, родственники, желавшие отомстить. При мысли о последних возросло беспокойство. Данила регулярно получал письма с угрозами, по много раз перечитывал, какие его ожидают страдания. «Кара», «расплата», «торжество справедливости», — эти слова повторялись чаще других. Что ж, такова цена славы...

Но что если десять лет слишком большой срок даже для столь ужасного преступления? Ведь в итоге его встретили пустынная улица, заискивающая девчонка со шрамами на запястье и кучей тараканов в голове, и всего-навсего один репортер.

А может, так и должно быть?

Данила вздохнул и попытался задушить раздражение.

— Ты одежду принесла? — спросил он. — Как-то не охота ходить по улице в робе.

— Не переживай, — успокоила Рая, — я все купила. Правда, я не знала твоего размера, поэтому... ну, кое-что может быть велико.

— Похуй, — отмахнулся Данила. — Мои старые тряпки в любом случае на меня не налезут. — Он зачем-то поднял свой пакет и показал его Рае.

Внутри лежало то, что связывало его с прошлым: черная кожаная куртка с заклепками, рваные на коленях джинсы, берцы с металлическими вставками, какие-то личные вещи, в основном безделушки.

— Тогда надо переодеться, — сказала Рая. — Только вот где? — Она задумалась, после кивнула на дверь КПП: — А эти там... не пустят?

— Я туда не вернусь, — сплюнул Данила. — Давай лучше в другом месте. Не знаю, за гаражами, например...

Снова защелкал фотоаппарат, и Даниле вдруг захотелось схватить с земли обломок кирпича и запустить им в машину. Разбить лобовое стекло, вытащить репортера на свет божий и раскроить ему харю. А потом закричать в это булькающее месиво, чтоб отвалил

уже со своей камерой, чтоб ехал куда-нибудь еще и там вынюхивал сюжеты для репортажей. «Все конечно! — хотел крикнуть Данила. — Оставьте меня в покое! Отъебитесь! Я больше не Жнец, слышите? Не Жнец!»...

— Жнец, ты в порядке?

Данила вздрогнул и повернулся к Рае. Та с тревогой смотрела на него.

— Ч-что? — заикаясь, прошептал Данила.

— Я спрашиваю, ты в порядке? Пойдем уже, переоденешся.

К счастью, репортер не стал преследовать. Как только они выбрались на дорогу, он демонстративно взревел двигателем и, обдав их пылью, скрылся за поворотом.

— Мудак, — выругалась Рая. — Чтоб тебя грузовик в лепешку раскатал!

Данила усмехнулся.

Так как гаражей поблизости не оказалось, он решил переодеться на полянке у леса. Люди здесь, судя по всему, не ходили, а значит, никаких лишних глаз.

Взяв у Раи сумку, он вытащил аккуратно сложенный спортивный костюм. Тот был новенький, с ценником, пах магазином. Быстро скинув тюремную робу, Данила подставил свое бледное, в синеватых наколках тело солнечным лучам. От него не ускользнул жадный взгляд Раи, которая с плохо скрываемым восхищением косилась в его сторону. Он даже почувствовал легкое возбуждение. Как-никак, женщины у него не было уже много лет, и все это время он довольствовался онанизмом.

— Про остальных че-нить слышно? — спросил он, натягивая штаны.

— Ты имеешь в виду... — осторожно начала Рая.

— Да. В курсе, что с ними?

Рая достала сигареты, закурила.

— Барон еще сидит, — сказала она, — ему, как единственному совершеннолетнему, двадцатку строга-ча вlepили...

— Это я знаю, — перебил Данила. — А те, кто вы-шел?

— Слэшер в религию ударился, он теперь при церк-ви служит, грехи замаливает. — Она поморщилась. — Экзекутор в другой город смотался, имя сменил. У него там вроде как жена, дети. Что с Горгоной — неизвест-но. Ее как выпустили, она сразу пропала. Одно время гулял слух, будто у нее рак обнаружили. Может, помер-ла уже.

— Ясно, — вздохнул Данила.

Он накинул толстовку, застегнул молнию, затем влез в кроссовки и повернулся к Рае.

— Ну как?

— Размер я прям угадала, — улыбнулась она. — Выглядишь классно!

Данила пожал плечами. Ему никогда не нравились спортивные костюмы, он предпочитал другой стиль одежды. Правда, то было давно, в юности. А теперь пора двигаться дальше.

Скомканную робу он отпихнул ногой. Потом взял пакет и вытряхнул содержимое прямо на землю. Так выглядит прощание с прошлым, подумал Данила, рас-сматривая кожаную куртку с заклепками, берцы, на подошвах которых, возможно, даже сохранились кап-ли крови...

— Ты собираешься это выкинуть? — всполошилась Рая.

— Ага.

— Не, погоди...

Данила повернулся к ней, и Рая тут же умолкла.

— Это всего лишь тряпки, — мрачно сказал он. — Они не имеют значения.

«Совсем другое дело — то, что закопано на старом кладбище...»

Данила тряхнул головой, прогоняя наваждение. Нет, решил он, то, что закопано на старом кладбище, там и останется.

Вывхватив у Раи пачку сигарет, он сел на пенек и закурил.

— А у меня для тебя есть небольшой подарок, — сказала Рая, пристроившись рядом.

— Какой?

Она порылась в сумке и протянула Даниле кнопочный мобильный телефон.

— Это, конечно, не айфон, но для начала хоть что-то. Свой номер я уже вбила, так что можешь позвонить и пригласить меня на свидание.

Она смущенно хихикнула.

Данила тоже улыбнулся, повертел телефон в руках. За прошедшие десять лет техника значительно скакнула в развитии, и то, что раньше было очень крутым, отныне превратилось в «хоть что-то». Лишь теперь, глядя на мобильник, он понял, как много предстоит узнать об этом новом, изменившемся мире.

— Ну что, — окликнула Рая, — ко мне?

— Обязательно, — кивнул Данила. — Но сначала нужно кой-куда заскочить.

Данила знал, что родители переехали сразу после вынесения приговора. В тюрьме они его не навещали, письма игнорировали. Из разговоров с сокамерниками он выяснил, что родители прилюдно от него отреклись. Еще через пару лет до него дошел слух, что у них родился сын. Так у Данилы появился брат, который, по видимому, должен был во всем его заменить — стать тем единственным замечательным ребенком, воплощением всех надежд, опорой в старости.

Данила воспринял эту новость спокойно, он догадывался, что все так и будет. Отец попытается вытравить память о непутевом сыне, захочет полностью стереть его из своей жизни. Мать, как оно всегда и случилось, беспрекословно займет сторону отца.

Но некоторые вещи нельзя просто взять и забыть. Рано или поздно прошлое обязательно о себе напомнит.

И вот Данила стоял у подъезда и с сомнением поглядывал на стальную дверь.

— Ты уверен? — тихо спросила Рая.

— Да, — отрезал Данила.

— Пойти с тобой?

— Не надо.

— Хорошо, — покорно кивнула Рая. — Я подожду здесь. Пятый этаж. Номер квартиры помнишь?

— Помню.

В этот момент домофон пронзительно запиликал, дверь распахнулась, и из подъезда вывалился толстый мужик с овчаркой на поводке. Овчарка громко залаяла, но Данила не испугался. Он не боялся собак, потому что помнил, как жалобно они скулят, как робко пытаются уползти, как беспомощно огрызаются, стоит им отрубить хвост или сломать лапу. Вся их агрессивность разом сходит на нет, остается лишь трясущийся от страха кусок мяса.

В общем, они не шибко отличаются от людей.

Поэтому, равнодушно посмотрев на брызжущую пеной овчарку, Данила заскочил в подъезд.

Нужная дверь нашлась без проблем. С виду это была самая дорогая дверь на всем этаже. Возможно, что и во всем доме.

— Батя своим привычкам не изменяет, — покачал головой Данила. — Все та же блядская показуха.

Из квартиры доносились голоса, смех, звучала музыка. Судя по всему, там что-то праздновали. Данила вдавил кнопку звонка. Он не знал, как поведет себя в следующую минуту. У него не было никакого плана, а все его представления о встрече с родителями заканчивались на моменте, как он подходит к дому. Что он скажет, когда увидит мать? А если откроют незнакомые люди? Рая легко могла ошибиться с адресом...

Наверное, так даже было бы лучше...

Дверь открыл отец. Секунду-другую он непонимающе таращился на Данилу, а потом в его глазах проскользнуло узнавание.

— Здравствуй, папа, — сказал Данила.

Отец кинул быстрый испуганный взгляд через плечо, затем шагнул вперед и притворил за собой дверь.

— Чего тебе?

— Ты не рад меня видеть? — грустно усмехнулся Данила.

— Я спрашиваю, чего тебе здесь надо?

В голосе отца звучала угроза, глаза сузились до черных, пышущих злобой точек.

Данила невольно вспомнил детство — как он пугался, когда отец таким возвращался с работы. Все начиналось с мелких придирок — к оценкам, к любимой музыке, к одежде. Придирки перерастали в упреки. А уже после в ход шли кулаки.

— Меня выпустили, — сказал Данила. — Я искупил свою вину и теперь, как видишь, вернулся домой.

— Нет у тебя дома, — возмутился отец. — Разворачивайся и пиздуй туда, откуда явился. Здесь тебя никто не ждет.

— Серьезно?

От напряжения у отца задрожали щеки, он с силой сжал кулаки.

— Че, побьешь меня? — не сдержался Данила. — Ну, как раньше, помнишь? Въеби мне пару раз по морде, вдруг полегчает?

Отец сделал глубокий вдох, со свистом выдохнул.

— Ты чего сейчас добиваешься?

— Ничего, — сказал Данила. — Так, пришел повидаться. Маму позовешь? А с братиком меня познакомишь?

Побагровев, отец вцепился Даниле в воротник.

— Клянусь богом, еще хоть слово...

— И че? — зашипел Данила. — Ну?! Че сделаешь-то, а?

Отец не знал, что сделает. Пальцы его начали разжиматься, но Данила быстро перехватил отца под локоть, рванул на себя.

И в тот же миг увидел ничем не прикрытый ужас в его глазах. Настолько чистый, настолько исчерпывающий...

— Пусти! — взвизгнул отец.

— Че, страшно? — оскалился Данила. — Теперь ты меня боишься, да? В курсе ведь, на что я способен...

Отец отпихнул Данилу, прижался к двери и чуть не провалился в коридор. Из комнаты слышались взволнованные возгласы. Данила узнал голос матери.

— Все в порядке! — крикнул отец. — Это по работе!

Он вновь выскочил в подъезд, закрыл дверь и, тяжело дыша и обливаясь потом, посмотрел на Данилу.

— Это ведь мама была, да? — улыбнулся Данила. — У вас там веселье какое-то... — Тут он хлопнул себя по лбу: — Ну конечно! Сегодня же у моего братика День рождения!

— Прощу тебя, уходи, — все еще пытаюсь отдышаться, просипел отец. — Не порти нам праздник...

— А если не уйду? Я ведь тоже часть этой семьи, не забыл?

— Чего ты хочешь? — застонал отец. — Хочешь денег? У меня есть деньги!

Данила опешил. Он никак не ждал, что от него попробуют откупиться. Думал, все будет иначе.

— И сколько ты готов заплатить?

— Назови сумму. Я достану!

— Миллион, — сказал Данила первое, что пришло в голову. — Гони миллион, и я оставляю вас в покое.

— Хорошо, — закивал отец. Он был уже весь взмокший, руки его не слушались, губы подрагивали. — Только наличкой у меня столько не наберется. Давай встретимся завтра, я все принесу, обещаю.

— Миллион, чтоб избавиться от сына, — задумчиво протянул Данила, с презрением глядя на отца. — Вот к чему привели твои методы воспитания.

Данила мог бы еще упомянуть откровение, которое снизошло на него однажды, после очередного «родительского урока»; мог рассказать про ту ночь, когда лежал с опухшим от слез лицом и исполосованной спиной; ночь, когда он отрекся от своего живого отца и принял в сердце отца иного.

В ту ночь на свет появился Жнец.

Но Данила не стал ничего рассказывать, да и отцу явно было на это плевать. Судя по всему, его куда больше заботило, что творится в квартире.

— Ладно, — вздохнул Данила, — неси сколько есть, а завтра остальное.

— Да-да, минутку.

Отец скрылся за дверью, снова слышались голоса, какая-то возня, затем все резко стихло...

— Здесь пятьдесят штук, — сказал отец, протягивая Даниле пачку купюр. — И моя визитка. Позвони с утра, там все обсудим.

Данила молча взял деньги, посмотрел на отца. Конечно, глупо было надеяться на примирение. То, что случилось десять лет назад, навсегда раскололо семью. Данила перестал быть ее частью, превратился в изгоя, в темное пятно на репутации. Тогда зачем он пришел? Что пытался здесь отыскать? Может, хотел убедиться, что ничего не изменилось — его родители все такие же, и брату его уготована та же участь? Придирки, избиения... Или, может, желал обнаружить, что все стало иначе? Поступок Данилы объединил их, сделав настоящей семьей? Мир и гармония. И вот отец защищал эти мир и гармонию, защищал их от прошлого, от былых ошибок.

Защищал от собственного сына.

Данила смотрел на отца и не знал ответа. Тот же наконец справился с ужасом, его глазки опять сделались черными, полыхающими злобой точками.

— Это она за тебя платила, не я, — сказал вдруг отец.

— В смысле? — не понял Данила.

— Твоя мать. Это она перечисляла деньги, чтоб тебя на зоне не грохнули. Нам сразу же позвонили, сказали, если хотим, чтоб ты жил, нужно платить. — Отец выдержал паузу. — И я отказался. Послал их на хуй! Лишь недавно узнал, что все это время она тайком перечисляла деньги каким-то бандитам. И все ради того, чтоб такое чудовище, как ты, могло жить.

Данила об этом не знал. Он, конечно, понимал, что в тюрьме к нему было особое отношение — чувствовал это во взглядах заключенных, в их словах и недомолвках. Но он никогда не думал, что его жизнь оплачена.

— Завтра я тебе позвоню, — тихо сказал Данила. — Будь готов.

Он развернулся и пошел к лифту. При этом от ярости у него тряслись руки.

Вечер он встретил у Раи в гостях.

Жила она в скромной однушке, которую приобрела, продав доставшийся в наследство дом. И первое, что очень не понравилось Даниле, это место, где Рая купила себе квартиру.

— Узнаешь, а? — улыбнулась она, подведя Данилу к балкону.

— Узнаю, — хмуро бросил Данила.

С балкона открывался вид на пустырь, за которым начиналось полузаброшенное кладбище. Данила слишком хорошо знал это кладбище. Он не раз бывал там с друзьями, там же они основали секту, и там же, впоследствии, все произошло...

— Если хочешь, можем сходить, — предложила Рая. — Только лучше днем. Сейчас там гопота бухает. Лучше не связываться.

Данила отказался. Ярость после встречи с отцом отпустила не сразу. И, чтоб хоть как-то развеяться, в ближайшем магазине Данила взял пару бутылок водки, какой-то закуски. Решил, что настала пора отпраздновать свою вновь обретенную свободу. Но чем больше он пил, тем сильнее убеждался, что это не праздник, а, скорей, панихида. И прощался он, судя

по всему, с самим собой. С тем, кем был когда-то, еще до того, как все случилось.

Рая не отставала, хотя настроение у нее было не в пример лучше. Она с обожанием смотрела на Данилу, залихватски опрокидывала стопку за стопкой, дымилась сигаретой и заплетающимся языком о чем-то болтала. В ноутбуке играл дэд-металл, и Данила с удивлением узнавал свои некогда любимые группы.

— Чего ты все молчишь да молчишь? — в какой-то момент обиделась Рая. — Тебе у меня не нравится?

— Нравится, — равнодушно сказал Данила.

Он устало посмотрел на Раю и так и застыл, пораженный ее похотливо-влажными глазами. В этот миг у него в голове пронеслось множество самых разных мыслей, и над всеми ними возвышался один вопрос: а сможет ли он начать новую жизнь? Как тот же Экзекутор, например. Забрать деньги и, оставив прошлое позади, уехать с Раей из города, жениться на ней и растить детей. А полюбить ее он сможет? Ведь, по факту, кроме нее у него никого больше и нет...

— Ну ты совсем скис, — прищипнула Рая и вдруг развязно подмигнула: — Думаю, я смогу тебя развеселить.

Затушив сигарету, она придвинулась к нему и осторожно поцеловала. В этот раз поцелуй понравился Даниле куда больше. Губы ее теперь уже не были такими шершавыми, да и все ужимки будто бы испарились.

Ничего перед собой не разбирая, он жадно обхватил ее, стиснул и неуклюже повалил на пол.

— Не торопись, — жарко зашептала Рая.

Данила не услышал. Водка дала о себе знать, и весь мир словно поплыл куда-то. Остались лишь желание и... тошнота.

Данила задрал Раю юбку, негнуцимися пальцами вцепился в трусы. Он с силой их дернул, желая сорвать — как это обычно бывает в кино. Но трусы остались на месте, лишь с треском лопнула резинка, пискнула от боли Рая.

— Не торопись, — повторила она. — У нас вся ночь впереди.

Данила опять не услышал. Дергаными движениями таки избавив ее от трусов, он попытался высвободиться из одежды и упал на бок. Рая хихикнула, но, увидав его мрачный взгляд, тут же притихла. Сняв штаны, он взобрался на нее, уткнулся лицом ей в шею. Сначала у него не получалось, он шарил в липкой влаге рукой, тыкался наугад. Рая подбадривала, но помогать не спешила. Наконец он проник в нее, затрясся, громко застонал и... обмяк.

Ему было стыдно и гадко, он ждал, что Рая начнет его утешать, как в свое время делала Горгона. Вместо этого Рая нежно погладила его по голове.

— Расскажи мне, — попросила она.

Данила отстранился, мутно посмотрел на нее.

— О чем?

— Как ты их убивал? Я читала газеты, сидела на форумах. Я знаю примерную картину, но хочу услышать все от тебя.

— Ты серьезно?

— Да, конечно! — воскликнула Рая. — Я твоя самая преданная поклонница, Жнец. Я хочу знать все, хочу... хочу видеть это своими глазами!

Данила попытался привести себя в чувство, протер лицо.

— Я знаю, что первым делом ты бил им сюда, — Рая выгнула шею и ткнула пальцем себе за ухо. — Какое это? Клинок, вспарывающий плоть, кровь, брызжащая на руки. Она ведь очень горячая, да?

Эти слова будто вскрыли нечто, что Данила всеми силами пытался забыть. Не само преступление, нет. Такое не забывается. Схематически у него всегда это было перед глазами. Выложенная из звериных черепов пентаграмма, всполохи костра, сидящие спиной к Даниле жертвы. Как он осторожно вынимал кинжал, как давал сигнал остальным. Потом подкрадывался, наносил удар, за ним еще один, и еще...

Нет, забыть он пытался другое: свои ощущения — этот inferнальный экстаз, рвущийся наружу, захлестывающий все вокруг, полностью подчиняющий своей воле...

Ave satani!

— Пожалуйста, расскажи! — уже натурально взмолилась Рая. — Я сделаю все, что прикажешь, Жнец. Я твоя! Только расскажи!

Данила окончательно растерялся.

— Ты не представляешь, о чем просишь...

— Нет! — яростно отмахнулась Рая. — Все я представляю! Я такая же, смотри!

Она вскочила на ноги и бросилась к шкафу, начала спешно выгребать всякий хлам. Длилось это до тех пор, пока в ее руках не появилась трехлитровая банка.

— Видишь? — торжественно произнесла Рая. — Я такая же, как ты!

Данила ошарашенно смотрел на банку, в которой лежала кошачья голова. Кровь на дне уже застыла, но глаза еще не высохли. Стало быть, голову отрезали недавно.

— Ты ебнутая, — задохнулся Данила. — Боже, какая ж ты ебнутая!

Рая нахмурилась, отступила.

— Чего?

— Ебнутая! — крикнул Данила, надевая штаны. — По тебе дурка плачет!

— От тебя я такого не ожидала, — почти шепотом произнесла Рая. — Жнец, что они с тобой сделали?

— Не зови меня так! — рассердился Данила. — Я уже не Жнец, понимаешь? Его больше нет!

Рая вернула банку в шкаф, поправила на себе юбку и холодно посмотрела на Данилу.

— Тебя они, видимо, тоже сломали, — фыркнула она. — Всех вас сломали.

— Всех? — удивился Данила.

— Да, всех. Вашу секту! Тебя, Слэшера, Экзекутора... Я и им писала, встречала их, просила показать, научить... И все от меня сбегали. Вам мозги про-

мыли, а вы этого даже не поняли! Вы больше не те яркие и прекрасные люди, какими вас запомнил мир. Вы теперь такая же серая и никчемная масса, как все остальные. — Она шагнула к Даниле. — Ну, че молчишь-то? Язык проглотил, да? Может, ты и в Люцифера уже не веришь? Может, как Слэшер, в церковь собираешься — попам жопы лизать?..

Данила переменился в лице.

— Хорошо, — тихо сказал он. — Я тебе покажу.

Он направился к кухне, схватил со стола нож. Увидев его с ножом, Рая побледнела.

— Даня, погоди... — залепетала она.

Данила толкнул ее, повалил на пол.

— Хочешь знать, как это было? Ща узнаешь.

Рая завизжала, но тут же умолкла, когда Данила приставил ей к горлу нож.

— Ты правильно сказала, бить нужно сюда, — он несильно уколол ее за ухом. — И самое мастерство в том, чтобы свинка осталась живой. Ударить, а потом наблюдать, как она корчится, как пытается заткнуть хлещущую из раны кровящую. А если ударить чуть ниже, — он повел лезвием вдоль по шее, Рая завывала, — то они даже кричать не смогут. Круто, да? Поверь, я далеко не с первого раза научился. Пришлось разделять парочку-другую, и только после...

Тут он обратил внимание на широко распахнутые Раины глаза, на стекающие по ее лицу слезы. Отбросив нож, Данила поднялся и обнаружил, что Рая обмочилась.

Ему стало невыносимо грустно, он вдруг понял, насколько одинок в этом мире. А еще он понял, что одиночество это никогда не закончится.

— Короче, дура ты, — сказал Данила, подхватив с пола недопитую бутылку водки. — Очередная безмозгая дура.

Когда ночь окутала город, Данила сидел возле старрой могилки на заброшенном кладбище. Он был очень пьян и с трудом удерживался от того, чтобы не уснуть.

В голове царил хаос, давно похороненные воспоминания смешивались с событиями минувшего дня, и все это напоминало кошмарный сон.

Сон длиною в жизнь...

А вокруг было тихо, лишь ветер изредка швырял обрывки голосов, чей-то смех. Данила догадывался, что какие-то совершенно посторонние люди хохочут именно там, где его секта проводила свои кровавые ритуалы. И, вполне вероятно, они даже не в курсе, чем славится это место. Просто оно расположено в стороне от дорог, прямо за кладбищем. Тут редко кто появляется, здесь удобно встречаться с друзьями, напиваться, точно зная, что никто не побеспокоит. И незнакомцы наверняка избрали пустырь по той же причине. Место не стало легендарным, как некогда мечтал Данила, оно просто забылось.

Впрочем, как и эта могила. Она была вся заросшая, стоявший в изножье ржавый крест бесследно исчез, а кто закопан в земле Данила и вовсе не знал. К секте могила не имела никакого отношения. Это был его личный уголок. Сюда он одним майским вечером пригласил Горгону, здесь же ее впервые поцеловал и здесь же стал мужчиной.

Именно по этой причине он выбрал это место, чтоб спрятать самое, как ему когда-то казалось, ценное. Обязательный атрибут культа, то, чем он выражал свою любовь к новоиспеченному отцу — к сатане.

Данила вытер слезящиеся глаза и посмотрел на темноту вокруг.

— Ну и где ты теперь? — спросил он. — Мы верили в тебя... Я верил в тебя! А ты... ты предал нас...

Он горько усмехнулся. На самом деле вера давно его оставила. Возможно, в первый год заключения. Может, чуть раньше. В тюрьме о подобном лучше было не заикаться, сатанистов там не любили. Но порой, ночами, Даниле мерещилось, будто он вновь слышит тот вкрадчивый шепот, видит зыбкую рогатую тень в углу камеры, или под потолком, или где-то еще...

Слабый отблеск былых откровений.

Так или иначе, время оказалось сильнее. Оно стерло дьявола, стерло наивную мальчишескую веру в него, стерло бунт, который скрывался за этой верой. Отныне был лишь потрепанный жизнью мужчина — никому не нужный, не знающий, куда податься...

— Почему ты оставил меня? — всхлипнул Данила.

Он зарылся лицом в ладони, зарыдал. А потом услышал шелест кустарника, поднял голову и тут же свалился от удара в спину. С диким ржанием на него набросились какие-то люди, принялись избивать ногами. Данила сжался в комок, старательно прикрывая голову от сыплющихся ударов.

Наконец все было кончено.

— Слышь, ты вообще кто?

Данила испуганно осмотрелся. Его обступили подростки — лет пятнадцати-шестнадцати, не больше. Один из них снимал все на телефон, другие курили, то и дело пьяно посмеиваясь.

— Але, я к тебе обращаюсь!

— Я живу неподалеку, — прошептал Данила.

— И че?

— Не бейте, пожалуйста...

— Баблинское есть? Смартфон?

Отцовские деньги, как и все свои документы, Данила забыл у Раи. Все, что у него было, это тот самый мобильник, который она ему подарила.

— Телефон есть, — сказал Данила.

— Ну так, бля, доставай! — прикрикнули на него. — А то ща еще пиздюлин огребешь.

Данила вытащил из кармана телефон, протянул в пустоту.

— Это че за хуйня? Ты угораешь, что ли?

Телефон полетел обратно в Данилу, на него вновь накинудись, начали пинать, целясь исключительно в голову. После нескольких ударов в лицо Данила отключился, а когда пришел в себя, рядом никого уже не было. Какое-то время он еще лежал, пугаясь каждого шороха. Потом осторожно сел. Все тело ныло, в голове

болезненно пульсировало, нос, судя по всему, был сломан, а во рту ощущался медный привкус.

Сплюнув, Данила не сдержался и захохотал.

Он вдруг понял, насколько абсурдно случившееся. Когда-то они наводили ужас на весь район, они окропили эту землю кровью невинных, они творили неслыханное, заставили говорить о себе целый город. И вот спустя десять лет на этом самом месте его избили малолетки. Это было нелепо. И очень грустно.

Так хохот постепенно сменился рыданием, а затем вспыхнула ярость.

— Я верил в тебя, сука! — заорал Данила. — Верил, слышишь?!

Он ударил кулаком в землю.

— Почему ты бросил меня?! Отвечай, уебок! Почему оставил меня им на растерзание?!

И снова кулаком в землю — еще и еще.

— Ну, где же ты, а? Где ты?! — кричал Данила, захлебываясь слезами.

Вокруг все так же густилась ночная тьма.

— Где ты? — из последних сил всхлипнул Данила и повалился на землю.

И вот тогда тьма ответила:

— Я здесь.

Данила вскочил и увидел гигантскую, застилавшую собой небеса фигуру. Из вышины, сияя ледяными звездами, взирали глаза.

— Бог мой... — выдохнул Данила.

— Да, — вкрадчиво зашелестела фигура, — я твой Бог. Но почему ты отрекся от меня? Почему утратил веру в меня?

Данила враз протрезвел, слезы высохли на лице, а сердце, казалось, вовсе остановилось.

Из тьмы к нему протянулась рука, длинные когтистые пальцы нежно погладили его по щеке.

— Я всегда был рядом, — множеством голосов шептала фигура, — я направлял тебя и радовался твоим победам. Я гордился тобой. Гордился тем, что ты сделал. Даниил — мой жнец, пророк, предвосхитивший

наступление моего Царства, кирпичик в его фундаменте. И даже когда отвернулись другие, ты оставался мне верен. Так почему отрекаешься теперь? Разве не видишь моей силы? Разве не чувствуешь моей любви?

— Ч-чувствую, — застонал Данила. — Чувствую, Боже!

— Тогда вынь из земли то, что в ней погребено. Докажи, что по-прежнему достоин моего внимания.

Данила пополз к могилке, принялся рвать сухие кусты, а после вцепился в землю, рыл ее, разбрасывая влажные комья, ломая себе ногти. Не ощущая боли и усталости, он продирался все глубже и глубже, пока наконец не наткнулся на ржавую металлическую коробку.

Вытащив ее, щелкнул замками и заглянул внутрь.

— Видишь? — услышал он. — Такова сила моей любви — твое могущество!

Данила сунул руку в коробку и извлек сверток. Размотав ткань, посмотрел на кинжал.

— Вспомни, как они вопили, когда ты терзал их. Вспомни, чем пахла их кровь, каковы были на вкус их сердца.

— Я п-помню, — произнес Данила.

Он бережно взял кинжал, стиснул его рукоять и зачарованно осмотрел лезвие. Оружие, которое так и не нашли. Ритуальный клинок, которым свирепый Жнец потрошил визжащих от ужаса свиней, да-а...

Данила повернулся, на него взирали пылающие холодом глаза. Тонкие губы шевелились, произнося заклинания на древнем языке, а черты лица постоянно изменялись, ускользая от Данилы. И сколько бы он ни вглядывался, так и не смог определить, какое у тени лицо. Тогда он осознал, что у тени — у дьявола — вовсе нет лица.

— Ты должен вернуть себе веру, — шелестела тень, — должен еще раз доказать свою преданность. Ведь тебе уготована величайшая роль — стать мучеником! И тогда, вдохновившись, поднимутся остальные. Они принесут в этот мир боль, наполнят его криками. Они

будут пытаться, насиловать и убивать. В школах, в домах, во дворах. Все захлебнется в бессмысленной жестокости.

— Я готов, — сказал Данила.

Глаза насмешливо блеснули, рот скривился в глумливой улыбке, а все, что было вокруг, внезапно начало преображаться. И, присмотревшись, Данила понял, чье лицо нацепил на себя дьявол.

— Как я повергаю отца своего, так и ты сразишь своего.

Данила вглядывался в перекошенное от злобы отцовское лицо. Затем тень слегка отвела голову, выгнула шею. И тогда Данила ударил ее кинжалом — прямо под ухо. Брызнула горячая смрадная чернота.

— Придите, испейте, сие есть пречистая кровь моя.

Данила припал губами к ране, вздрогнул, когда чернотой ему ошпарило язык, и принялся жадно глотать.

Напившись, он отстранился и увидал, что тень обрела девичьи формы. Перед ним распростерлось юное женское тело, чья грудная клетка вспучилась и с хрустом раскрылась, будто распустившийся бутон. В черной мякоти гулко стучало сердце.

— Придите, ядите, сие есть пречистое тело мое.

Лицо отца сменилось лицом Раи. Неподвижное, бледное, словно тесто, мертвым взглядом оно смотрело куда-то за Данилу. И лишь посиневшие губы не переставали двигаться:

— И да святится имя Мое...

— Да святится имя Твое, — произнес Данила.

Быстрыми взмахами кинжала он вырезал сердце, взвесил его на ладони.

— И да придет Царствие Мое...

— Да придет Царствие Твое.

Он впился зубами в жесткую сердечную мышцу, выдрал кусок и принялся жевать.

— И да будет воля Моя...

— Да будет воля Твоя, — проглотив, сказал Данила.

— Как на небе, так и на земле.

Данила жадно облизал пальцы и, зачарованно глядя в сияющие глаза, повторил:

— Как на небе, так и на земле.

— С возвращением, сын мой, — улыбнулась тень.

— Этот мир ждет тебя, он уже истосковался по твоему клинку.

— Истосковался...

— Ты знаешь, что делать.

— Знаю...

И тогда все закончилось — так же внезапно, как началось.

Данила сидел возле разрытой могилы, сжимая в руке кинжал, и со слезами на глазах смотрел в небеса — на осенние звезды, на чарующую ночную темень.

Спустя какое-то время он поднялся с земли, отряхнулся. Во рту по-прежнему ощущалась кровь, зато опьянение полностью выветрилось.

В паре метров поодаль Данила обнаружил свой мобильный телефон. К счастью, тот был цел. В меню он быстро отыскал раздел «контакты», содержащий единственное имя, и после нескольких гудков услышал голос Раи:

— Чего тебе?

— Слушай, прости меня, — мягко произнес Данила, — я вел себя как мудака. Просто день выдался тяжелый, сама понимаешь.

Рая угрюмо молчала.

— Не возражаешь, если я зайду? Попробуем еще раз, хорошо? И в этот раз я расскажу тебе все, что хочешь.

— Ты уверен? — с плохо скрываемой надеждой спросила Рая.

Жнец посмотрел на свой кинжал.

— Да, уверен.

Свят Павлов
ИНИЦИАЦИЯ

Однажды я рефлексировал на тему моего взросления, моей инициации. Когда ты становишься действительно взрослым, а детство уходит в туманное полумифическое прошлое, подобно Китежу. Такая метаморфоза не происходит с последним звонком, дипломом или тем более с трудовой книжкой. Многие и во все всю свою жизнь проводят в слюнявых объятиях духовного детства. Просто не замечают этого. Или не хотят замечать. Но у меня все вышло иначе. С того момента я навсегда расстался не только с детством, но и покоем.

70

Как это ни удивительно, но после первого секса ничего особенного с моей личностью не произошло. Я даже лицо той вызывающе неблагополучной девки в рваных пахучих джинсах припоминанию с трудом. Более важные части тела несколько отчетливее, но почему-то всегда по отдельности. Целостный образ разваливается в моей памяти, как конструктор “Лего” в руках умственно отсталого ребенка. Со временем я оставляю только самый интересный кусочек ее тела и изредка буду играть с ним у себя в голове.

Основным чувством после первого секса было какое-то донельзя прозаичное, почти бытовое разочарование. До этого я сходные ощущения испытывал лишь раз: когда мне на шестилетие вместо терминатора подарили шахматы. И ради такой смешной возни люди пишут стихи, поют песни, а иногда и режут друг друга в своих затхлых подъездах и тесных квартирах? Даа, думал я, ну и мудаки. Правда, потом я втянулся и изменил свое мнение на противоположное. Да и хронология моей жизни стала измеряться не в футбольных

чемпионатах, а в бывших девушках. Вместо от кубка к кубку получилось из руки в руки. Но вся эта увлекательная переоценка ценностей случилась гораздо позднее. Ну а пока...

А пока единственной мыслью, которая меня грела, как старая блохастая кошка, было то, что совсем скоро я все расскажу своим пацанам. И стану чуть более топским в нашей достаточно маргинальной, но все же уютной компании. Больше никаких мыслей у меня в голове не было. Как будто рублевую сигу поштучно выкурил, ей-богу.

Надо сказать, что эта охуительная история произвела на моих друзей еще меньшее впечатление, чем на героя «Зеленого слоника». У кого-то уже был куда более внушительный опыт, а кого-то просто еще мало интересовала сама тема. Какие женщины, когда есть заброшенный стадион, поросшее крапивой поле и старый растрепанный мяч. Да и неблагополучную девку я потом с легкостью обменял на новую книжку в оранжевой обложке. Желтая струя моей бессознательной жизни полилась на привычный сугроб.

Все самое важное произошло со мной буквально через полгода. Все детали того вечера я помню настолько точно, как будто это произошло вчера, а не 17 лет назад. Да какие 17 лет! Эти события навсегда остались для меня на расстоянии 17 минут, двух увесистых апперкотов и одного резкого удара ножом в горло. Подобно Сизифу, я буду вечность тащить их за собой. Потому что из этих событий родилась моя маленькая гегельянистая истина.

По пыльной июльской дороге я провожал подругу до дома. Мы неистово подражали голливудским героям. Я пинал невидимые предметы под ногами, а она несла свои благоглупости. Все было предельно мелодраматично, разве что мы гуляли не по Бродвею, а по ветхой и невыразительной словно дедовский пиджак окраине русского городка.

Но для симуляции чувств, как известно, пригодна совершенно любая локация. Когда ритуальная сторона

дела была соблюдена и передо мной предсказуемо захлопнулись двери ее подъезда, мне оставалось лишь утереться обветренными следами сухого поцелуя и развернуться домой.

И тут я совершил одну большую глупость. Вместо проверенного безлюдного маршрута вдоль заводской стены я решил срезать через микрорайон. Вопреки устоявшемуся мнению, в стремных местах всегда нужно выбирать самую тихую и темную улицу, где вероятность встретить толпу бухих оппонентов куда ниже. Потому что когда тебя будут пиздить в людном месте, то все равно ни одна сука тебе не поможет. Проверено и запатентовано. Пользуйтесь этой мудростью на здоровье.

Но, увы, в то время я не был обременен никакой жизненной мудростью. В размышлениях о творчестве Ирвина Уэлша я почти преодолел микрорайон, но на следующем перекрестке я невольно оказался внутри романа Чака Паланика. Свет фонаря отбрасывал две грязные тени: одну большую и вторую чуть поменьше. Как только я поравнялся с теньями, в мою сторону предсказуемо донесся окрик в духе «слышь, черт, сюда подошел». И тут я сделал вторую, еще большую глупость — прошел мимо в том же прогулочном темпе, как будто ничего не произошло. Тогда я еще не знал, что «бей-беги» может эффективно работать не только в футболе, а полоска острой стали порой самое ценное, что у тебя может быть в жизни.

Без всякого фэйр-плея и лишних слов мои оппоненты набросились на меня сзади и сбили с ног. Та тень, что покрупнее, принялась меня душить шершавыми пролетарскими лапами. Прямо натурально душить, а не то, чтобы поддушивать для прикола. Чудом мне удалось вывернуться и укусить голема за лапу. Он даже взвизгнул от удивления. Понимаю, звучит не очень по-геройски, но когда тебя душит какой-то ублюдок, не до «Илиады» с «Одиссеей». Дальше я только бежал, пропуская слабые, но оттого не менее обидные

удары по спине и затылку. Тени отстали, я оказался в своем дворе.

Меня просто выворачивало наизнанку, как будто хочешь блевать, а блевать совершенно нечем. Это была не горечь, не обида, не страх, а такая звериная нутряная ярость. Чувство абсолютно новое, мне незнакомое и непонятное. Но почему-то оно мне нравилось, оно было таким родным и обжигающим как стакан портвейна. Мне казалось, что я наконец-то обрел то, что давно искал. Я насобирав камни у дороги и пошел обратно к тому самому перекрестку.

Две тени по-прежнему стояли у фонаря, как будто бы ничего и не произошло. Теперь им из мобилы аккомпанировал «Сектор Газа». Я подобрался на относительно безопасное расстояние и начал кидаться камнями. Целился я исключительно в голову. Мне хотелось, чтобы они умерли. К сожалению, я попал только в грудь и живот самому крупному, мелкий обмудок и вовсе увернулся. Вероятно, если бы я попал, и кто-нибудь из них сдох, то моя жизнь сложилась совсем по-другому. Но я твердо уверен, что ни секунды об этом бы не пожалел.

Мои орудия против пролетариата вскоре закончились. Как вы думаете, что было потом? Правильно! На меня прыгнули и снова отпиздили. На этот раз никто меня не душил, оппоненты просто и лаконично охаживали меня ногами. Лежа на животе и кое-как прикрывая башку, я обещал себе, что если выберусь живым, то обязательно запишусь в секцию по метанию камней. Почему-то эта идея меня веселила. Как ни странно, но в какой-то момент они просто взяли и свалили. Видимо, я им надоел, ну или они решили, что с меня хватит. Загадочный разум обмудка непостижим. Потом я долго и больно вставал. Ярость подкатывала огненной волной к горлу и отдавала красными кругами в глаза. На секцию по метанию камней я так и не записался.

С того самого момента я стал тем, кем я являюсь. Теперь я каждый день провожу наедине со своей зве-

риной яростью. Порой как с дорогой женой, а иногда как со злобной и сварливой тещей. Но я точно знаю, что она всегда со мной. И на самом деле это единственное чувство, которое всерьез заставляет меня жить. Поэтому, когда ее не станет — не станет и меня. Ведь большинство людей умирают только в последний момент, остальные начинают делать это лет за двадцать, а то и раньше. Они — самые несчастные на земле. Так говорил Селин, а он никогда не ошибался.

школа трупов

Павел Лукьянов
БЕСКОНЕЧНОЕ ДЕТСТВО

**МЁРТВАЯ ПОЭЗИЯ
ПОБЕДИВШЕЙ РЕВОЛЮЦИИ**

Возраст — ... помеха
(анти)народная мудрость

Смех сквозь смену веx

75

В 1991-м году в 14 лет я впервые прочитал так называемые «взрослые» тексты Даниила Хармса. То, что они считались «взрослыми», льстило мне как подростку, хотя ничего «взрослого» в них не было, и я без усилий считывал абсурд непривычных гэгов и скетчей. Моя мама в то время была моложе, чем я, пишущий сейчас эти строки: она, как и миллионы советских жителей, тянулась к ранее недоступной информации, которая ежедневно прибывала в виде «Случаев» Хармса, «Чевенгура», «Унесённых ветром» и прочих *запретных* книг. Помню ярко: мне — 14 лет, маме — 38 лет, мы сидим в зале театра «Эрмитаж» и трясёмся от смеха на спектакле «Хармс! Чармс! Шардам! или школа клоунов». На сцене яркая Любовь Полищук гротескно кривляется, изображая выпадающих из окна старух или Пушкина, спотыкающегося о Гоголя. Детство, полутёмный зал, мы с мамой в едином внимании, неслышанный юмор, и мы с ней сгибаемся до пола и смеём-

ся, смеёмся и запоминаем, запоминаем этот смех. И вся страна жадно скупала и читала многотысячные тиражи Хармса, Введенского, Олейникова, Заболоцкого — этих полуупомянутых в советское время поэтов. «Иван Топорышкин пошёл на охоту...», «Дядя Боря говорит, / Что / Оттого он так сердит, / Что...», «В этой роще берёзовой, / Вдалеке от страданий и бед...» — эти стихи были известны всему Союзу, а другие, «взрослые», то есть *непечатные* в течение 50 лет тексты поэтов, пришли в страну на рубеже очередной *Смены вех*. И сейчас, через 30 лет после снизошедшего на нас с мамой смеха, я пытаюсь найти разгадку взрывной привлекательности ОБЭРИУтов для жителей страны накануне падения железных декораций социализма.

Прерванное детство

76

Россия до момента её опрошения в 1917 году была страной, состоявшей из разных сложно организованных социальных страт, это было государство, умеренно контролирующее происходящие политические явления, это была страна, чью культуру эстет Поль Валери назвал «одним из чудес света». И эта страна за пару лет слиняла до общества, в котором уборщица может (и будет) руководить институтом (заводом, журналом). Новая Россия ужаснула даже убеждённого коммуниста Андрея Жида, который был встречен в СССР с почётом, принял участие в похоронах Горького и прожил несколько месяцев в Советской России. После чего он написал уничижительное «Возвращение из СССР», мгновенно превратившись в запрещённого на многие года писателя.

Страна зажиточных крестьян превратилась в страну бедняков, кичащихся своим лохмотьями. Лохмотья стали образцом почитания. В стране победившего терроризма власть уголовников и убийц пошла по деревням и опустевшим городам (население Петер-

бурга к 1920 году уменьшилось вдвое, город стоял пустой). Представьте свою семью: сидите вы с отцом и матерью, с женой и двумя детьми. Сидите, закрыли на мгновение глаза, открыли, а мамы и жены нет, папа плавает в луже крови, грязные дети в лохмотьях читают Маркса. Так это и было. Неспроста же современные российские марксисты говорят о космосе, Гагарине, хрусте советской булки, но только не о Гумилёве, только не о лошадях, съеденных после революции в богатейшем городе Европы (Петербурге). То, что Горький нашёл *на дне*, всплыло и покрыло кровью весь мир. Россию захватили сверх-недочеловеки.

Общее детство

Общим оно и было: моё детство, закончившееся в 1991 году, и детство ОБЭРИУтов, закончившееся в 1917 году. Не сравнивая несравнимое, не ставя знак равенства между пропастью 1917 года и увековечиванием пропасти в 1991 году, я говорю лишь о резком обрыве детства — словно руку оторвали. И вот я и Заболоцкий в возрасте 14 лет стоим с детским сердцем, выросшим по прежним правилам, среди новообразований, которые одним днём отменили большую часть заложенных в детстве понятий, смыслов. Мир перестал быть привычным, и детство сразу осталось в прошлом. Для вчерашнего мальчишки среди новых игр не оказалось тех, правила которых он успел выучить. Я и мои ровесники (1976-1978 годов рождения) и ОБЭРИУты (1903-1905 годов рождения) пытались научиться новым играм, нелепо следуя устаревшим сводам и уговорам. ОБЭРИУты, успевшие захватить остатки взрослого полноценного мира, запечатали его лишь отчасти, лишь в доступной их сознанию детской манере мысли. И в этом — ключ к неполноценной цельности их литературного метода и разгадка их популярности среди людей моего поколения. Наше поколение и есть ОБЭРИУты, встретившие свой 1917/1991

год не по своей воле. Наше поколение оказалось, конечно, в более мягких условиях, жизнь вообще *услас- тилась* за XX век. Но ощущение чужой бомбы, тикающей в наших руках, до сих пор роднит нас с ОБЭ- РИУтами. Только у них щёлкнуло, а у нас и щелчки не- настоящие. Потому что нам, в отличие от ОБЭРИУтов, оказалось нечего терять и не о чем жалеть в опустев- шем без нас детстве.

Всем, чьё детство и юность были прерваны рево- люцией, посвящается это скромное исследование о по- этах, родившихся незадолго до революции и приняв- ших насильный дар судьбы. В 1917 году всем детям в России подарили бомбу замедленного действия. Во- одушевлённые подарком, они стояли, переглядываясь, взрослея и слушая тиканье, с которым потихоньку сживались, не задумываясь о заложенном механизме срабатывания судьбы. И вот то у одного, то у другого ребёнка по мере взросления механизм без предупреж- дения срабатывал, без сожаления прерывая их судьбы. Это не походило на осенний листопад, это было веро- ломное распыление ледяного ветра среди летнего леса, преждевременное состаривание тел, не успевших ни расцвести, ни повзрослеть. — Тик-так, — говорили по- дарки, — Вот и твой черёд настал —. И очередной поэт отправлялся к червям, так и не поняв смысла и без того малоосмысленной жизни.

Государство ромашек

Николай Заболоцкий

(1903-1958)

Николая Заболоцкого можно было бы назвать са- мым счастливым из ОБЭРИУтов, если считать, что живая собака счастливее мёртвого льва. В год револю- ции Заболоцкому было 14 лет. Это поэт, навеки за- стрявший в своём камлании на детские впечатления и образы, представляющие из себя бесконечный велоси- пед: нечто едущее и без усталости удивляющееся явлени-

ям природного мира и проговаривающее свои впечатления на (без)условно детском языке. Алексей Агафонович Заболоцкий, отец поэта, был первым в своем роду, кто получил образование (сельскохозяйственное училище). Он стал агрономом, учил до революции крестьян прогрессивным методам земледелия, имел лабораторию, где показывал крестьянам сравнительные посадки семян с удобрениями и без. Поскольку Россия была *тюрьмой народов* (так, кажется, говорят), то Алексей Агафонович Заболоцкий (угнетатель и рабовладелец), желая помочь местным крестьянам во время неурожая, написал письмо Фёдору Шаляпину, прося помощи. Шаляпин (белоручка и кровопийца) прислал денег, на которые Алексей Агафонович (насильник и деспот) открыл столовую для крестьян. Эти человеческие поступки и скромное вне политики существование отца спасли его сына после революции, ведь Николаю Заболоцкому не пришлось скрывать и отказываться от своих родителей, которые были близки к *(не)простому* народу. Народ и отблагодарил батюшку Ляксея Агафоныча: стоеросовые дураки, крестьяне, в 1917 добились обыска в доме Заболоцких (типа он хранил оружие), но ничего не нашли. А вся злость их была вызвана лишь разумной требовательностью Алексея Агафоновича, хозяина своей жизни и ответственного человека. Но поскольку дуракам раздали шальные погоны власти, они всласть и покуражились над белоруким барином, который двадцать лет кормил крестьян и их родителей со скатерти-самобранки земли русской. Ну, крестьяне своё потом тоже получили: колхозики, отсутствие паспортов до 1974-го года и прочую свободу. Но пока шла перестановка сил, крестьяне были ещё нужны в товарном количестве для натравливания всех на вся. Временную власть получили также одни из активных деятелей красного террора — латышские стрелки, арестовавшие 15-летнего Николая Заболоцкого. Мама носила передочки сыну. Спасибо, дедушка Ленин! Это же всё шутки, да? Розыгрыши. Смешно и весело. Детство Заболоцкого закон-

чилося, когда он впервые вышел из тюрьмы. Впереди его ждали столица, ОБЭРИУтские лица, новые стихи, заключение, ссылка, свобода. Только старость его не дождалась. Зато детство так никогда и не отпустило его от себя, и в 50 лет он напишет такие невзрослые строки:

Я воспитан природой суровой,
Мне довольно заметить у ног
Одуванчика шарик пуховый,
Подорожника твердый клинок.

Чем обычной простое растение,
Тем живее волнует меня
Первых листьев его появление
На рассвете весеннего дня.

В государстве ромашек, у края,
Где ручей, задыхаясь, поет,
Прележал бы всю ночь до утра я,
Запрокинув лицо в небосвод.

Жизнь потоком светящейся пыли
Все текла бы, текла сквозь листы,
И туманные звезды светили,
Заливая лучами кусты.

И, внимая весеннему шуму
Посреди очарованных трав,
Всё лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав.

Поэт Заболоцкий скрывался в пещере ушедшего благоденствия. Он хотел обратно, к папе и маме. Хотел бегать с друзьями, размахивать саблей, как в 1912 году, и быть атаманом Платовым. Хотел играть, а не быть. Думаю, что Йохан Хейзинга, поживи он в СССР

20-х годов, получил бы много ценного материала для своего «Играющего человека». Вот уж где нужно было играть — играть в *нового человека*, играть в то, что ты больше не ветхий не дореволюционный человек, что ты — спортсмен и работник нового типа. Нового класса. Новой человеческой общности. Что ты — новиоп!

За 20 лет в советской России даже ребёнок доходил до умопомрачения, и в 1936 году ребёнок Заболоцкий пишет «Горийскую симфонию», посвящённую Сталину — отцу народов, заменившему всем детям России их отцов. От физиологических отцов следовало отрекаться. Подлинный отец должен быть один, как курс партии, как меню в столовой! Заболоцкий, замерев в фазе ребёнка, славит Сталина, наполняя памфлет личным детским воспоминанием о своём детстве. Ребёнок не позволяет поэту предать себя полностью:

...

Ты помнишь вечер? Солнце опускалось,
Дымился неба купол голубой.
Вся Карталина в огнях переливалась,
Мычали буйволы, качаясь над Курой.
Замолкнул город, тих и неподвижен,
И эта хижина, беднейшая из хижин,
Казалась нам и меньше и темней.
Но как влеклось мое сознание к ней!

Припоминая отрочества годы,
Хотел понять я, как в такой глуши
Образовался действием природы
Первоначальный строй его души.
Как он смотрел в небес огромный купол,
Как гладил буйвола, как свой твердил урок,
Как в тайниках души своей баюкал
То, что еще и высказать не мог.

...

Беспомощное детское стихотворение, написанное запуганным ребёнком по утверждённым лекалам. Помню себя, как в 1989 году на уроке рисования я из раза в раз рисовал плакат, зная, что получу пятёрку «автоматом». На листе бумаги я изображал обрыв, с которого злая ракета пытается скинуть Земной Шар. Видимо, я ребёнком видел многотиражные плакаты («Миру — мир», «СССР — оплот мира») и в своём рисунке подстраивался под то, чего, по детскому разумению, от меня ожидал учитель. Так и Заболоцкий плёлся в хвосте азиатского славословия. Писатель из более старшего поколения — Булгаков — ещё в 1920 году написал пьесу «Сыновья муллы» про *рзволюциённых* грузин, борящихся с замшелой руснёй. А уж сколько халвы и патоки натокали в уши батону Джугашвили поэты и прозаики в 1930-х годах — тиражами можно выложить путь до Луны. И надо сказать, что Заболоцкий в этом деле шёл с робким отставанием. Хороший поэт всегда будет скверным учеником.

82

В январе 1937 года в газете известия печатается стихотворение Заболоцкого, которое он потом не будет включать ни в один из своих сборников. Ребёнок Заболоцкий хочет защитить и отца (Сталина), и семью (200 миллионов советских жителей), и, главное, *себя* от злых предателей, которые, конечно, предают всех *по-нарошку*. Это просто игра такая. Заболоцкий настолько пытался подыграть общепринятым мотивам, что переигрывал в чужой игре и проигрывал как поэт.

ПРЕДАТЕЛИ

Как? Распродать страну?! Чтоб под сапог германский
 Всё то, что создано работою гигантской,
 Всем напряжением сил, всей волею труда, —
 Колхозы, шахты, стройки, города, —
 Всё бросить, всё продать?! Чтоб на народном теле
 Опять они, как вороны, сидели!
 Чтобы нагайка снова по спине

Пошла гулять! Чтобы по всей стране
 Застенки выросли! Чтоб фабрики, заводы,
 Колхозы, шахты, пашни, пароходы —
 Всё снова им, на выбор, с молотка!
 Нет, руки коротки. Здесь мы живем пока.
 Здесь мы живем. Здесь, в этой части света
 Ударил гром, чтоб потряслась планета —
 Наш первый гром, предшественник громов.
 Сквозь бедствия войны, переполох умов,
 Сквозь горе человеческое, муку
 Мы пронесли великую науку —
 Науку побеждать, чтоб был у власти Труд,
 Науку строить так, как в песнях лишь поют,
 Науку веровать в людей и, если это надо, —
 Уменье заклеить и уничтожить гада.

Распятъ предателей опять же хотел ребёнок Заболоцкий. И, зная нежный нрав поэта, мы понимаем, что и казнь, которую он призывает на головы предателей, является *игрушечной*, из разряда тех игр во французов и русских, в которую они играли в детстве с друзьями. И пафос его обличения тщедушен и подделен. Это не «Убей немца», это «Уважаемый немец, не соизволите ли вы убиться!?»

Однако, парадоксальным образом это стихотворение также возможно считать написанным в порыве искренности. Ведь Заболоцкий адресовал его «старым большевикам», предателям-троцкистам, людям, лишившим его юности, выкинувшем его из собственной страны. Ведь то, что на процессах 1937 года убивали не только случайных людей, но и вчерашних убийц — это очевидный факт. Да, свой текст Заболоцкий создавал в угоду других, *правильных* убийц, но ему наивно (по-детски) хотелось быть защищённым хоть каким-то вразумительным смыслом, потому что если и *Отец нации* — убийца, то в каком же мире живёт поэт и все вокруг? В чём тогда вообще можно быть уверенным, если и враги, и руководители страны одинаково кровавы и не прощаемы в человеческих координатах?!

Потому Заболоцкий и не включил это стихотворение в корпус своих текстов — не только из-за слабости текста, но также из-за того, что те, перед кем он высказывался как перед надеждой (Сталин и Ко) оказались... такими же *наймитами Англии* и живоде́рами России.

Но в конце 30-х годов, когда *Хозяин мира* всего был ещё в силе, Заболоцкого самого разоблачили как врага народа, разоблачили именно за ненастоящую страсть его политически верных стихотворений, за детскую подделку под политический памфлет. В нём видели даже не врага, а какого-то ненадёжного товарища, *ребёнка*, неумело пытающегося сделать то, что было бы угодно взрослым.

В марте 1938 года Заболоцкого, чья квартира со-седствовала с квартирой уже убитого к тому времени Олейникова, арестовали. Обычные издевательства, которые полагались ребёнку из «бывших» людей, неожиданная стойкость поэта, случай, удача, страх, преддверие смерти и неожиданное спасение, в том числе и от фронта. Ребёнок Заболоцкий встречает сорокалетие в бараке, а пятидесятилетие — вне барака. Только язык не повернётся назвать это *свободой*. Это была свобода от строгого тюремного режима. Ослабление поводка перед смертью.

В доме Заболоцкого в детстве была небольшая библиотека. Семилетний Заболоцкий подходил к шкафу и читал записку, написанную отцовской рукой: «Для многих книги — всё равно, что хлеб». Этого детского хлеба Заболоцкому и хватило на всю жизнь. И всё также по-детски, не принимая до конца безвозвратной окончательности жизни, Заболоцкий в 50 лет напишет стихотворение про ОБЭРИУтов, своих умерших друзей детства:

В широких шляпах, длинных пиджаках,
С тетрадами своих стихотворений,
Давным-давно рассыпались вы в прах,
Как ветки облетевшие сирени.

Вы в той стране, где нет готовых форм,
 Где всё разъято, смешано, разбито,
 Где вместо неба — лишь могильный холм
 И неподвижна лунная орбита.

Там на ином, невнятном языке
 Поёт синклит беззвучных насекомых,
 Там с маленьким фонариком в руке
 Жук-человек приветствует знакомых.

Спокойно ль вам, товарищи мои?
 Легко ли вам? И всё ли вы забыли?
 Теперь вам братья — корни, муравьи,
 Травинки, вздохи, столбики из пыли.

Теперь вам сестры — цветики гвоздик,
 Соски сирени, щепочки, цыплята...
 И уж не в силах вспомнить ваш язык
 Там наверху оставленного брата.

Ему ещё не место в тех краях,
 Где вы исчезли, лёгкие, как тени,
 В широких шляпах, длинных пиджаках,
 С тетрадами своих стихотворений.

Богиня Фетида держала своего сына Ахилла за пятку, окуная его для закалки в воды Стикса. Ахиллесовой пятой Заболоцкого и всех поэтов его поколения было их дореволюционное, старорежимное детство. Пятка подворачивалась, в неё летели стрелы критики. ОБЭРИУты во время смуты не были прожжёнными и достаточно взрослыми, как Маяковский, встретивший 1917 год в возрасте 22 лет, они не понимали народившегося языка, потому что не успели пройти обработку политической абракадаброй в юности. ОБЭРИУты подетски чувствовали подлог маяковских плакатных текстов про Ленина. Но они и сами бы так хотели, только не успели научиться в старой жизни, а новая

жизнь требовала оперативной реакции и текстов. Даже само слово: *ОБЭРИУты* — созвучно слову *ребята*. Язык, помимо воли поэтов, помнил и понимал происходящее. И мы, благодаря языку Заболоцкого, восходим к ситуации его жизни, наблюдаем ребёнка, ищущего в высоте знаки зодиака, стоящего в вечном удивлении пред небом и лепечущего о своих чувствах на детском языке. Заболоцкий не хочет и не умеет покинуть сохранившееся в памяти пространство былого и убитого детства. Детство для него продолжает жить как единственное оправдание всех последующих мучений жизни. Это как бы фильм, прокрученный наоборот: от хэппи-энда рождения до мрачного триллера зрелости и старости. Располневший герой мрачно идет по лесу и вдруг проваливается сердцем и разумом в *прекрасное далёко*, о котором в моём детстве будут петь пронзительную детскую песню. И самое проникновенное в этой песне — то, что прекрасное далёко — это недостижимое прошлое, от которого человек отныне будет лишь удаляться и уходить, уменьшаясь в размерах. Советские следователи не зря пытали Заболоцкого, они чувствовали в его стихах эскапизм и пропаганду старого строя, который был как раз не старым, а юным и живым. И к этому чуждому детству новая сатанинская власть могла испытывать лишь животную злобу. Заболоцкий чудом уцелел, благодаря случаю и нейтральному статусу отца, который, сам того не ведая, выбором кошерной сферы деятельности спас сына от грядущей гибели.

Вылитый ребёнок

Иван Пулькин

(1903-1941)

«Я был в домах многих колхозников этого процветающего колхоза... Мне хотелось бы выразить странное и грустное впечатление, которое производит «интерьер» в их домах: впечатление абсолютной безликости. В каждом доме та же грубая мебель, тот же портрет Сталина — и больше ничего. Ни одного предмета, ни одной вещи, которые указывали бы на личность хозяина. Взаимозаменяемые жилища. До такой степени, что колхозники (которые тоже кажутся взаимозаменяемыми) могли бы перебраться из одного дома в другой.»

Андре Жид «Возвращение из СССР»

Поэт Иван Пулькин родился в один год с Николаем Заболоцким (1903). Детство Пулькина также прошло в деревне, но если Заболоцкий жил барчуком, сыном уважаемого агронома, то Пулькин был из крестьянских детей, и его детство прошло в тягости и лишениях (отец пропал в австрийском плену, когда Ивану было 10 лет). Но, не случись революции, Пулькина бы заметили, дали бы шанс получить, например, гуманитарное образование, к чему у него была природная склонность. Он бы попал в город, подглядел бы как делают дела европейцы (то есть тогдашние русские), как кривляется на потеху публики Сергей Есенин, творя через это живые смыслы и новые звучания. Пулькина бы совратил старообрядец и паяц Клюев, дал бы ему урок благочестивой изворотливости и наигранности. Пулькин бы остался собой, но понял бы, как разумная русская единица, правило умножения себя на формальные проявления живой культуры. Но жизнь Пулькина, как и миллионов других Иванов, была остановлена и переведена на рельсы беззаветного послушания и однозначности высказывания. Начиная с 14-летнего возраста поэтическая жизнь Ивана Пулькина остановилась, и он, находясь в самом романтическом возрасте,

не умея таиться (как, например, его взрослый собрат по перу Георгий Оболдуев), остановился в поэтическом развитии. Все его поэтические продвижения и поиски — суть опустошение методик Есенина и Маяковского с проблесками акмеизма. Ослеплённый настойчивой многолетней пропагандой крестьянский сын Иван Пулькин пошел на словесную службу новому миру. Пошел не как ОБЭРИУты, в детский уголок Маршака, а пошёл в народ, к своим сермяжным крестьянам. Только Пулькин не рассчитал, что он — поэт от природы, а крестьяне в большинстве — суть необработанная глина, из которой его стихи лепили горбатого человека будущего. Иван Пулькин — автор известной в начале 30-х годов комсомольской песни:

Отряд сквозь ночь шёл напрямик,
А ветер вслед летел,
К ночным дорогам он привык
И лишь тоскливо пел.
Вокруг лежал степной простор —
Эх, всё за степь отдашь!
Но вдруг, тоске наперекор,
Запел товарищ наш:
— Если сердце грустит твоё,
Смело глянь! Веселей споём!
Петь давай смелей!
С песней веселей!
Вдвоём!

Вот Иван Пулькин и отдал почти всю русскую культуру за степь советского ковыля. Так и ковылял: энергично и абстрактно, соблазнённый и отравленный верой в светлейшее будущее.

После революции Иван Пулькин работает в Политпросвете, получает зарплату, он устроен и сыт. Вчерашний ребенок из крестьян вдруг получил повышение статуса — не на лошади пахать с утра до ночи, а написал стихи — тут же получил гонорар: тут не захочешь — станешь благодарным новой власти. Такой

трамплин! Правда, земля красновата от крови под этим трамплином, но это же враги, понимать надо. Сам Пулькин не был кровавым убийцей, он был лишь литературным винтиком, подходящим по происхождению и талантливым в достаточной для новой власти мере. По мере написания стихов, текстов для районной газеты в Волоколамске он становится заметным, рекрутинг пропаганды работает, неокрепшей власти требуется массово убеждать ограбленных людей в том, что этот новый мир юн, справедлив, энергичен, что он пришёл всерьёз и надолго, что он гуманен и культурен. С последними пунктами была наибольшая сложность, поскольку гражданская война изранила семьи, веру людей, населила сердца сомнением. Да и песни о бесконечных пламенных комсомольцах и белых врагах сеяли в сердцах и умах лишь нервозность и настороженность. Точно такие же неврастенические настроения порождает (с поправкой на масштаб) сегодняшнее сумасшедшее нагнетание истерии о смертельном вирусе. В 20-е годы обывателей пугали белогвардейской заразой, которая вот-вот ворвётся в новый советский дом, посадит крестьян на цепь, обложит данью, сойдёт в Сибирь, расстреляет. Эти рулады звучали так же истерично, как голоса проповедников, попавших к аборигенам, которым криками можно внушить страх перед старыми богами. Озадаченных неофитов принялись пичкать революционной литературой. Расчетливый Маяковский рисовал свои «Окна РОСТА» с идиотскими фразами. Такую рекламу никто не читал, как не читают сегодня камлания о смертельности вируса, зато Маяковский отчитывался перед заказчиком и клал в карман не пыльные гонорары. Тем же путем шёл и Пулькин. Перебравшись по зову ~~ее~~ ~~рдца~~ партии в Москву, он печатается как под своим именем, так и под псевдонимами: Ван-Пу, Ванька Клин, Ванька из Волоколамска — лубочные выдуманые имена, хорошо востребованные в момент, когда ставка делалась на снижение уровня и увеличение охвата. В иной ситуации такая игра была бы исключительно литературной иг-

рой, как играл в деревенского сказителя тот же Клюев. Но в новой ситуации поэт, к сожалению, оказывался лишь фигурой в руках пропагандистов. В Москве Пулюкин работал сначала в газете «Молодой ленинец», потом — в «Московском комсомольце». Взяв от актуальной поэзии лучшее: живые поиски футуристов, подлинное и эволюционное окультуривание крестьян (отсюда и вполне гармоничные и понятные Клюев и Есенин, расцветшие при *проклятом царизме* и загложшие в Советской вольнице) — взяв лучшее, новая власть присвоила себе эти живые поэтические процессы Серебряного века, присвоила и заморозила на семьдесят лет. Да что говорить, если даже метро в Москве или план электрификации были взяты из царских разработок. Шухов, Капица, Королёв, Мандельштам, Ахматова — все лучшие интеллектуалы, не пожелавшие сбежать, были национализированы и обозваны *советскими*.

Молодой и наивный поэт Иван Пулюкин творил как ему казалось *от себя*, но никакого *себя* уже не существовало, и в действительности поэт не ведал, что творил. Одурманенный ежедневной алкогольной пропагандой (буквально: каждый день по 50 грамм озверина и энергина вливалось через радио, газеты, собрания), ошарашенный и отравленный новыми достижениям социализма Иван Пулюкин в 1930 году (в 27 лет) пишет нечитаемую поэму «СССР». С дрожью привожу эти строки:

С.С.С.Р.

Инвентаризация с примечаниями

Вступление

Хлеба ёдывал из ста печей, —
 Был вблизи, глядывал издалека —
 На лес, небеса, поля зычные,
 На степи, на воды, на облака, —
 Сто голов — сто речей —

Разноголосье, разноязычье.
 Бают, говорят, растабарывают,
 Гуторят, беседуют, калякают;
 Ши — шти, чердак — подловка;
 Суповая ложка — чумичка — половница;
 Чапаны — халаты — армяки — кафтаны;
 А людей-то, людей, мил-человек, и девать некуда!
 Поспрошай, кто отколь,
 откель,
 откуль,
 отекли,
 откули,
 откелева,
 откулева,
 откудова,
 откедова,
 откеда,
 откуда?

и т.д.

Эта антипоэтическая поэма — вся построенная на заигрывании в псевдо-народность, подделывание под псевдо-своего, под псевдо-русского. *Хлеба ёдывал* — коверкает, а не обогащает Иван свой родной ивановский язык. Партия сказала: «У нас теперь не старый режим, не тюрьма народов, а поэтому язык великорусского держиморды надо унижить провинциальными говорами». И в ход пошли *шти, чумичка*. Чтобы городской очкарик не мнил о себе, а помнил, какова форма картошки, на сборы которой вскоре всех городских и будут отправлять. Чтобы не отрывались от земного коллектива. Весь любовный интерес прежних фольклористов, желавших сохранить говора, диалекты — всё это было по воле партии с ненавистью обращено на разрушение уже сложившегося сложного здания русского языка. Все эти аббревиатуры, весь новояз и весь посконный старояз — всё продвигалось «на ура», лишь бы не звучала здоровая, культурная русская

речь. *Абырвалг* в его слепящем невежестве гений Булгакова навек припечатал. Иван Пулькин хотел свободного выражения, и ему казалось, что он его создаёт, но он, желая описать разнообразие, описал однообразие подхода к захваченной врасплох русской поэзии. Там где Крученых пошутил про *дыр бул щыл* — и это было европейской шуткой для своих футуристов-дадаистов, на месте эстетствующего модернистского разговора, поэт Пулькин разворачивает тяжеловесное комментирование: *дыр* — это по-татарски «стол», *бул* — это по-украински «был», *щыл* — это по-каракалпакски «пропал». Собственно из этой надменной, а на деле детской *неумной игры в умного* и вырос в дальнейшем т.н. концептуализм, и хитрый лис Пригов писал: «А это у меня не стихи: это — инструкция к стихам». И делал он всё это не смешно и не легко, а натужно, с одышкой, по-канцелярски. Как *чиновник от литературы(с)*. Пулькин был взят в оборот новой властью на самом излёте детства. И он остался искренним, непосредственным, но по-крестьянски повинным, готовым к подчинению. Его искренность была отравлена «Искрой» коммунизма. Пулькин оказался лишь пулькой в руках раззадоренных пропагандистов.

Однако, не полная приручаемость его поэтического голоса была неприятно заметна в стихах. И новая власть сполна отплатила Ивану за его комсомольские песни, отправив поэта по ложному доносу в привычную по тем временам ссылку, да ещё по подлой статье «за мужеложство». Как говорил Хлебников Маяковскому: *Послушайте, ведь если солнца гаснут — значит — это кому-нибудь нужно? Значит — кто-то не хочет, чтобы они были? Значит — это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами гасло хоть бы одно солнце?! Ведь, когда умирают солнца — они гаснут.* Вот Ивана и пригласили на время, сослав на пару лет. Однако это событие не до конца убило в поэте веру в то, что всё творящееся в стране прекрасно и справедливо. Уже после ссылки в 1938 году он напишет несколько стихотворений о детстве. Поэт хочет напол-

нить строки достоверными личными деталями, но сам тон, сами образы пропитаны речью комсомольца на собрании. Поэт не может отделаться от взятой на себя роли рупора. Ему кажется, что энергично и хлётко сказанное слово способно перевернуть мир. Но мир переворачивается штыками, а не словами. И следующее стихотворение — грустный образчик грусти поэта о своём неумении высказать свою любовь к детству. Это стихотворение постоянно срывается с сентиментальности на пафос.

Пролив детства

Ты спишь — щенок щенком, уткнувши нос в
ладошки,
Прижмутив взгляда омут голубой...
Ты спишь и видишь: за ночным окошком
К большой луне, мурлыча словно кошка,
Разнежась, ластится недремлющий прибор...
Вдоль побережья трав безбрежное кипенье,
Ласкающее спящие зрачки, —
В них будто в море мира отраженье
Плывет торжественно... Задвижки и крючки
Не в силах воспретить ему плескаться в спаль-
не,
Запорам не смирить неукротимый бег, —
Сквозь камень стен, сквозь древесину ставней
Оно проникло в комнату к тебе!
Тебя невидимо ночное солнце греет —
На лбу солоноватая роса...
И шумный мир не для тебя стареет;
Ты дышишь глубже, чище и острее,
Ты видишь белые, как сахар, паруса,
Ты твердою ногой на палубу ступаешь,
Ты бродишь в зарослях, ты покоряешь мир;
Старуха жизнь, на радости скупая,
С тобой щедра, боец и командир!
Я вижу, ты осёдлываешь ветер, —
Он крутится, виляя и юля,

Но он тебе и лучший друг на свете,
 Он ветер времени — у ног твоих, земля!
 Ты мне не сын, ты мне чужой ребенок,
 Я имени не знаю твоего,
 Но голос твой знаком, он золотист и звонок,
 Нежней, пожалуй, солнца самого!
 Ты мне не сын, но чувствую, как дышишь,
 Чужого счастья любимая слеза.
 Я не встречал тебя и имени не слышал,
 Но снам твоим заглядывал в глаза!
 Я знаю, что лицом ты в наше время вышел,
 Что не рожден ты для обид и бед,
 И что для матери нет в мире счастья выше,
 Чем заглянуть в твой розовый расцвет,
 Наполненный весенним жарким соком,
 Что в мире выше нет звезды твоей высокой!
 С реальностью такое детство в ссоре,
 Мне скажут — влаги розовой стакан!..
 Но я ж не говорил, что детство — это море,
 Оно лишь только путь в просторный океан!..

1939

Даже пережив ссылку, ребёнок Иван не смог понять, что огромный океан Советской России расплавлен и разъедает всех находящихся в нём. Иван продолжал по-детски настраивать себя на мажорный лад.

В разрешённой, публичной части творчества Ивана Пулькина поражает то, что вчерашний ребёнок был приглашен взрослыми для написания стихов (песен, частушек) для вроде бы взрослых людей (солдат красной армии, мужиков в деревнях, рабочих в городах). Но, читая эти стихи, ты вдруг видишь, что они написаны ребёнком для детей. Что взрослые потребители такой литературы были культурными детьми, табулой раса — по паспорту им могло быть и 20 и 50 лет, но уровень культуры каждого из них был на детской высоте. «Дети — наше всё, а не Пушкин. Дети — наше будущее» — Прожорливо решила новая власть.

Иван Пулюкин был одарён и подлинной поэтической устремленностью, он искал пути к неподконтрольному высказыванию в поэзии. Он не был расчётливым халтурщиком, он честно верил и трудился на заданном отрезке литературы. И, чувствуя потолок официоза, пытался прыгнуть выше себя, войдя в группу ЭСПЕРО — этот московский аналог питерского ОБЭРИУ (с поправкой на известность и талант имен участников). ЭСПЕРО — это Союз Приблизительно Равных. Эту группу создал поэт Георгий Оболдуев, о котором пойдёт речь дальше. Именно общение с Оболдуевым — человеком более высокой культуры и более взрослым и культурным — дало дару Пулюкину дополнительное живое измерение, благодаря которому в части его стихотворений звучит собственный голос поэта:

А ты не пой, а ты не плачь,
Что пользы от того!
Ты лучше сердце раскулачь
Соседа своего!

Сосед любим. — Его жена
Нежна и хороша.
А у тебя лишь тишина,
Да нищая душа!

Соседа сердце велико,
Любовь в нём и цветы.
Ты отбери у старика
И нежность и мечты...

Ты по миру его пусти,
Пусть кланчит под окном, —
Ведь всё равно цветам цвести,
Таков весны закон.

1936

Крылатый бог барахтается в луже
 (Не радуйся чужой беде, юнец!), –
 Каррарский мрамор от российской стужи
 Синее; парк, оципаный вконец,
 Уже не в силах защитить Эрота, –
 Четыре ветра, встав вполоборота,
 Остервеневши свищут, — бог озяб...
 Бог думает: как холодно, однако, –
 Собачья жизнь! Так больше жить нельзя!..
 И умирает просто, как собака...

Ноябрь 1937, Москва

Однако, герметичность поэтической деятельности, невозможность поделиться с читателями более личными, пристрастными опытами в поэзии загоняла Пулькина в пузырь детского солипсизма. «Такой Пулякин нам не нужен!» — предупреждала власть. И такой Пулякин остался известен лишь в рамках ЭСПЕРО — герметичного «Союза примерно равных», очевидно высмеивающего в названии главный лозунг своего времени о *равенстве*. Отмечу, что *espero* в переводе с испанского означает *подожди*. Вот поэты и ждали, да не дождались. ЭСПЕРОистов одного за другим арестовали и разослали по лагерям. Оболдуев стал капельмейстером лагерного театра, объехав со спектаклями весь Беломорканал. И это ещё поэту повезло: лучше по вечерам выступать перед заключенными рабочими, чем заступать с ними по утрам на смену. Пулякин два с половиной года провел в сибирских лагерях, печатая свои стихи и поэмы в лагерной газете «Сибирская перековка». Вот и выковал он своими песнями комсомольцев-следователей, вот и отблагодарили они писак за его любовь и ласку. И здесь, в городе Мариинске, названном в честь жены Александра II, поэт Иван Пулякин на себе прочувствовал то, что пришло на рус-

скую землю всерьёз и надолго. Несправедливость и смертельная опасность взглянули на Ивана, и он, находясь на пороге весьма вероятной смерти в чужом городе, на птичьих арестантских правах, не зная, вернётся ли, пишет:

Над моею могилою ветер
Насвистывает в свирель,
Над моею могилою ветви
Склоняет дремучая ель...

Она стоит монументом,
Склонившись точно во сне,
Серебряным позументом
Её украшает снег.

У ели солнце в полдень, и полночь
Над ней простирает тень,
А я ничего не помню
В могильной темноте.

Я забыл события и числа,
Решёткою обнесён,
Я тлею, погруженный
В свой невесёлый сон.

Ветер облака гонит
В недостигаемой высоте.
Я лишь теперь их понял,
Догадавшись об их красоте.

1935, Мариинск.

Какая интонационная переключка с ровесником Заболоцким (свирели, события, числа, облака), которому достанется чуть больше литературного успеха при жизни, и который также взойдёт на русскую Голгофу, что парадоксально спасёт Заболоцкого от войны.

А Иван Пулькин стинет осенью 1941 года в братской могиле какого-то боя или бойни.

В заключении приведу ещё одно стихотворение Пулькина — стихотворение замученного ребёнка, полного сил и талантов, но пойманного и посаженного в клетку. Человеческий разум — очень пластичен. Несколько лет заключения сделают из ребёнка монстра. Крестьянская жила позволила поэту пережить два с половиной года ссылки. Он смог вернуться, как-то существовал, отягощённый арестантским анамнезом. Проработал два года до войны библиографом в институте. Он много писал, часть поэм и текстов утеряна. Но в оставшихся стихах мы слышим голос, который пробивается, почти пробился к нам, голос ребёнка, рождённого быть поэтом и ставшего им в отпущенной талантом и временем мере.

Ни телеграф ко мне не достучится,
Ни телефон ко мне не дозвонится;
В мою крошечную незыблемую тьму
Не залететь крылатому письму!
Не забежит ни недруг и не друг, —
Гуляет ветер день и ночь вокруг...
Не скажет справочник мне, где моя квартира,
Нет у меня ни спальни, ни сортира, —
Брожу вокруг да около во мгле —
Мне нету места на родной земле,
Нет для меня ни сумерек, ни дня, —
А, может, нет и самого меня!

14-15/VI 1938

Инкубаторское детство

Даниил Хармс
(1905-1942)

Если родители Заболоцкого и Пулькина не были политически искушены, то отец Хармса был политически развращён смолоду. Он так же, как отец Заболоцкого, был в своём роду первым человеком, получившим образование. Это было целое поколение (1860-х годов рождения), которое как на дрожжах росло вслед за страной. Только голова не поспевала, поэтому клонилась в дурь и бесовство (Достоевский, конечно же, написал документальный роман о настоящих террористах (убийцах, Засуличах и прочей нечисти, процветающей и в современном мире), роман, который не достаточно напугал русское общество и был воспринят лишь сто лет спустя). И отец Даниила Хармса чуть было не предоставил свою квартиру террористам во имя безотцовства, бездетства и бездушия! Иван Павлович Ювачёв имел дело с антинародной «Народной волей» и вместе с её членами обсуждал как бы вернее убить Александра III. Окно квартиры Ивана Павловича как раз выходило на улицу, по которой проезжал Государь и свита. Из этого окна и хотели кинуть бомбу в коронованного изверга и его прихвостней. Из этого же окна его сын будет впоследствии выкидывать своих *Старух*. Ювачёва-старшего вовремя арестовали, уберегли от греха. В тюрьме над ним не издевались, как через 50 лет потомки «Народной Воли» будут издеваться над его сыном, Ивана Павловича не ссылали на лесоповал, куда отправят друга его сына — Николая Заболоцкого. Отец Хармса прожил в тюрьме и на каторге, где имел доступ к литературе, писал, работал физически, не унижаемый никем. Он даже пересёкся на Сахалине с Чеховым и стал прототипом революционера в повести «Рассказ неизвестного человека». В начале 20-го века Иван Павлович ездил в Ясную Поляну и

работал в поле вместе с Толстым (натурально ходил за плугом).

Даниил Хармс в советское время очень уважал своего батюшку за то, что отцовский статус бывшего почти-террориста давал самому Даниилу некоторую защиту в новом мире. Однако, эта защита была ущербной, поскольку на каторге Иван Павлович предал революцию и, подавшись в религию, не получил нужного градуса, какой был у «старых большевиков». Ювачёв был всего на десять лет старше Ленина и вполне мог бы принять активное участие в революционной резне, но он оказался слишком мягким, слишком человечным для новой породы людей. После революции он мирно жил, получил статус персонального пенсионера, состоял в обществе «Каторга и ссылка». Когда Хармса (а также Введенского и других поэтов) арестовывают в 1931 году, Иван Павлович, используя свои старые каторжные связи, едет в Москву и добивается для сына, обвинённого во «вредительской деятельности в области детской литературы», замены трёх лет лагерей на несколько месяцев ссылки в Курск. Введенскому тоже перепало от связей папы Хармса, и он также ссылается в Курск, где некоторое время живёт с Хармсом. Представляю, как они благодарят судьбу за такого выгодного папашу. В течение всех 30-х годов Хармса больше не трогают и не арестовывают! В ноябре 1937 года расстреливают Олейникова, в марте 1938 года Заболоцкого арестовывают, избивают, отправляют в лагерь. Хармс в марте 1937 года печатает в журнале «Чиж» стихотворение, за которое, согласно мифу, поэт будет страшно наказан.

Каковы же текст и последующие страдания Хармса:

Из дома вышел человек
С дубинкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
Отправился пешком.

Он шел всё прямо и вперед
 И всё вперед глядел.
 Не спал, не пил,
 Не пил, не спал,
 Не спал, не пил, не ел.

И вот однажды на заре
 Вошел он в темный лес.
 И с той поры,
 И с той поры,
 И с той поры исчез.

Но если как-нибудь его
 Случится встретить вам,
 Тогда скорей,
 Тогда скорей,
 Скорей скажите нам.

Как же поэт был наказан в 1937 году за печать столь наглого текста о пропавшем человеке? А никак! Хармса за этот текст И ПАЛЬЦЕМ НЕ ТРОНУЛИ. Несмышлёному Хармсу взрослые покровители всего лишь перекрыли доступ в печать, и то — ДЛЯ ЕГО ЖЕ БЛАГА. Поэта уберегали от него самого, пряча спички от непоседы, поскольку ещё одно подобное детское выступление — и Хармса уже не выручил бы даже всемогущий отец. Вместо того, чтобы покарать Хармса, его всего лишь лишили возможности зарабатывать детскими стихами, отлучив от «Чижа». Поэт стал жить совсем бедно, но он жил, а не кормил червей и не махал лопатой. Для ситуации 1937 года это было ПОДАРОМ СУДЬБЫ, который Хармс, как ребёнок, не оценил и не сделал никаких выводов. Даниил Хармс пережил лютые годы репрессий словно бы защищённый магическим куполом. Поэт всегда чувствовал эту магию и был, как известно, склонен к мистике, пытаясь найти образы, объясняющие его неприкосновенность как некое влияние высших сил. А они и были высшими — террористические заслуги его отца и были тем магиче-

ским куполом, под которым он пережил аресты и смерти близких друзей. Иван Петрович Ювачёв умирает в почтенном возрасте 80 лет в мае 1940 года. Через год Хармса арестовывают, и он умирает в тюрьме. Магический купол исчез. Помочь поэту уже было некому. Милость советского правительства на детей не распространялась.

В одной из своих литературных автобиографий Хармс описывает отца следующим образом:

Теперь я расскажу о том, как я родился, как я рос и как обнаружились во мне первые признаки гения. Я родился дважды. Произошло это вот как.

Мой папа женился на моей маме в 1902 году, но меня мои родители произвели на свет только в конце 1905 года, потому что папа пожелал, чтобы его ребенок родился обязательно на Новый год. Папа рассчитал, что зачатие должно произойти 1-го апреля и только в этот день подъехал к маме с предложением зачать ребенка.

...

Итак, мое зачатие произошло 1-го апреля 1905 года.

Однако все папины расчеты рухнули, потому что я оказался недоноском и родился на четыре месяца раньше срока. Папа так разбушевался, что акушерка, принявшая меня, растерялась и начала запихивать меня обратно, откуда я только что вылез.

...

Пришлось звать опытного доктора. Опытный доктор осмотрел родительницу и руками развел, однако всё же сообразил и дал родительни-

це хорошую порцию английской соли. Родительницу пронесло, и таким образом я вторично вышел на свет.

Тут опять папа разбушевался, — дескать, это, мол, ещё нельзя назвать рождением, что это, мол, ещё не человек, а скорее наполовину зародыш, и что его следует либо опять обратно запихать, либо посадить в инкубатор. И они посадили меня в инкубатор.

Инкубаторный период

В инкубаторе я просидел четыре месяца. Помню только, что инкубатор был стеклянный, прозрачный и с градусником. Я сидел внутри инкубатора на вате. Больше я ничего не помню. Через четыре месяца меня вынули из инкубатора. Это сделали как раз 1-го января 1906 года. Таким образом, я как бы родился в третий раз.

Днём моего рождения стали считать именно 1 января.

1935

Как художник Даниил Хармс чувствовал и понимал, что в советский инкубатор его сунул именно его отец. Иван Павлович Ювачёв знал, что рождает недоносок, знал, что детство Хармса будет быстротечным и солнце новой страны станет для сына губительным.

Хармс встретил революцию в 12 лет. На уровне этого возраста сформировался и замер мир его литературных образов. Клоунский юмор, спотыкающиеся друг о друга Пушкин и Хармс, псевдоматематические построения — обычный этап в жизни любого нормального творческого подростка. Я вместе со школьным другом в конце 1980-х годов занимался тем же: рисовал в учебнике Гагарину гитлеровские усики, ри-

совал бигуди Ломоносову, приписывал буквы к формулам, чтобы получилось матерное слово. Вот этот детский арсенал творческих приёмов и успел сформироваться у Хармса к моменту русской развязки 1917 года. Этим понятным мне в 14 лет (в 1991 году) юмором Хармс и подкупил наше поколение! Нас поразило в его текстах то, что язык взрослого писателя застыл в великолепии школьного юмора. Подростковый юмор Хармса так и перешёл во «взрослые» тексты Хармса, которые называли «взрослыми» лишь для маркетинга, чтобы завлечь самую неискущённую и самую читающую советскую нацию. Так я купил книгу Хармса и сразу попал на *свой, заветный* материал. Хармс разговаривал с подростком на понятном уровне: «Когда Пушкин сломал себе ноги, то стал передвигаться на колёсах»; «театр закрывается. Нас всех тошнит!» Лол — да и только! Узнаваемая подростковая юмористическая литература. Задорная, задиристая, но никак не «взрослая» и совсем не «шедевр на века». И поразительно, что до сих пор Хармса ставят в театре престарелые режиссёры. Это те самые советские режиссёры, которые недополучили от советского времени подлинного образования и уважения к культуре и рады опуститься до уровня школяра, уже умеющего читать, но так и не научившегося вчитываться.

Хармс, как поэт, замер в двенадцатилетнем возрасте, да так и остался на иждивении у времени и страны. Не имея выбора и перспективы для свободного высказывания и роста, он ушёл туда, где развели костерок с похлёбкой Маршак с Чуковским. Над котелком с едой сияла надпись: *Детская литература*. Островок стабильности. Приют для выживания. Само название «Детгиз» (Детское Государственное Издательство) на обложках книг отталкивало меня в детстве. «Детгиз» звучало для меня как название папирос «Казбек»: какое-то торопливо подобранное слово, спешное, как все эти аббревиатуры, ктрые так любла советская власть. Какая-то чужая скороговорная речь вошла в русские словари и до сих пор продолжает портить речь

и города. Памятник Пушкину от МОЭСК ГБОУ ДЮСШ им.А.Б.Вэгедейкина. Бр-р-р. Лучше (от)вернёмся обратно к детской литературе. Дело в том, что само это понятие изначально ущербно. Эмансипация — конечно хорошо, но всему есть предел. Детская литература — это договорной вид литературы, автор изначально идёт на самоограничение, чтобы мыслить не сложнее школьника. Чтобы гарантированно быть понятным. Если Мамин-Сибиряк со «Сказкой о козавочке» писал для детей как для взрослых, лишь чуть-чуть нисходя до их уровня, то советские писатели буквально пошли в детский народ. И поколение ОБЭРИУтов пришлось как нельзя ко двору благодаря тому, что их сердца и разум застыли на нужном уровне детского возраста. При этом парадоксальным образом русский язык и культура оказались настолько сильны, что даже в таком ограниченном жанре поэтам и писателям удалось создать целый мир, который к концу 1980-х годов представлял из себя уже мировое явление: поэзия, мультипликация, проза — всё это стало живым и достаточно полноценным, оставаясь при этом, конечно, договорным видом творчества. Представить себе детского повара нельзя: если он, выучившись на диетических сосисочках и манной кашке, будет подавать такую еду взрослым, то их вкусовые рецепторы помрут от скуки. Так же помираю от скуки и я, читая во взрослом состоянии «взрослые» тексты Хармса. Нельзя служить двум господам. Советская власть обладала достаточным вкусом, чтобы тиражировать лучшие детские стихи Хармса: «Иван Торопыжкин», «Самовар Иван Иванович», «Несчастливая кошка». Советское чутье справедливо расценило, что это и есть — подлинное наследие Хармса, наследие его замороженного детства, дух беззаботности, который он сохранил для тех, кто мог его понять — для детей. Попытки же Хармса поговорить со взрослыми читателями вызывают чувство неловкости: вроде взрослый человек, а кривляется как школьник. Школьник может показать учителю кузькину мать (привет, Никита Сергеевич), но он не может

ни заставить его содрогнуться, ни задуматься, ни осознать происходящее. Детским смехачом Хармс и останется в русской литературе. И печалиться ему из-за этого, если он нас сейчас слышит, не стоит. Даниил, ты сделал всё, что мог, истратив всё, что тебе оставили от твоего неистощимого детства.

Отвергнутое детство

Александр Введенский
(1904-1941)

...но врач ему сказал граждане
я думаю что вы не правы
и ваше злое ожидание
плевок в зеленые дубравы
плевок в зеленые растенья
добавлю: в мира сотворенье
вот вам мое стихотворенье...

106

1929

В отличие от провинциального добряка Заболоцкого, выросшего среди трав и простоватых мужиков, Александр Введенский, как и Хармс, вырос в Санкт-Петербурге, первостатейной европейской столице, чей столичный дух не выветрился до сих пор, несмотря на советские усилия. Введенский застал разгул тогдашнего рок-н-ролла: футуристов, бродячих собак, символистов, акмеистов — все эти враждующе-дружеские клубы, всё это живое движение, помноженное на суетливую городскую жизнь, на высокопоставленных гостей в доме (отец к 1917 году дослужился до статского советника) — всё это дало Александру Введенскому пару лет в плюс к его возрасту. Город быстрее взрослит человека, чем тихоструйное деревенское житие. И подход Введенского и Хармса к творчеству был более расчётливым, чем у менее искушенного в детстве Заболоцкого. Введенский понимал игровую природу окру-

жающего его модерна. А Заболоцкий так до конца и не стал жителем и поэтом модернистского города.

Дореволюционная русская литература шла в первых рядах европейской современной прозы и поэзии. В расцвете сил творил Андрей Белый — наш русский Джойс, готов был войти в силу Булгаков (последний великий русский прозаик), уже родились и подрастали Набоков, Олеша — всё это шло на равных с европейской модернистской традицией. Но революция оказалась авангардом истории лишь на словах. Введенский по инерции, доставшейся от Серебряного века, продолжал разработку новых форм вызывания эмоций — назовём это грубо и примерно так. Но поскольку Введенский прожил в Серебряном веке в детском возрасте, то, повзрослев, он продолжал реплицировать своё детское понимание новых форм и структур в языке. Он остался недоучкой, что для поэта, может, и неплохо, но в случае Введенского и его друзей мы наблюдаем насильную и массовую недоучечность. Безграмотность-то ликвидировали, но заодно ликвидировали и грамотность.

Александр Введенский вместе с двумя другими поэтами успел послать свои юные стихи Александру Блоку в 1921 году. Проживи страна ещё лет десять без революции, мы бы читал сейчас совсем другого Введенского. Это могло быть, например, что-то более близкое к Борису Поплавскому, который хоть и встретил революцию в детском возрасте, но, покинув советский рай, попал в русское гетто в Париже, в пространство взрослых представлений и поступков. Поплавский вырос в европейском обществе, где не упразднили иерархию, где советские декреты не перевернули верх и низ, и где зло не строило из себя доброго старичка с прищуром.

Один из самых известных текстов Введенского — пьеса «Ёлка у Петровых». Это произведение буквально наполнено детьми. Все себя ведут как дети, дорвавшиеся до первых проблесков осмысления. Даже няня, отрубаящая голову де-

вочке, ведёт себя как ребёнок. Но герои пьесы ведут себя и мыслят как дети не только потому, что автор так захотел, а потому, что сам автор был ребёнком. Эта пьеса — суть дневник подростка, чьи пристрастия и наклонности только начинают формироваться:

Действующие лица:

Петя Перов — годовалый мальчик

Нина Серова — восьмилетняя девочка

Варя Петрова — семнадцатилетняя девочка

Володя Комаров — двадцатипятилетний мальчик

Соня Острова — тридцатидвухлетняя девочка

Миша Пестров — семидесятишестилетний мальчик

Дуня Шустрова — восьмидесятидвухлетняя девочка

Пузырева — мать

Пузырев — отец

Собака Вера

Гробовщик

Горничные, повара, солдаты, учителя латинского и греческого языка.

Помимо женщин, которые волнуют подростка, у него есть папа с мамой, собака и... гробовщик. То есть *наш новый построенный мир*, разрушивший *мир насилья* (то есть мир, в котором родился Введенский) — вдруг сам оказывается *миром насилья*. Гробовщик — это и есть вестник нового мира, который пришёл, чтобы забрать всех: Введенского, его родителей, всех красивых женщин, весь уют с горничными, поварами и учителями классических языков. В конце пьесы в живых останется лишь... гробовщик. Жизнь отныне принадлежит человеку, буквально *несущему* смерть.

В этой детской пьесе, также как и в большинстве стихотворений Введенского, герои и говорят по-детски, вызывая умильную улыбку родителя-читателя: мой Сашенька такую прелесть лепечет. Вот начало и завязка пьесы:

*Годовалый мальчик **Петя Перов**. Будет елка? Будет. А вдруг не будет. Вдруг я умру.*

***Нянька** (мрачная как скуны). Мойся, Петя Перов. Намыль себе уши и шею. Ведь ты еще не умеешь говорить.*

***Петя Перов**. Я умею говорить мыслями. Я умею плакать. Я умею смеяться. Что ты хочешь?*

***Варя Петрова** (девочка 17 лет). Володя потри мне спину. Знает Бог на ней вырос мох. Как ты думаешь?*

***Володя Комаров** (мальчик 25 лет). Я ничего не думаю. Я обжег себе живот.*

***Миша Пестров** (мальчик 76 лет). Теперь у тебя будет клякса. Которую, я знаю, не вывести ничем и никогда.*

Соня Острова (девочка 32 лет). Вечно ты, Миша, говоришь неправильно. Посмотри лучше, какая у меня сделалась грудь.

Дуня Шустрова (девочка 82 лет). Опять хвастаешься. То ягодицами хвасталась, а теперь грудью. Побоялась бы Бога.

Соня Острова (девочка 32 лет. Поникает от горя, как взрослый малороссийский человек). Я обижена на тебя. Дура, идиотка, блядь.

Нянька (замахиваясь топором как секирой). Сонька, если ты будешь ругаться, я скажу отцу-матери, я зарублю тебя топором.

Петя Перов (мальчик 1 года). И ты почувствуешь на краткий миг, как разорвется твоя кожа и как брызнет кровь. А что ты почувствуешь дальше, нам неизвестно.

Нина Серова (девочка 8 лет). Сонечка, эта нянька сумасшедшая или преступница. Она все может. Зачем ее только к нам взяли.

Миша Пестров (мальчик 76 лет). Да бросьте дети ссориться. Так и до елки не доживешь. А родители свечек купили, конфет и спичек, чтобы зажигать свечи.

Соня Острова (девочка 32 лет). Мне свечи не нужны. У меня есть палец.

Варя Петрова (девочка 17 лет). Соня, не настаивай на этом. Не настаивай. Лучше мойся почище.

Володя Комаров (мальчик 25 лет). Девочки должны мыться чаще мальчиков, а то они становятся противными. Я так думаю.

Миша Пестров (мальчик 76 лет). Ох, да будет вам говорить гадости. Завтра елка и мы все будем очень веселиться.

Петя Перов (мальчик 1 года). Один я буду сидеть на руках у всех гостей по очереди с видом важным и глупым, будто бы ничего не понимающая. Я и невидимый Бог.

Соня Острова (девочка 32 лет). А я когда в зал выйду, когда елку зажгут, я юбку подниму и всем все покажу.

Нянька (зверья). Нет, не покажешь. Да и нечего тебе показывать — ты еще маленькая.

Соня Острова (девочка 32 лет). Нет покажу. А то что у меня маленькая, это ты правду сказала. Это еще лучше. Это не то что у тебя.

Нянька (хватает топор и отрубает ей голову). Ты заслужила эту смерть.

Дети кричат: Убийца, она убийца. Спасите нас. Прекратите купанье.

Повара перестают резать кур и резать поросят.

Удаленная на два шага от тела лежит на полу кровавая отчаянная голова. За дверями воет собака Вера. Входит полиция...

Конечно, соблазнительно прочесть эти строки как памфлет поэта, в котором он описывает окружающий мир: гражданскую войну, смерть, пробуждение личного полового влечения на фоне девиантных отношений мужчин и женщин. При этом диалоги идут между разновозрастными ДЕТЬМИ. Поэт Введенский, будучи ребёнком, совершает взрослое открытие: СССР — это страна победивших детей. Нами правят *повелители мух*, брошенные на этом острове, вырезавшие взрослых и оставшиеся наедине с остатками былой культуры и с начатками человеческого общежития.

В тексте есть говорящие невольно лесорубы. Лесорубы, очевидно, рубят ёлки, выросшие до революции, они рубят деревья старого мира, рубят то, что не сажали сами. При этом лесорубы говорят невольно, пользуясь очевидно заученными бессмысленными фразами, напоминающими *уткоречь* политических агитаторов:

112

Федор (*задумчиво*). Нет, не знаете вы того, что я вам сейчас скажу. У меня есть невеста. Она работает нянькой в большом семействе Пузыревых. Она очень красивая. Я ее очень люблю. Мы с ней уже живем как муж с женою.

Лесорубы каждый как умеет, знаками показывают ему, что их интересует то, что он им сказал. Тут выясняется, что они не умеют говорить. А то, что они только что пели — это простая случайность, которых так много в жизни.

Федор. Только она очень нервная, эта моя невеста. Да что поделаешь, работа тяжелая. Семейство большое. Много детей. Да что поделаешь.

Лесоруб. Фрукт.

(Хотя он и заговорил, но ведь сказал невпопад. Так что это не считается. Его товарищи тоже всегда говорят невпопад.)

2-й лесоруб. Желтуха.

Федор. После того, как я ее возьму, мне никогда не бывает скучно и противно не бывает. Это потому что мы друг друга сильно любим. У нас одна близкая душа.

3-й лесоруб. Помочи.

Федор. Вот сейчас отвезу дерево и пойду к ней ночью. Она детей перекупала и меня теперь поджидает. Да что поделаешь.

Федор и лесорубы садятся на сани и уезжают из леса.

113

Эти помочи и желтуха, эта нескладуха в реакциях взрослых людей — тоже признак детской задержки в развитии. Далее в пьесе мелькают и детские игрушки:

Выходят звери: Жирафа — чудный зверь. Волк — бобровый зверь, Лев — государь и Свиной поросенок.

Жирафа. Часы идут.

Волк. Как стада овец.

Лев. Как стада быков.

Свиной поросенок. Как осетровый хряц.

Жирафа. Звезды блещут.

Волк. Как кровь овец.

Лев. Как кровь быков.

Свиной поросенок. Как молоко кормилицы.

Жирафа. Реки текут.

Волк. Как слова овец.

Лев. Как слова быков.

Свиной поросенок. Как богиня семга.

Жирафа. Где наша смерть?

Волк. В душах овец.

Лев. В душах быков.

Свиной поросенок. В просторных сосудах.

Жирафа. Благодарю вас. Урок окончен.

Звери — Жирафа — чудный зверь. Волк — бобровый зверь, Лев — государь и Свиной поросенок совсем как в жизни уходят. Лес остается один. На часах слева от двери 12 часов ночи.

Подозреваю, что это просто дневниковое перечисление игрушек самого Введенского. Тех игрушек, что были у него в детстве. И вот он, ребёнок 25 лет, усаживает своих любимцев вокруг себя и слушает, как

они говорят. Своей пьесой Введенский прощается с детством: это страшное признание ребёнка самому себе: я больше никогда не смогу играть в детские игры и не смогу научить новых детей играм своего детства. В этой пьесе — финал детства. Занавесь. Небытие.

Введенский в тексте цепляется за детские образы, оказываясь не способным их преодолеть. Вроде ребёнка зарубили, вроде тема — табу для литературы, но выглядит это так же, как в историческом анекдоте про Леонида Андреева, про которого Лев Толстой сказал: «Он пугает, а мне не страшно!» Но Введенский и не хотел, чтобы было страшно. Описывая смерть, отрубленную голову девочки, притворно плачущих и совоккупающихся в соседней комнате родителей, Введенский тем самым хотел выгнать страх, хотел расколдовать окружающую реальную страшную жизнь, принеся в жертву литературное, подложное детство. Введенский хотел, чтобы все предстоящие смерти друзей оказались такими же поддельными и игрушечными, как смерть Сони Островой. И возраст девочки на момент смерти — 32 года — возраст «почти» Христа, возраст Христа *игрушечного*. Христа, убитого *понарошку*. И Введенский, одержимый желанием перекроить реальность через написание своих текстов, убивает всех героев пьес:

Вдруг открывается дверь. В дверях стоят родители.

Пузырев-отец. Ну веселитесь. Что мог то и сделал. Вот ель. Сейчас и мама сыграет.

Пузырева-мать (садится без обмана к роялю, играет и поет).

Вдруг музыка гремит

Как сабля о гранит.
 Все открывают дверь
 И мы въезжаем в Тверь.
 Не в Тверь, а просто в зало,
 Наполненное елкой.
 Все прячут злобы жало,
 Один летает пчелкой,
 Другая мотыльком
 Над елки стебельком,
 А третий камельком,
 Четвертая мелком,
 А пятый лезет на свечу,
 Кричит, и я, и я рычу.

Петя Перов (мальчик 1 года). Елка я должен тебе сказать. Какая ты красивая.

Нина Серова (девочка 8 лет). Елка я хочу тебе объяснить. Как ты хороша.

Варя Петрова (девочка 17 лет). Ах елка, елка. Ах елка, елка. Ах елка, елка.

Володя Комаров (мальчик 25 лет). Елка я хочу тебе сообщить. Как ты великолепна.

Миша Пестров (мальчик 76 лет). Блаженство, блаженство, блаженство, блаженство.

Дуня Шустрова (девочка 82 лет). Как зубы. Как зубы. Как зубы. Как зубы.

Пузырев-отец. Я очень рад, что всем весело. Я очень несчастен, что Соня умерла. Как грустно, что всем грустно.

Пузырева-мать (поет).

А о у е и я
БГРТ

(не в силах продолжать пение плачет).

Володя Комаров (мальчик 25 лет. Стреляет над ее ухом себе в висок). Мама не плачь. Засмейся. Вот и я застрелился.

Пузырева-мать (поет). Ладно не буду омрачать ваше веселье. Давайте веселиться. А все-таки бедная, бедная Соня.

Петя Перов (мальчик 1 года). Ничего, ничего мама. Жизнь пройдет быстро. Скоро все умрем.

Пузырева-мать. Петя ты шутишь? Что ты говоришь?

117

Пузырев-отец. Он кажется не шутит. Володя Комаров уже умер.

Пузырева-мать. Разве умер.

Пузырев-отец. Да конечно же. Ведь он застрелился.

Дуня Шустрова (девочка 82 лет). Я умираю, сидя в кресле.

Пузырева-мать. Что она говорит.

Миша Пестров (мальчик 76 лет). Хотел долголетия. Нет долголетия. Умер.

Нянька. Детские болезни, детские болезни. Когда только научатся вас побеждать. (Умирает).

Нина Серова (девочка 8 лет. Плачет). Няня, няня что с тобою. Почему у тебя такой острый нос.

Петя Перов (мальчик 1 года). Нос острый, но все-таки нож или бритвы еще быстрее.

Пузырев-отец. Двое младших детей у нас еще остались. Петя и Нина. Что ж, проживем как-нибудь.

Пузырева-мать. Меня это не может утешить. Что, за окном солнце?

Пузырев-отец. Откуда же солнце, когда сейчас вечер. Будем елку тушить.

Петя Перов. Умереть до чего хочется. Просто страсть. Умираю. Умираю. Так, умер.

Нина Серова. И я. Ах елка, елка. Ах елка, елка. Ах елка. Ну вот и все. Умерла.

Пузырев-отец. И они тоже умерли. Говорят, что лесоруб Федор выучился и стал учителем латинского языка. Что это со мною. Как кольнуло сердце. Я ничего не вижу. Я умираю.

Пузырева-мать. Что ты говоришь. Вот видишь, человек простонародный, а своего добился. Боже какая печальная у нас елка. (Падает и умирает.)

*Конец девятой картины, а вместе с ней и
действия, а вместе с ним и всей пьесы.*

Это конец. Русская пьеса должна закончиться именно так. И все её герои должны воскреснуть и подняться для поклона под аплодисменты почтенной публики. Но такому финалу было не суждено появиться. Введенский убивает всех героев, делая тем самым самую страшную дневниковую запись. К 1939 году, когда эта пьеса была закончена, действительно умерли многие. И самому Введенскому оставалось всего ничего. Лесорубы, срубив древо жизни, стали учителями латинского языка. Сбылась мечта идиотов: кухарки возглавили страну, заполонили университеты и устроились в литературные журналы. Все при деле и при тепле. Все, кроме горстки забытых по дороге детей.

Александр Введенский, пожалуй, больше других ОБЭРИУтов стремился к взрослению своего языка. Он понимал ущербность своего инфантилизированного слова и пытался бороться с детством, делая его не фиктивной, а деятельной частью своего поэтического мира. И у него это, можно считать, получилось. Известная «Элегия» Введенского как бы застыла в активной фазе между дадаистским детским нагромождением и модернистским эпосом, тревожащим читателя одновременно глубиной и поверхностностью высказывания. В зазоре между детской игрушкой и предсмертной подушкой и состоит магия этого стихотворения. Введенский сумел побороть детство, приняв и дополнив правила его существования:

...

Пусть мчится в путь ручей хрустальный,
пусть рысью конь спешит зеркальный,
вдыхая воздух музыкальный –
вдыхаешь ты и тленье.
Возница хилый и сварливый,
в последний час зари сонливой,

гони, гони возок ленивый –
лети без промедленья.

Не плещут лебеди крылами
над пиршественными столами,
совместно с медными орлами
в рог не трубят победный.
Исчезнувшее вдохновенье
теперь приходит на мгновенье,
на смерть, на смерть держи равненье,
певец и всадник бедный.
(1940)

Последним текстом Введенского считается «Где. Когда.» Его трактуют как завещание, как памятник поэта. С этим можно согласиться, можно спорить. Жизнь всегда многолика и даёт простор для трактовок. Последние строки поэта Введенского были такими:

120

...

Когда

*Когда он приотворил распухшие свои глаза,
он глаза свои приоткрыл. Он припомнил всё как
есть наизусть. Я забыл попроситься с прочим,
т. е. он забыл попроситься с прочим. Тут он
вспомнил, он припомнил весь миг своей смерти.
Все эти шестёрки, пятёрки. Всю ту — суету.
Всю рифму. Которая была ему верная подруга,
как сказал до него Пушкин. Ах Пушкин, Пуш-
кин, тот самый Пушкин, который жил до него.
Тут тень всеобщего отвержения лежала на всём.
Тут тень всеобщего лежала на всём. Тут
тень лежала на всём. Он ничего не понял, но он
воздержался. И дикари, а может и не дикари, с
плачем похожим на шелест дубов, на жужжа-
нье пчел, на плеск волн, на молчанье камней и*

*на вид пустыни, держа тарелки над головами,
вышли и неторопливо спустились с вершин на
немногочисленную землю. Ах Пушкин. Пушкин.
Всё*

Опять эта картина дикарей, этот сквозной символ, который затем возникнет у Голдинга в «Повелителе мух». Эти дети-дикари, эти брошенные поэты и люди, успевшие лишь научиться детским играм и нахватавшиеся взрослых понятий. Ах, Пушкин! Как жаль, что мы с тобой не *на дружеской ноге*. Введенский не успел получить полноценного образования в нормальной среде: он сразу погрузился в суету жизненного социального переживания. Это неплохо для поэта, это даёт порох и задор мысли, но качество среды, в которой плавает рыба-поэт, всё же очень важна: одно дело — прозрачная вода устоявшегося потока жизни, другое — рыскание в мутных потоках масла, крови и слёз. Введенский, как и все ОБЭРИУты, в детстве подобрал в лёгкие большие запасы воздуха: этого хватило, чтобы, затаив дыхание, потихоньку выпускать его, годами плавая в страшном потоке чужой воды. Но когда детский воздух весь вышел, и поэты вдохнули воздух нового времени, то они один за другим подавились и сгинули, не сумев стать другими.

Устаревшее детство

Владимир Щировский
(1909-1941)

Если ОБЭРИУты смогли частично или полностью встроиться в новую художественную реальность, смогли реализоваться хоть в какой-то литературе — пусть и детской, и смогли даже жить за счет своего творчества, то за скобками подобных возможностей оказались поэты, не имеющие склонности и желания писать стихи для детей. Таким промолчавшим всю жизнь поэтом был Владимир Щировский. Этот поэт достоин большей

известности, но спасибо, что его тексты вообще сохранились хоть в каком-то количестве. Во время революции ему было 8 лет. Этот возраст уже достаточен, чтобы человек усвоил правила культуры и игры, окружавшие его в детском возрасте. Тем мрачнее будет его последующая жизнь в стране, перестроенной по диаметрально противоположным правилам. Владимир Щировский был лишён предназначенной ему жизни, лишён взросления в устоявшейся обстановке. Но старая культура успела закрепиться в нём, подарив поэтический голос и социальное молчание. Вражеское происхождение Щировского (отец — сенатор в отставке) определило его глухую поэтическую судьбу. Его не печатали, не читали, не слышали. Он был ненадёжным, лишним, опасным. Это был *молодой человек старого мира*. Владимир Щировский в небольшой поэме «Ничто», написанной в 22 года (!), описал ситуацию, в которой он провёл своё счастливое и ненужное в новом мире детство:

122

Я в детстве был любим. Лелеяли меня.
 Лицеями меня моя река встречала.
 Шептали: «баловник... Ему деньского дня
 Для баловства его как будто бы уж мало...»

Я прочно был внедрен в мои младые дни.
 Куда как сладок был деньской полон дитяти.
 А ночью ангел жил за пологом кровати.
 Он был как девочка и прятался в тени.

Позднее я узнал могущество рояля.
 Я в звук ушел, как в грех — ликуя и страшась.
 Но звук был зол: он влек, восторженностью печалая
 И горней чистотой затаптывая в грязь.

Так до сих пор меня еще гнетет Бетховен,
 Мне ясный ближе Бах. Я полюбил Рамо.
 Я внемлю и смеюсь: мир скучен и греховен,
 Но в звуках «Coeur de Lion» отсутствует дерьмо.

Дни революции я встретил с красным флагом
 Семи лет от роду. Младёшенек и глуп.
 Семейственным своим тогда ареопагом
 Быв горько выруган, я скромно плакал в суп.

Почто над сумраком летал кровавый петел,
 Что старшим виделось поверх юродств и бед,
 К чему в младенчестве я смерть свою приветил
 Кровавой тряпкою? Откуда мне ответ?

Кто умер, кто убит, кого обворовали,
 Кто сам стал убивать, кто сам обворовал...
 Ну, во все тяжкие! Империя в развале,
 Сыны империи приветствуют развал.

Пошёл здесь свальный грех. Созвали учредилку,
 Пошли смердеть, кричать, насиловать сестер...
 В златые эти дни я жил легко и пылко,
 Как будто бы глаза для гибели протер.

Так строилась душа. Тифозными мечтами
 Был свергнут Андерсен. Скончался мой отец.
 Я стал читать Дюма. И пронёсась над нами
 Румяная чума. И на крутое пламя
 Людишки глянули зеницами овец.

А после всё прошло, утихло понемножку.
 Торговкой стала мать. Я в школу стал ходить.
 Жизнь пригласила: жри. Воткнула в руки ложку.
 У современников поиспаясалась прыть.

Именно тема, даже не тема, а дар детства — атомный стержень всей его непродолжительной жизни — постоянно возникает в стихотворениях Щиrowsкого. Поэт выросл в ситуации новой страны. Всё, что накопило его семья — было отнято, исчезло, оказалось *на дне*. Владимир Щиrowsкий работал сварщиком на строительстве Балтийского вокзала, его отправили в

«модную» и популярную среди «бывших» людей ссылку. Хотя он был всего лишь бывшим ребенком, но новая власть страшилась любых свидетелей: даже младенцы бывшей аристократии должны были быть смешаны с грязью, желательно до состояния праха. И вот сын сенатора в 1931 году приходит со своими несовершенными для советских временщиков, но современными для поэтической вечности стихами к Николаю Тихонову, сыну парикмахера, номенклатурному поэту, который к тому времени уже мастерски поднаторел в умении «гвозди делать из людей». И тихоня Тихонов из благих побуждений сказал униженному Щировскому: «Батенька, это всё стрельба из пушки по воробьям. Вы ступайте на улицу и поищите чего-нибудь хорошее вокруг и пишите о нём. Не надо плакать о мире вашего детства, его не вернуть. Идите, дверь там.» И Щировский пошёл и написал стихотворение, выведя в нём и Тихонова и всю эту античеловеческую мглу, в которой плесневела великая культура захваченной России:

Быть может, это так и надо
Изменится мой бранный вид
И комсомольская менада
Меня в объятья заключит.
И скажут про меня соседи:
«Он работающ, он парень свой!»
И в визге баб и в гуле меди
Я весь исчезну с головой.
Поверю, жалостно тупея
От чванных окончаний изм,
В убогую теодицею:
Безбожье, ленинизм, марксизм...
А может статься и другое:
Привязанность ко мне храня,
Сосед гражданственной рукою
Донос напишет на меня.
И, преодолевая робость,
Чуть ночь сомкнет свои края,

Ко мне придут содеять обыск
 Три торопливых холоуя...
 От неприглядного разгрома
 Посуды, книг, икон, белья,
 Пойду я улицей знакомой
 К порогу нового жилья
 В сопровождении солдата,
 Зевающего во весь рот...
 И всё любимое когда-то
 Сквозь память выступит, как пот.
 Я вспомню маму, облик сада,
 Где в древнем детстве я играл,
 И молваю, проходя в подвал:
 «Быть может, это так и надо».

Это написано через пять лет после Набоковского «Бывают ночи, только лягу...», но написано по сю сторону ада, написано слово-в-слово как у Набокова, написано человеком, который, в отличие от вырвавшегося Набокова, никогда не будет ни признан, ни узнан, ни упомянут при жизни. А ведь жизнь дана нам отчасти для того, чтобы получить хоть малую толику одобрения, дружеской благодарности за то, что ты нашел какие-то современные прижизненные слова, восстановил из затёртости понятия, позволил читателю побыть среди неподдельного настроения и живого размышления. Но такой судьбы Владимиру Щировскому не выпало. У него был только дар, и не он выбрал таить и прятать этот дар, который позволял ему пережить низость быта и описать его в достойных человека словах:

СЧАСТЬЕ

Нынче суббота, получка, шабаш.
 Отдых во царствии женщин и каш.
 Дрогни, гитара! Бутылка, блесни
 Милой кометой в немилые дни.
 Слышу: ораторы звонко орут

Что-то смешное про волю и труд.
Вижу про вред алкоголя плакат,
Вижу, как девок берут напрокат,
И осязаю кувалду свою...
Граждане! Мы в социальном раю!
Мне не изменит подруга моя.
Черный бандит, револьвер затая,
Ночью моим не прельстится пальто.
В кашу мою мне не плюнет никто.
Больше не будет бессмысленных трат,
Грустных поэм и минорных сонат.
Вот оно, счастье: глубоко оно,
Ровное наше счастливое дно.
Выйду-ка я, погрузу на луну,
Пару селедок потом заверну
В умную о равноправье статью,
Водки хлебну и окно разобью,
Крикну «долой!», захриплю, упаду,
Нос расшибу на классическом льду.
Всю истощу свою бедную прыть —
Чтобы хоть вечер несчастным побыть!

1929

Советский мир именно что не давал человеку побыть несчастным. Человек был обязан выступать на трибуне в протестантско-коммунистическом угаре, должен был нести инфоцыганскую ересь, рыть каналы, поворачивать реки и ложиться, ложиться, ложиться костями по воле *призрака коммунизма*, обретшего видимую плоть на одной шестой части суши.

В 20 лет Владимир Щиrowsкий посещает Максимилиана Волошина в Коктебеле. Волошин подарил ему свою небольшую акварель, написав на ней: «На память Вл.Щиrowsкому, за детской внешностью которого я рассмотрел большого и грустного поэта.» Щиrowsкий и остался ребёнком, которого научили манерам, уважению к миру и людям, а потом взяли и погрузили в обстоятельства, где все эти условности, вся эта культура были вымараны энергичными руками антинародных

депутатов и стоящих за ними чужих интересов. Чтобы усугубить картину и без того невзрачной судьбы Владимира Щиrowsкого, можно представить его родившимся на 10-15 лет раньше. Представить его совершенно законно выступающим среди акмеистов. В 1910-х годах его художественный язык обрёл бы отличительную самостоятельность, он бы стал совсем не похож на Гумилёва и Мандельштама. Мы бы читали его зрелые стихи в школьной программе, легко узнавая интонации и обороты уникального языка. Да, он бы наверняка сгинул, как Мандельштам, а то и раньше, как Гумилёв. Но от него остался бы личный отточенный, найденный язык и зрелая поэзия. Но Щиrowsкий родился поздно, и его язык не успел достаточно вырасти из координат и стиля его любимых акмеистов. Стихи Щиrowsкого нельзя назвать подражательными, но его голос всё же не успел найти своей достоверно узнаваемой интонации. Он остался талантливым вундеркиндом на руинах разрушенной школы. И все его попытки подняться на следующую личную ступень поэзии не успели осуществиться из-за неуютности бытования и невозможности общаться с читателями через книги и публикации. Он был обречён на поэтическую вторичность, но это была вторичность высочайшего уровня, который на порядки превосходил серую *уткоречь* советских поэтов, получивших вышестоящий прокорм. Поэзия же Щиrowsкого, находясь в высшей точке поэтических достижений Серебряного века (его акмеистской ветки), поэзия, не обретшая собственной вершины, не успевшая созреть и явить себя в узнаваемой полноте, поэзия Щиrowsкого останется великой благодаря своей неумолимой документальности и печально-насмешливому приговору всему подлому, что выросло на месте его детства, дома и родины.

Город блуждающих душ, кладезь напрасных слов.
 Встречи на островах и у пяти углов.
 Неточка ли Незванова у кружевных перил,
 Дом ли отделан заново,

Камень ли заговорил.
 Умер монарх. Предан земле Монферан.
 Трудно идут года и оседает храм.
 Сон Фальконета — всадник, конь и лукавый змий,
 Добела раскалённый в недрах неврастений.
 Дует ветер от взморья, спят манжурские львы,
 Юноши отцветают на берегах Невы.
 Вот я гляжу на мост, вот я окно растворил,
 Вьется шинель Поприщина у кружевных перил...
 Серенькое виденье, бреда смертельный уют...
 Наяву кашляют бабушки и куры землю клюют.
 Наяву с каждой секундой всё меньше и меньше меня,
 Пылинки мои уносятся, попусту память дразня,
 В дали астрономические, куда унесены —
 Красные щеки, белые зубы и детские мои штаны.
 1936—1940

Детство без наследства

Семён Кирсанов
 (1906-1972)

Продираясь сквозь толпу (или подталкиваемый ею), я обошел магазин вдоль и поперек и сверху донизу. Товары, за редким исключением, совсем негодные. Можно даже подумывать, что ткани, вещи и т. д. специально изготавливаются по возможности непривлекательными, чтобы их можно было купить только по крайней нужде, а не потому, что они понравились. Мне хотелось привезти какие-нибудь сувениры друзьям, но всё выглядит ужасно.
 Андре Жид «Возвращение из СССР»

Семён Кирсанов (Самуил Ицкович Кортчик) встретил революцию в возрасте 11 лет. Сын одесского портного, поэт Семён Кирсанов — самый качественный образчик эталонного советского и совершенно не русского поэта. Эта фигура — образец мечтаний социалистических создателей нового человека. Франкенштейн Кирсанов был создан на славу. Славу он и получил. В возрасте 20 лет он уже считался учеником

Маяковского, писал стихи лесенкой, быстро входил в обойму разрешённых к печати поэтов. Прекрасно пережил смерть Гумилёва, Мандельштама, ОБЭРИУтов. В новогоднем номере «Комсомольской правды» накануне 1941 года целая страница было отведена под поэму Кирсанова «Ночь под Новый век». За драму в стихах «Макар Мазай», повествующей о сталеваре-стахановце, расстрелянном фашистами, Кирсанов получает Сталинскую премию, ведь в этом произведении прекрасно всё: поэт умял в одну книгу все ключевые мифы советского строя: сермяжный Мазай, былинный Стаханов и военная риторика. При этом даже Мазая украли у русского Некрасова! Кирсанов многократно и без всяких проблем выезжал за рубеж в качестве туриста (Англия, Италия, Бельгия). Для людоедского времени 30-40-х годов — это был признак сверхпривилегированного статуса. Отпуская его за границу, власть была уверена, что *этот* не эмигрирует, *этот* вернётся. Кирсанов был номенклатурным поэтом в то время, когда сто миллионов жителей страны не то что не мечтали о загранице — у колхозных крестьян и паспорта не было до 1974 года. Того самого молоткастого паспорта, который гордо доставал из широких штанин ещё учитель Кирсанова. В общем, власть за поэтом следила, оберегая и лелея. Ему даже умереть не дали как рядовому советскому гражданину, а отправили как драгоценность на лечение во Францию. Настолько он был нужен и ценен.

А чем же он был так ценен? Почему его поэтический мир, заметно перекошенный в область филологических игр, находился под такой опекой, под таким оберегом людоедской власти? Зачем его держали при дворе? Думаю, что ответ в том, что Кирсанов уловил генеральное пожелание советской власти в отношении захваченной русской культуры: поэт своим поэтическим миром явил законченный образчик того, во что скульпторы новой советской общности и мечтали переплавить язык и сознание нового советского человека. Чтобы в новом мире, где все эллины и иудеи долж-

ны будут слиться в единую интернациональную массу, все мыслящие люди могли бы воспользоваться новой культурой, разлитой в загадочные, безвредные, симпатичные, тревожащие формы. И именно такую форму и изобрёл Кирсанов. В его стихах живут современные слова, идёт энергичная языковая игра, сюда свезены энциклопедические залежи терминов, понятий. Всё это напоминает поэтический кроссворд: как будто Анатолий Вассерман вдруг начал писать стихи на основе Большой Советской Энциклопедии. Кирсанов — это идеальный *инженер человеческих душ*, неспроста Олеша заметил молодого паренька в Одессе в 1919 года. И вот этот *инженер* засел за составление огромного кроссворда, куда вознамерился поместить все разделы наук и искусства. Поэтому стихи Кирсанова и были самыми передовыми, современными и при этом зависали как бы вне времени, вне привязки к происходящему. Ведь словарь пишется на века, пишется для вечной, а не прижизненной жизни. Если прямолинейные крепкие середнячки советской поэзии писали о войне: «Жди меня, и я вернусь» или «Убей фашиста!» — то есть апеллировали к приземлённым текущим чувствам ветхого русского человека, то Кирсанов написал о войне поэму «Герань — Миндаль — Фиалка». Приведу нарочно длинный фрагмент:

ГЕРАНЬ — МИНДАЛЬ — ФИАЛКА (1936)

*Люизит пахнет геранью.
Синильная кислота — миндалем.
Слезоточивый газ — фиалкой.
(Свойства отравляющих веществ)*

1

Война

Ужасная скучная мирная жизнь!
Будничный дачный Версаль.
От былых развлечений

лишь ты одна осталась у меня,
большая глупая «Берта».
Я целые дни торчу в картинной галерее,
где пыльные портреты предков
в буклях пушечного дыма...
На моих блиндированных стенах
развешаны полотна былых сражений.
Помнишь, «Берта»,
как весело бабахала по Парижу?..
Теперь это только батальная живопись.
Я слишком давно
не война.
Вот моя пожарами позолоченная панорама —
на барабане Наполеон.
Застывший бомбардировкой Севастополь,
Сизые холсты
раздетых мародерами тел после битвы.
Импрессионизм фугаса,
пуантилизм пулеметной стрельбы...
А это, «Берта»,
уникум.
Пейзаж в железной раме танков при Амьене.
Очень жизненные лица трупов.
(Англичане: подлинник, есть дата —
18. VIII. 1918.)
Вот — море,
мой любимый жанр.
Ты была ещё в проекте, «Берта»,
не помнишь этой японской вышивки шёлком.
Это — Цусима
совместной работы адмиралов
Рождественского и Того.
Ах, «Принц Идзуми»!..
Крейсера умирают в небо винтом.
И сладко-больно делает дредноуту
слепой протей торпеды.
А вот это —
я.
Я — в точном смысле слова.

Над дикарским госпиталем абиссинцев
римские бомбы «капропи»,
это мои фамильные черты.
Делайте меня,
пишите меня
с ночного налета Таубе,
с первого хлора!
Нарисуйте меня над Мадридом
с гакенкрейцем на желтом крыле.
Да, это я —
хриплый пороховой обжора,
мешки с песком под глазами,
усиков карманный немецкий словарик,
тевтонское крыло орла зачесано на лоб.
Майн Кампф!
Гот унд Тот!
Великолепный портрет с меня.
«Берта»,
приведи в порядок наброски,
спрячь незаконченный этюд
японским штрихом затушёванного Китая,
американскую мазню Филиппин,
со стен долой английский дилетантизм
в ориентальном духе, —
я себя хочу увидеть
портретом во весь мир!
И сейчас же, сейчас,
когда меня миром доконали соседи!
О, соседи, соседи,
они хотят вогнать войну в раскопки,
пустить по рукам историков, археологов!
Они уже оторвали от меня шестую часть!
Смеют еще жить
и рожать!
Так и лезут живые младенчики, пухлые куклы.
Нет житья от живых.
Грудные живые,
живые школьники, двое взрослых живых,
и снова от них

пренеприятный малютка живой!
Смеют
иметь язык, говорить, называться народом!
Я устрою
пышный
на сто миллионов персон
тотальный обед!
Никель приборов, фарфор посуды,
на стерильных салфетках,
и хлебать, выскребывать царапающими ложками
новорозовых с писком!
Морг! —
восково-сизый мир мертвецов
я им дам.
Многообразную, полную смерти жизнь —
горы и каньоны
трупов
хрипящих,
вспоротых,
пропавших без вести.
О, соседи!
Живут, понимаете, живут!
Целые дни здоровы!
Стали даже летать доктора —
до чего доводит марксизм!
Не дают спокойно умереть рабочему от силикоза,
лечат, моют легкие кислородом на горных вершинах,
где должна стоять моя вилла.
Мы их проветрим,
вгоним в раны столбняк.
Скоро подыметесь
дыма белокурый зверь.
«Берта»,
зови моих огнестрельных арийцев!
Все мои слуги здесь?
И нитрат свинца,
и нитроглицерин,
и бравый, с выправкою взрыва
тринитротолуол.

Здорово, молодцы!
 Залежались на складах?
 Застоялся в ногах снарядов
 гремучий студень?
 Чешется в капсулах
 нетерпеливая нитроклетчатка?
 Добрый день, орлы.
 Хочется «юнкерсам» налетаться вволю?
 Вольно,
 крылатый «Георгий Торпедоносец»...

Для Семёна Кирсанова, сверхчеловека советской страны, все эти ваши войны и смерти — суть запись в прохладном кроссворде высших существ. Все эти смерти смердов — суть добавочная информация в учётной записи райкома поэзии. Кирсанов создал поэтический мир, свободный от страданий. Окружённый (казалось бы) страданиями в жизни, он дистанцировался от них в стихах, баррикадировался игрой слов, защищался словотворчеством от жизнеужаса. Когда арестовывали Мандельштама, у Кирсанова, жившего в соседней квартире, были гости. Об этом эпизоде, ставшем знаменитым после рассказа Ахматовой, спел Галич в песне об аресте Мандельштама («Всю ночь за стеной ворковала гитара, // Сосед-прощельга крутил юбилей»). Конечно, не Кирсанов арестовывал Мандельштама, и радовался он не аресту, а просто своим друзьям, хорошему вечеру, доброму вину. Кирсанов жил, как бы *не зная* о происходивших арестах и гибели поэтов. Однако, смерть и подлинность находили свои подходы и к такому герметичному способу проживания и описания жизни. В 1937 году от туберкулёза умирает его жена. Умирает, окружённая уютом, уходом, человеческим бытом. Умирает не как Хармс в ледяном Ленинграде и не как Мандельштам, похищенный из этого мира за стихи. Она умирает не как эти враги, а умирает как *наш* правильный человек. Как человек, чья смерть — *потеря* для советского строя. «Литературная газета» из уважения к уже забронзо-

вешему Кирсанову печатает некролог в память о его жене. С точки зрения вечности — смерть в тюрьме или на домашней кровати равны. Но с точки зрения живущего в 1937 году — это две разницы с разных планет. На планете великого почтения жил поэт Кирсанов. Но смерть жены вдруг как бы перенесла его на планету смертных. Внезапно он оказался среди обычного горя и, столкнувшись с великим уравниателем, написал «Твою поэму».

...
 Ты говорила мне:
 — Лечи,
 чем хочешь --
 каплями,
 травой...
 И пахли
 грозами
 от лампы дуговой.
 А ты
 уже ловила воздух
 ртом
 И я
 себя
 ловил на том,
 что тоже
 воздух ртом
 ловлю...
 Как я тебя люблю,
 как жду
 исполнить
 каждую нужду,
 то причесать тебя,
 то прядь
 поправить,
 то постель
 прибрать,
 гостей ввести,
 то стих прочесть...

Не может быть,
что ты
не сможешь жить!
Лежи!
ни слова лжи:
мы будем жить!
Я отстою
тебя,
свою...
И вытирал
платочком рот
и лгал:
мне врач сказал:
умрет.
А что я мог?
Пойти в ЦК?
Я был в ЦК.
Звонить в Париж?
Звонил.
Еще горловика
позвать?
Я звал.
(А ты горишь!)
Везти в Давос?
О, я б довез
не то что на Давос --
до звёзд,
где лечат!
Где найти лекарств?
И соли золота,
и кварц,
и пламя
финзеновских дуг,
всё!
всё перебивало тут!
А я надеялся:
а вдруг?
А вдруг изобретут?
Вокруг

сочувствовали
 мне.
 Звонки
 товарищей,
 подруг:
 — Ну как?
 Как
 руки милые
 тонки!
 Как
 мало их
 в моих руках!...

Внезапно оказалось, что горе нельзя выразить в кроссворде. Оказалось, что есть иные поэтические тропы и другие человеческие слова. И неспроста в русской «Википедии» так подробно описывается, как хорошо эта поэма была встречена тем же Константином Симоновым. Оказалось, что поэт Кирсанов в момент личного горя вдруг впал в понятное другим состояние души, когда слова шли, сочились своим неподвластным образом из зачем-то данных ему источников. Второй раз поэт Кирсанов пережил бедность своей поэтики, когда смерть пришла к нему самому: у него нашли рак. И опять Кирсанова лечили лучшие советские врачи, его выпустили для лечения в Европу. Его спасали всем советским миром. И Кирсанов оставил в знак благодарности пронзительные стихи, на пороге смерти он перестал разыгрывать поэзию, и на него вдруг снизошли человеческие слова, которые всегда ждали его в русской речи, но которых он упорно по велению внутренней партии старался избегать. Как Брежнев, выступая на многочасовом заседании, испытывая боль и усталость, Кирсанов должен был держаться и не подавать виду, поскольку в мире формальных докладов человеческое: «мне страшно!» выглядит слонтиством. В такой ситуации и находился Семён Кирсанов. Его книги выходили тиражами сто, двести тысяч. Власть его продвигала, делала ему мар-

кетинг, но забытый читатель, не ожидавший от официальной печати ничего хорошего, читал его книги, как доклад какого-то пришельца, иностранца, который вроде выучил русский язык, а двух собственных слов связать не может. И вдруг этот инопланетянин, прикованный к кровати, скользя по желобу смерти, цепляется руками за края и что-то человеческое проносит. Именно поэтому «Больничную тетрадь» поэта и выделяют особо в его творчестве.

Отец

Мне снилось, что я — мой отец,
что я вошел ко мне в палату,
принес судок домашних щец,
лимон и плитку шоколаду.

Жалел меня и круглый час
внушал мне мужество и бодрость,
и оказалось, что у нас
теперь один и тот же возраст.

Он — я в моих ногах стоял,
ворча о методах леченья,
хотя уже — что он, что я
утратило свое значенье.

Но когда до смерти было ещё далеко, в промежутке между смертью жены и своей кончиной, на советском поэтическом небосклоне сиял и получал государственный почёт неизменный эквилибрист Семён Кирсанов, озадаченный лишь филологической стороной высказывания. В годы войны Кирсанов выполняет заказ Партии и миллионными тиражами на замерзающих в окопах иванов вываливается кирсановское «Заветное слово Фомы Смыслова, русского бывалого солдата». Поэт полемизирует с Достовским, у которого был Фома Опискин — человек, судя по фамилии, делающий ошибки, а вот у нашего советского Фомы Смыслова во

всём будет смысл. Во всём, кроме самого этого произведения. Цитата из «Википедии»: «Писатель-фронтовик Михаил Алексеев назвал героя бесстыдно-фальшивым, утверждал, что никто в окопах этого не читал, а такие, как он, политруки рот стыдились давать поучения Смыслова своим солдатам. Однако, вопреки заявлениям М. Алексеева, Кирсанов получил множество писем от солдат, некоторые из них даже считали, что Фома Смыслов действительно существует». Так я себе и представляю солдата, который в перерыве между боем и сном садится и пишет письмо Кирсанову: «Спасибо, отец родной, за стихи. Очень они нам помогли». В современном мире людей сложно удивить накруткой лайков, ботофермы работают, нужные блогеры поднимаются в рейтинге. Система не изменилась, письма с фронта — вопрос техники и ловкости ума. Тот же Кирсанов написал в 30-е годы поэму, где действовало несколько разных героев, и у каждого была своя поэтическая речь. Очень это всё было бы здорово и принесло бы культуре и поэзии свои живые нефальшивые плоды, но Кирсанов творил, перефразируя крылатый лозунг: «Всё не во имя человека, всё не для блага человека».

Погрузившись в поэзию Семёна Кирсанова, медленно забываемого нашей культурой, я поразился тому, насколько эта поэзия робка и написана с оглядкой. Это напомнило ощущение, возникающее при просмотре матчей реслинга: бойцы устрашающе выглядят, свирепо рычат, выходя на ринг, на котором разворачивают свои театрализованные танцы со скрытой аккуратностью и показной агрессией. Вся эта буффонада, словесная избыточность, которая у иного поэта могла бы служить выражению мысли, чувства — у Кирсанова служит для маскировки высказывания, чтобы ни в коем случае ничего не выразить и не дай бог не проявиться на публику.

Поэзия Кирсанова создавалась как месть русской поэзии. Поэзия может быть экспериментальной, она вообще может быть какой угодно. «О, закрой свои

бледные ноги!» или «Крылышка золотописьмом прозрачных жил» били читателя своим новаторством, исходя при этом из классического отношения к читателю как к мыслящему существу, способному сыграть в новую игру. Футуризм, имажинизм, новокрестьянская поэзия и были именно что *течениями* живой поэзии. Они текли от понятной формы к новым берегам речи. Живые изменения двигались как лава в течение довольно короткого промежутка, затем, охладевая, застывали, переставая работать на мельницу смыслов и форм. И только Кирсанов, прыгнув смолоду в течение футуризма, продолжал имитировать плавание, хотя течение давно пересохло и перестало откликаться в читателях. Кирсанов творил поэзию в пустоту, НИ ДЛЯ КОГО. Он лежал на дне пересохшего русла, махал руками, бил ногами и кричал: «Я плыву, это плавание, это заплыв в неведомое!» — И государство его поддерживало: «Да, да, ты плывёшь! Вот тебе ещё сто тысяч (рублей, тиражей) для поддержания формы и создания нового вида спорта по заплыву на месте».

Кирсанов преподносил себя власти как безопасного и в то же время энергичного живчика, улучшенную версию Лилии Брик, поэта, готового регулярно и правдоподобно имитировать поэтический процесс. Он был реликтом, захваченным в русской империи, был ребёнком, помнившим старую культуру, но перевоспитанным уже в советской традиции. В этом и состоит большая трагедия поэта Кирсанова: он явил в своей поэтике неунывающий задорный запас приёмов, находок, открытий, которые содержались в свёрнутом виде в русском языке, но все эти открытия были сделаны в вакууме. Эти находки было некому показать, их не с кем было разделить и главное — их нечем было наполнить. Русская речь как инструмент создавался для иных, сгинувших отношений и ситуаций, и говорить на этом языке в новой жизни было вот так сходно невозможно. Язык гибок, как и человек, язык найдёт в себе живые возможности оставить человека человеком при любой власти. И Кирсанов и сохранился как поэт

лишь благодаря языку. Но от себя прибавить что-то в ответный дар русскому языку Кирсанов не сумел, не успел понять, как это делать, он был слишком мал в тот момент, когда мир прежнего сознания ушёл на дно истории. Оставалось лишь по-детски басыть, строить из себя взрослого поэта, вводить взрослую терминологию в поэзию, но всё это механически и внешне, всё это лишь в подражание взрослому миру и взрослой поэзии. Маяковский ничем не мог помочь Кирсанову. Между ними была разница в 11 лет, что было пропастью для того времени. Маяковский мог разбазаривать свой талант после революции. Потому что он уже был взрослым до октября 1917 года. К этому времени Маяковский уже написал: «И всё ей казалось — она жеребёнок, и стоило жить, и работать стоило». А юноша Кирсанов мог лишь смотреть на Маяковского снизу вверх, прилежно копировать и механически развивать его поэтику. После смерти учителя Кирсанов даже хотел за него закончить поэму «Во весь голос». Но чужую жизнь закончить нельзя. Придётся заканчивать свою. Прощайте, Семён Кирсанов. Смерть уравнила Вас с Введенским, Щиrowsким, а потомки пусть решают: был такой поэт Семён Кирсанов или нет.

В стране злых детей

Георгий Оболдуев
(1898-1954)

Георгий Оболдуев родился в дворянской семье среднего достатка, это была старинная фамилия, нормальная, живая семья со своими традициями, фамильным древом, своей гордостью и скелетами в семейных шкафах. Всё это будущий поэт Георгий Оболдуев, встретивший революцию в возрасте 19 лет, потерял в физическом измерении и должен был умалчивать и подавлять в измерении душевном: его детство и юность в «дворянском гнезде» стали клеймом на его биографии, принуждая всеми силами отрешиваться

от своего происхождения. Русские оказались в ситуации евреев или татар, принуждаемых к крещению. Но даже присяга верности не становилась охранной грамотой. В 1918 со скамьи 3 курса историко-филологического факультета МГУ поэт был демобилизован в Красную Армию. Проведя четыре года в составе «культурно-просветительских» войск, Оболдуев вошёл в 20-е годы человеком понявшим, чего от него хочет новая власть. Будучи хорошим пианистом, он сначала укрывался в музыке, до которой у новаторов пока не доходили руки: не за что было уцепиться в бессловесном переливе звуков. Маркс насчет музыки молчал, поэтому музыканты и композиторы как-то могли существовать в координатах музыкального языка, не боясь быть услышанными наркомками и горкомками. Владея несколькими иностранными языками, что было нормой до революции для людей его круга, он оказался редкой птицей в вымершем мире высших устремлений и требований к человеку. Георгий Оболдуев, естественный плод культуры и истории своей страны, вдруг оказался под прицелом подозрения. Он изо всех сил избегал прямого столкновения с красным сфинксом и просто перестал печатать что-либо. Он работал в издательствах, но на сугубо технических позициях (корректор, оформительский отдел). Он замолчал, сосредоточившись на выживании. Но живой организм требовал общения, и Георгий Оболдуев вместе с Иваном Пулькиными и другими поэтами создают в 1929 году группу ЭСПЕРО — «Союз приблизительно равных». Не в лучшее время создают — на излете того периода, когда до поэзии *ещё не добрались*, когда поэты *ещё не были занесены в реестр работающих на благо страны*. В начале 30-х годов творить и оставаться вещью в себе будет уже невозможно. Человек будет обязан *привиться и показать сертификат* для прохода в продуктовый магазин. Оболдуев, не отдавая свои тексты в печать, всё равно попал в прицел, поделившись с друзьями рукописью «контрреволюционного произведения белоземигрантки М.Цветаевой». Человек просто

прочитал друзьям стихотворение и «уехал» на три годка в Карелию. Освежить свой характер и поведение да поработать концертмейстером и заведующим литературной частью театра, в котором играли другие ссыльные (русские артисты — страшные враги советской власти: актёры Вацлав Дворжецкий, Иван Русинов, оперный певец Георгий Тартаковский). Так отцветал цвет нации, готовя дорогу новой исторической общности людей. Аккуратность Оболдуева, его настроенность на выживание позволили ему вернуться из ссылки и жить, уже не рискуя жизнью ради опасной правды и искусства. Оболдуев, как все вернувшиеся из ссылки, с трудом находил себе работу, став токсичным человеком. «Вы — хороший специалист, но от Вас пахнет опасностью», — молча читал он в глазах людей, читавших его послужной список. В письме своей жене он пишет: «Мне так хочется работать, а ведь какие б я ни писал расколдованные стихи, это ж пока впустую. Так бы надо было сейчас хоть ерундовый заказ откуда-то». Оболдуев, поэт, маг, понимал, что, даже отказавшись от магии свои слов, он не сумеет встроиться в новодел поэтического мира. У него просто нет достаточной ограниченности и политической пылкости. А только между этими двумя разрешёнными полюсами и жила вся публичная поэзия советского времени. С одной стороны она была полностью расколдована, лишена электронных облаков неоднозначности, а с другой стороны советская поэзия была полностью заколдована политическими установками коммунизма с человеческой гримасой. Женой Георгия Оболдуева была разрешённая Советами детская писательница Елена Благинина. После своей ссылки Оболдуев пишет ей: «Завидую тебе с твоим дивным хохлом». Речь о переводах Тараса Шевченко, которые делала Елена Благинина. Не секрет, что борьба с русской культурой шла также через насильное возвеличивание второстепенных и третьестепенных писателей из нацменьшинств. Бросается в глаза советское желание загромоздить русскую литературу переводами Руставели, Шевченко. Локаль-

ная полу-литература получила возможность присосаться к русской культуре. Причём сделать это за счёт русских же поэтов, за счёт ненавистного русского языка. В советском зазеркалье подлинным поэтам усложняли или запрещали публикацию собственных произведений, зато по-царски (по-советски) оплачивали командировки в солнечные кавказские дали, оплачивали переводы татарских, узбекских и украинских гениев. Все небольшие культуры, о которых без России никто бы не услышал, сделали русских виновными за то, что у русских есть великая культура и обложили русских культурным оброком. Так через русскую речь Шевченко, Муса Джалиль, Айтматовы и прочие тутти-кванти сумели перекинуться и дальше в английский и французский языки. Ведь у русского литературного слова в мире до сих пор высокий статус, только добыт он не усатыми шевченками, а бородастыми толстыми. Но проснувшееся деревенское самосознание гудело: «Русский язык — держиморда. Мы его используем, но не уважаем!» И русский язык за всё хорошее получил свой советский век поэтического молчания. Канцелярия и военные приказы шли на русском, а поэзия шла на украинском и грузинском. Так Георгий Оболдуев и промолчал всю жизнь. Молчал на родном языке и писал стихи в стол (какое отвратительное страшное определение! Жить в стол. Дышать в стол. Родить ребёнка в стол!). Его литературный язык оказался с одной стороны замороженным языком Серебряного века, с другой стороны он вобрал в себя живые подробности советского мира. И в этой живой амальгаме поэт предстаёт перед нами, беседуя как живой с живыми, показывая всё то, что много лет росло, билось и дышало в столе. Мы открываем ящик и видим квадратного человека, сохранившего вопреки всему правильный обвод лица, человеческий взгляд и прежде него рождённую культуру.

Город взвален долгим вечером
 На плечи людских бессонниц.
 Ночь дрожит стеклянным черепом.
 Я бегу, как незнакомец,
 Мимо собственной комедии.
 Благодушной, чем мерзавец,
 Распускается столетие;
 На дрожжах своих красавиц
 Разбухая всё проклятее,
 Прибедняются по-вдовьи:
 Диктатура, демократия,
 Мистика, средневековье,
 Провокация, двуличие,
 Малодушные, шпионство...
 Каннибальские обычаи
 Нынче вынужден я конста...

Кантата

Расхаживаю, разъезжаю, людей показываю,
 себя смотрю.
 Каждый встречный-поперечный –
 Продукт законченный и беспечный
 Любовного акта,
 Как-то:
 От одного названья,
 По милому имени,
 В нежном словечке,
 За одно названьице «пеночка»,
 Что выпорхнет из незабвенненького,
 Коли и жить-то не на что,
 И положиться-то не на кого.

Вышеизложенное что лютик:
 Легко за ним прогуляться
 Туда, где природа и люди
 На море и на суше
 Бьют баклуши,

Точат балясы.
«Индивидуи» и «классы»,
«Души» и «туши».

Всякое людское отродье
Зрелого возраста и рода
Прошло сквозь огни, медные трубы, воды;
Сквозь себя, мужей и жён.
Отменна вода.
Теоретичен огонь.
Пусты лбы и трубы.
Прелестны — хоть навсегда
(Только троны!) –
Свежие губы.

Давненько это было:
Совсем недавно.
Давным-давно:
Каких-нибудь десять лет тому назад.

Не надо быть ни пророком, ни провидцем
Ни ещё каким-нито оборотнем,
А непредубеждённым гражданином,
Чтоб оценивать положение нашей страны,
Как лучшее в мировой ситуации.

Нас астрономически много,
Спаянных пока что в СССР.
Наша колония, рынок и сырьё, –
Сердце и честь каждого человека,
Живущего и будущего жить.
Мы непорочно бедны:
Так и есть куда богатеть.
Мы горны, долины, речны, морски и лесны:
Так есть куда силу девать,
Чтоб получить вдвое.
С севера к нам не подступишь: сдохнешь!
Сами путём не знаем,
А узнаём и узнаем,

Чего там деется;
Какое богатство веками
Ждёт не дожётся быть взятым:
И будет.
Близок локоть с Запада –
А не куснёшь:
Только заглазеешь — пасть отточишь, –
Глядь, соседка по-приятельски
В бок
Вгрызся.
С юга: — жарко, да слишком живописно
(Читай: непроходимо);
К тому ж афганцы, персы, турки
Несознательны, хоть убей:
Липнут к северу, как мухи на мёд,
Точно знают, где спасенье.
Щипнуто было с востока: –
Да вышло столь дальневосточно,
Что, пораженью поражаясь,
Спешно распоряжались:
Оскаленные морды счесть улыбкой,
Трупы — спящими,
Пленных — туристами в СССР.
1930

Язык

Мы живём в безвоздушном пространстве,
Не крича, не шепча, не дыша...
А попробуй по жизни пространствуй
Странной переступью антраша.

Все повадки и навыки лисьи
Израсходованы меж потреб,
А большие и чистые мысли
Не годятся к обмену на хлеб.

На соседей оглядки бросаючи,
 Под оглядками ближних бредя,
 По-людски, по-собачьи, по-заячьи
 Подставляем умы для бритья.

Брейте, перебирайте, стригите,
 Укромщайте, корняйте, обтрясывайте,
 Чтоб бессмертных сдержатъ на граните
 Воплощённых мечтаниц о паспорте.

Что ж это происходит? По-видимому,
 Как на чей, а на бережный взгляд –
 По-тоскливейшему, по-обыденному
 Нам приказывают и велят

Наших горестей писк комариный,
 Наших болей удержанный крик...
 И виденье казнённой Марины
 Кажет высунутый язык.

148

Июль 1947

В тюрьме сидел кузнечик

Интересна следующая перекичка Георгия Оболдуева с разрешённой на некоторое время ОБЭРИУтской вольностью, а именно — с Николаем Заболоцким. Заболоцкий, будучи ребёнком в революцию, не успел, если так можно условно сказать, повзрослеть *по-царски*, он выросл уже *по-советски*. Поэтому смог отчасти приспособиться к требованию нового века, как ни кощунственно это звучит, в свете грядущей судьбы поэта. Заболоцкий сумел в советское время напечатать свои взросло-детские стихи, свои «Столбцы», где мир предстает как идеальная суперпозиция сил природы и человека. Настоящей природы и выдуманного человека. Человек Заболоцкого идеализирован, по сути — это уже прототип требуемого «нового человека»,

ведь между «новым человеком» и природой нет посредников в лице культуры: он общается с муравьями и цветами напрямую, просто потому что он — *хороший* человек, которому принадлежит будущее. Заболоцкий сумел вывести в своей поэзии такого идеалистического Голема отчасти потому, что понять, узнать *настоящего* человека до революции Заболоцкий уже не успел. Намного лучше Заболоцкий понимал человека новой формации, человека, от которого страна ожидала подвигов и жертвенности. Тогда как Оболдуев *понял* людей ещё до революции и, будучи носителем опасной генеалогии, вовремя примкнул к красным зверькам. Но Оболдуев, в отличие от Заболоцкого, писал непечатные стихи о настоящей природе и настоящих людях, зная цену вероломству последних и ужасаясь тому, как быстро исчезает человеческое в людях, оставленных посреди природы без спасительного посредника в лице культуры. Такой человек начинает топтать муравьёв и уничтожать цветы. Никакой идиллии не предвидится. У отрицающей культуру массы людей остаётся лишь пустота в ушах и бело-красный шум в глазах. Они смотрят на мир, а видят лишь перепаянный неуют.

Вот *кузнечик* Заболоцкого из поэмы «Лодейников в саду», опубликованной в «Литературном современнике» в 1937 году (здесь прекрасна и дата, и то, что Заболоцкий — пока ещё *современник*, тогда как Оболдуев никогда и не был современником нового советского читателя):

Трясли кузнечики сухими лапками,
 Жуки стояли чёрными охапками,
 Их голоса казались сучками.
 Блестя прозрачными очками,
 По лугу шел красавец Соколов,
 Играя на задумчивой гитаре.
 Цветы его касались сапогов
 И наклонялись. Маленькие твари
 С размаху шлёпались ему на грудь

И, бешено подпрыгивая, падали,
Но Соколов ступал по падали
И равномерно продолжал свой путь.
Лодейников заплакал. Светляки
Вокруг него зажгли свои лампадки,
Но мысль его, увы, играла в прятки
Сама с собой, рассудку вопреки...

А вот поэтический ответ Оболдуева Заболоцкому,
ответ, который не мог, в отличие от текста Заболоцкого,
быть напечатанным в советском журнале:

Ржал в траве кузнечик
Медленно и знойно.
Несколько овечек
Шло благопристойно.

Люди — жёлты, босы —
Ворошили сено,
Отбивали косы,
Приклонив колена.

Те тёплые толпы
Облекла кончина:
С ними холод тёплый
Делит их скотина.

Конь, корова, жучка.
Плауги, сохи, косы —
Как бойко, так жутко —
Распластали кости.

Ржёт в поле кузнечик,
Прёт по полю стадо,
Каждый человечек
Делает, что надо:

У одного книга,
У других газета:

Посильное иго
Темноты и света.

Ветрик насекомых!
Ветрище аварий!
Ветерок черемух!
Ветер гор и далее!

1933

Собственно это стихотворение — также отклик на хлебниковского *Кузнечика*, который мог *крылышко-вать* в тени классического векового здания русской культуры. Только кузнечик Оболдуева ободран, полураздавлен и жалок, он прячется в щели барака и выщелкивает покалеченным крылом хвалу новому хаму. Стихотворение Оболдуева пронизано желчью, неумолимо отдаёт политическим памфлетом. Всё это вредит поэзии, все эти внешние наведённые эстетика искажают то, что поэт мог бы сказать, будучи вне силовых полей социальной селекции. Селекция всегда идёт, даже в самом якобы демократическом обществе, но когда тебя подвергают негативной селекции, относя к виду, требующему неминуемого истребления, здесь любой урождённый аристократ начинает шипеть и извиваться, злясь молча, про себя, не на виду у врага, а в тишине бумаги, и этим гневом портит струны своей неотмирной лиры. Озлобление сердец тишайших людей своего времени и есть сердцевинный грех советского строя. От этого яда, который впоследствии стал вырабатывать и простой рабочий люд, этот строй и умер впоследствии, умер, лишённый желания быть увиденным следующими поколениями. Люди не захотели *этим* делиться с детьми. Они предпочли непредсказуемость в 1991 году. Конечно, это всего лишь краска, словечко поэта. Цены в нём немного. Но крупинка ценности нет-нет, да и есть.

Осенняя осина —
 Дешёвые дрова —
 Не сукина ли сына
 Под тобой голова?

Твои, матушка, корни —
 Заветный твой покой —
 Затаптывает ёрник
 Чечеточной пятой.

Не верь словам Шульженки,
 Русланиху души:
 Они снимают пенки
 Со всей твоей души.

Партийный ребёнок

Николай Олейников
 (1898-1937)

152

Николай Олейников, родившись в один год с Георгием Оболдуевым, также провёл свои детство и юность в России, а взрослую жизнь в Советском Союзе. Он был выходцем из зажиточной казацкой семьи. Из казаков в начале XX века усиленно лепили новую нацию, но они неправильно проявили себя во время гражданской войны, и их смели с лица национальной карты. А то был бы шанс в 1991 году получить независимое государство Кубань со своим *гутарком* и прочей национальным карнавализмом и шарлатанством. Юг, юмор, все дела.

Николай Олейников вовремя сориентировался относительно будущего казаков и отмежевался от своих предков, вступил в Красную Армию в 20 лет (1918 год) и в РКП(б) в 22 года. Он будет единственным партийцем из всех упомянутых выше поэтов. Будучи сформировавшимся взрослым человеком, получившим не самое блестящее, но всё же полноценное среднее образование в реальном и семинарском училищах, Олей-

ников, в отличие полуслепых младших ОБЭРИУтов, прошёл годы гражданской войны, действуя от себя и выстраивая свою социальную карьеру в складывающихся на глазах условиях. Характерен один небольшой эпизод из его жизни: в одной из анкет, через ответы на которые власть после революции отсеивала людей со старыми, неблагонадёжными корнями, поэт указал, что он убил своего отца. Исследователи творчества Олейникова мусолят эту тему, выводя какие-то теории из факта отцеубийства. Позвольте, А КТО ИЗ ОСТАВШИХСЯ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ НЕ УБИЛ СВОЕГО ОТЦА И ВСЕХ ПРЕДКОВ? Кто не отказался от всего того, чему научился и чем владел в *прошлой* жизни. Николай Олейников отверг своё казачье детство из понятного чувства самосохранения, поскольку такой анамнез нёс серьёзную опасность его новой взрослой жизни. Это был ситуативный выбор: победи белогвардейцы — поэт писал бы в анкетах о насильственной демобилизации в Красную армию, в которой он держался подальше от боёв и занимался халтурной агитацией крестьян.

У Николая Олейникова был весёлый южный характер (не до конца убил отца в себе), он активно варился в литературной каше 20-х годов, был хорошим менеджером и организатором и сумел применить свои амбиции в нарождающейся детской литературе. В 1928 года Олейников становится главным редактором нового детского журнала «Ёж», где в последующие годы печатаются все ОБЭРИУты и другие детские поэты. При этом ничего нового изобретать в т.н. детской литературе было не нужно. Это было изобретение велосипеда на потребу новых установок власти. До революции детская литература уже существовала: сказки Толстого, детские стихи Саши Чёрного, популярнейшая писательница Людмила Чарская, которая была ещё жива в тот момент, когда Маршак публично призвал убить её (в литературном, кхе-кхе, смысле) в 1934 году. Дореволюционная литература для детей продолжала существовать и никуда не могла деться по сигналу «Ав-

роры», но старая литература для детей не годилась для воспитания молодых ленинцев. Требовались новые слова и книги. В 1928 году Николай Олейников становится главным редактором нового детского журнала «Ёж». Олейников — член партии, ему тридцать лет, он всё делает правильно. Рядом работает и покровительствует Самуил Маршак — старший товарищ, заведующий детским отделом Ленинградского Государственного Издательства (ГИЗ). Маршак был деятелем старшего поколения, и он был *проверенным человеком*, который ещё до революции завёл правильные отношения с Горьким, что вкупе с происхождением и, несмотря на короткий антибольшевистский период в судьбе, дало ему путёвку в жизнь, путёвку в советские небожители. Маршак получил четыре Сталинских и одну Ленинскую премию в то время, как его младшие собратья-поэты, бывшие сотрудники его детских журналов, уже лежали в земле (Хармс, Введенский, Олейников) или сырели в бараках (Заболоцкий). Нельзя сказать, что Маршак убил своих друзей-поэтов, но *он их пережил*, потому что знал пароли и не был ребёнком во время революции. Маршак наравне с другим не-детским небожителем Чуковским безбедно пережил десятилетия красного террора. Советская чаша смерти минула этих почтенных старцев советского детства.

В конце 1920-х годов Николай Олейников был ещё на коне, он ещё никому не мешал, хотя холодок из будущего уже нёс ему мёртвые вести. 16 декабря 1929 года в «Литературной газете», этом рупоре безымянных доносчиков, был напечатана статья Д. Кальма «Против халтуры в детской литературе “Куда нос его ведёт?”», в которой ставились политически правильные претензии: «ГИЗ культивирует «бессмысленку». ГИЗ выпускает непонятные, нелепые, чудовищные вещи, вроде «Вопервых» Д.Хармса... Если ГИЗ далёк от того, чтобы воспитать материалистическое мировоззрение в детских авторах, то он, по крайней мере, должен заняться воспитанием его в наших детях». Новая власть, проповедуя материализм (смешной оксюморон), боялась все-

го бессмысленного, всего, чего нельзя было посчитать, поставить на поток, всего, чего нельзя съесть (по выражению Чехова). Отповедь советского мыслителя Д. Кальма была парирована на страницах той же газеты 30 декабря 1929 года в статье «За действительно советскую литературу!». Эту статью подписали Хармс, Заболоцкий, Пастернак, Федин, Шварц, Каверин, Тынянов, Бианки. Какая разношёрстная компания! Этот список наглядно показывает, что к началу 30-х годов контуры грядущего разделения на угодных и неугодных, на живых и мёртвых ещё не были понятные самим участникам этого процесса. Процесс ещё сохранял остатки литературного приличия и мог даже сойти за полемику, пусть и довольно развязную. Но удел каждого из участников спора и прекращение любых разномыслий были уже недалеко. Олейников ещё пытался угадать направление нового ветра и в том же декабре на страницах журнала «Книга детям» выходит подписанная, в том числе и поэтом, программная и обширная «Декларация ленинградской группы детских писателей-коммунистов». Это текст представляет из себя отвратительную мешанину, написанную на новоязе: этой смеси из речи агрессивного подростка и речи старого демагога, набивающего рот мёртвыми словами партийных докладов. Это речь *не людей* для нелюдей. Олейников и другие подписанты «Декларации» хотели сделать *взликай палытычэский ход*, защищая Маршака (который давал им работу и кров), при этом отстрелив в качестве ложной цели Корнея Чуковского — этого «буржуазного писателя, открыто ориентирующегося на буржуазного ребёнка» (цитата из текста, подписанного Олейниковым). Копаться в этом демагогическом великолепии совершенно не хочется. Олейников пытался стать фигурой в этой игре, показать, что владеет языком современной демагогии и также защищает своего патрона (Маршака). Но старания оценены не были. Олейников переоценил свою ценность. На палубе через десять лет останутся и Маршак, и Чуковский.

А ОБЭРИУты продолжают витать в облаках. Но уже — иных.

За пять лет до расстрела Олейникова, в 1932 году, Ольга Берггольц, двадцатидвухлетний ребёнок, делая, как взрослые научили, выступает с неумной почеловечески, но политически умной статьёй против некоторых авторов журналов «Чиж» и «Ёж», журналов, в которых сама Берггольц часто печаталась рядом с теми, кого она теперь с неумным, но расчетливым пылом клеймила в статье «Книга, которую не разоблачили». Прочитую этот образчик унылого леденящего новояза, на котором отныне писались только доносы и на котором отныне было немыслимо существовать никакой игровой, модернисткой, современной литературе: «Основное в Хармсе и Введенском — это доведённая до абсурда, оторванная от всякой жизненной практики тематика, уводящая ребёнка от действительности, усыпляющая классовое сознание ребёнка». Также интересна в этой статье расчётливая ремарка: «Мы заключаем отсюда Маршака, которому ... пытаются навязать близость к поэзии Хармса, от чего, мы думаем, откажется и сам Маршак». Забавны обороты «Мы заключаем», «Мы думаем». Бедная Ольга, она мыкала, мыкалась, всё делала, как старшие велели, а сама всё равно попала в ту же клетку в 1937 году. Ни красивые лица, ни правильно сказанные в правильном месте слова, ни талант — ничто не спасало рядовых поэтов. А не рядовые Маршак и Чуковский только побрякивали да сверлили дырочки под новые ордена и выбирали участки под новые дачи. Хорошо в стране советской жить!

На первом съезде советских писателей 1934 года Маршак призывал «Убить Чарскую» и возмущался тем, что выросшие в российской империи родители продолжают пичкать уже советских детей (хорошо бы отнять всех детей, да руки не доходят) «Гимназистками» Лидии Чарской. Лютовал Маршак через 17 лет после падения России, а бывшие люди по все стране продолжали читать старые книги. Слишком горяч был

Маршак, подождать было надо, понятно же, что время само поможет новой власти: выкосит бывших и оставит новых людей в нужном положении мысли и чувства. Ко времени 20-летия революции как раз народилось новое поколение, не знавшее старого порядка. С ними уже можно было творить, что угодно. Табула раса. А старые люди постарели на 20 лет и жили лишённые прав на память и уважение к себе. На этом же съезде 1934 года Олейников присутствовал с мандатом делегата с правом совещательного голоса. Ускользающие ниточки власти ещё щекотали его руки. Младшим ОБЭРИУтам такая привилегия казалась взрослой и защищающей. Но это была остаточная защита: сквозь дыры политического бронежилета Олейникова уже веяло холодом предстоящей кончины. Олейников сопротивлялся, как мог, написал статью, через которую пытался вернуть себе расположение шефа: «В докладе С.Я. Маршака с исчерпывающей полнотой намечены главнейшие пути в развитии детской литературы». Но только Маршак пройдёт свой путь в одиночестве, отстрелив от себя опасных детей революции — ОБЭРИУтов. Маршак был взрослым мужчиной, он не мог подвергаться опасности из-за детских проделок. Чужих проделок. Себе никаких шалостей Маршак не позволял, выбрав нужную линию. Он не был кровожадным, не хотел гибели другим, он хотел жизни себе и, будучи не самым крупным поэтом, нашёл себя в детских текстах.

1 января 1937 года — своего последнего года жизни — Николай Олейников встретил в... Кремле. Он в числе других был в гостях у академика АН СССР, экономиста Валериана Оболенского, носившего партийный псевдоним Осинский. Такой фамилией он подписывал свои статьи в подпольной партийной прессе до революции. Этот псевдоним он взял в честь повешенного во времена Александра II народника Валериана Осинского. Оболенский-Осинский стал в декабре 1917 года первым председателем Высшего совета народного хозяйства. Был нужной шестерёнкой в советском ми-

роустройстве и со времени революции жил непосредственно в Кремле. Ни Олейников, ни Оболенский-Осинский не знали, что это их последний новый год. В июне 1937 года Оболенского-Осинского вытурили из кремлёвской квартиры. В июле 1937 года арестовали Олейникова. В октябре 1937 года арестовали Оболенского-Осинского. 24 ноября 1937 года расстреляли Николая Олейникова. 1 сентября 1938 года расстреляли Оболенского-Осинского. Имя казнённого народо-вольца принесло Оболенскому смерть. Оболенский умер *врагом народа*. И эта формулировка (но не расстрел!) является отчасти справедливой, поскольку *русскому народу* он принёс вместе со своей партией смерть, культурный откат, бедность и несвободу. Олейников тоже умер *врагом народа*, и это тоже справедливо, если под народом понимать *советский народ*, новый народ, выведенный из пустыни на русскую равнину. Олейников пытался приспособиться в новом мире. Оболенскому-Осинскому казалось, что его время пришло навеки, и он устроен до десятого колена впрок. Но великий усатый уравнитель отправил под землю и старого проверенного большевика, и молодого попутчика, так и не ставшего своим. После 1937 года Хармсу и Введенскому оставалось ещё немного, пульс их детской жизни уже угасал. Советское время костенело, бронзовело, множило нужные тиражи и уже не нуждалось в завлечении сомневающихся детишек «Ежом» и «Чижом». Сомнений ни у кого уже не было. Они их, они новый мир построили. Кто был никем, тот покажет всем.

...Страшно жить на этом свете,
В нём отсутствует уют, -
Ветер воет на рассвете,
Волки зайчика грызут,

Улетает птица с дуба,
Ищет мяса для детей,
Провидение же грубо

Преподносит ей червей.

Плачет маленький теленок
Под кинжалом мясника,
Рыба бедная спросонок
Лезет в сети рыбака.

Лев рычит во мраке ночи,
Кошка стонет на трубе,
Жук-буржуй и жук-рабочий
Гибнут в классовой борьбе.

Всё погибнет, всё исчезнет
От бациллы до слона –
И любовь твоя, и песни,
И планеты, и луна.

И блоха, мадам Петрова,
Что сидит к тебе анфас, –
Умереть она готова,
И умрет она сейчас.

Дико прыгает букашка
С бесконечной высоты,
Разбивает лоб бедняжка...
Разобьешь его и ты!

Детство спит, оно устало

Елена Благинина
(1903-1989)

Поэтесса Елена Благинина, ровесница Заболоцкого, встретившая культурный переворот в возрасте 14 лет, являясь собой пример «удачной» советской судьбы. Родившись в провинции, она успела поучиться в Курской Мариинской гимназии, конечно зачитывалась «Гимназистками» Лидии Чарской, успела пропитаться всеми теми неформализуемыми традициями, привыч-

ками, манерами, которые и составляют ткань устоявшейся культуры. И вдруг, когда со стола истории сдёрнули традиционную скатерть, Елена Благинина, совсем юная девушка, ещё не успевшая обрести взрослой грубостью, оказалась перед пустой столешницей жизни: одна наедине со своими детскими представлениями и образом восприятия. И детские стихи, ставшие в начале 30-х годов *государственным делом*, стали для поэтессы той территорией свободы, где она могла продолжать быть ребёнком. Язык пропаганды для детей ещё не существовал, его следовало вырастить в пробирке нормальных детских стихотворений, написанных так, чтобы дети им доверились. Язык политики для детей начал создаваться параллельно с обычной, неприкладной детской поэзией. «Что такое хорошо и что такое плохо» Маяковского, да и сама Благинина неизбежно отчитывалась типовыми стихами, от которых при чтении должен был идти холодок взрослых реалий:

160

Барабанщик сильно занят,
 Барабанщик барабанит:
 — Та-ра-ра, та-ра-ра,
 На прогулку нам пора!

Вроде и просто барабан, ничего страшного, но для времени военного коммунизма это был неигрушечный зачин. На поле подобных коротконогих стихотворных поделок успешно пробавлялась орденоносная Агния Барто (16 лет во время революции). Но Барто писала «Уронили мишку на пол, отрвали мишке лапу» и смогла за счёт нетребовательных простых текстов хорошо устроиться в стране советской, получить Сталинские и Ленинские премии и стать женским аналогом Чуковского с поправкой на очень скромный талант, скромный даже в сравнении с Корнеем Ивановичем. При этом внешность у Барто была отталкивающая: дети, посаженные перед ней, с ужасом досиживали до конца её выступления. Елена Благинина была полной про-

тивоположностью: и внешне, и в судьбе. Если Агния Львовна Барто быстро сориентировалась в скотской атмосфере *новых веяний* и подписала обращение писателей к Горькому, в котором Чуковский обвинялся в буржуазности и неактуальности, то Елена Благинина была замужем за Георгием Оболдуевым, который по подлому навету в 1933 году отправился на три года в лагерь развлекать ещё не окочурившихся строителей Беломорканала. В 1950-е годы Елена Благинина выступила в защиту Пастернака, в то время как Агния Барто, обрастая подбородками регалий, выступала на процессах против Лидии Чуковской и Александра Галича. Барто оказалась *правильным* советским ребёнком, она писала правильные детские стихи, которые занимают в русской литературе удивительно скромный уголок: стихи для возраста ДО трёх лет. То есть при создании стихов и без того узкоспециальных, по определению урезанных, Агния Барто умудрилась ужать спектр высказывания до минимума. Для потешек сойдёт. И то — хлеб. Спасибо, Агния Львовна.

Елена Благинина же добывала свой хлеб и кормила им своего мужа, запрещённого новой властью к печати. Она неизбежно писала стихи правильные политически, но всё равно умудрялась наполнить их воздухом настоящего детства, как бы укутывая серп и молот в меховую ткань почти безопасного переживания:

Поставила мама
В бутылку с водой
Вишнёвый пруточек,
Побег молодой.

Проходит неделя,
И месяц прошёл —
И прутик вишнёвый
Цветаи зацвёл.

Я ночью тихонечко
Лампу зажжёт

И в банку с водою
Поставил флажок:

Что, если кистями
Флажок зацветёт?
Вдруг вырастет знамя
На будущий год?

Но мама увидела
В комнате свет,
Пришла и сказала:
— Не вырастет! Нет! —

Она говорила: —
Ты, сын, не грусти!
Ты лучше-ка сам
Поскорее расти.

162

Вот станешь, как папа, —
Работать пойдёшь
И знамя большое
В руках понесёшь.

Если Агния Барто, действуя колоритно и умело, встала со своими нетребовательными стихами в ряд неплохих поэтов Маршака, Чуковского и Михалкова, то Елена Благинина, обладая более глубоким и щедрым даром, довольствовалась тем, что была жива, призна-на во втором эшелоне детских поэтов и ей оставили в живых мужа, который был умён настолько, что после ссылки окончательно стал невидим для советских кон-тролёров, писал в стол, читал стихи жене, чья детская поэзия кормила их обоих. Елена Благинина заботилась о Георгии Оболдуеве и до, и после смерти, сохранив его архив и оставив свои воспоминания о нём: это воспоминания вечного ребёнка, который дожил до 86 лет, так и оставшись в возрасте 14 лет. Елена Благи-нина нашла, в переводе на современные деньги, свою

нишу: она не стала, а осталась детским писателем, осталась ребёнком, осталась сама собой. Благинина творила в области разрешённого творчества для детей: там, где можно было укрыться и переждать советский морок, сохраняя в своих стихах эхо старорежимного детства и делясь им с детьми Советского Союза.

Мама спит, она устала...
 Ну, и я играть не стала!
 Я волчка не завожу,
 А уселась и сижу.

Не шумят мои игрушки,
 Тихо в комнате пустой ...
 А по маминой подушке
 Луч крадется золотой.

И сказала я лучу:
 — Я тоже двигаться хочу.
 Я бы многого хотела –
 Вслух читать
 И мяч катать,
 Я бы песенку пропела,
 Я б могла поохотать.

Да мало ль я чего хочу!
 Но мама спит, и я молчу.
 Луч метнулся по стене,
 А потом скользнул ко мне.
 -Ничего, — шепнул он будто, —
 Посидим и в тишине

Как подлинный поэт Елена Благинина в этом самом известном своём стихотворении рассказала о своей жизни и о жизни всей страны. Россия-матушка загнула («К нам вести чёрные пришли, что больше нет родной земли»), а маленькая Лена сидит в комнате и играет с лучом света в тёмном царстве и тихо, про себя сочиняет детский заговор против смерти: «Мама не

умерла! Она просто спит, она устала. И пока она спит, я подружусь с неммым лучом, у него и фамилия детская, обзывательная — Оболдуев, я подружусь с ним, он будет мне молча светить, мы посидим с ним в тишине и эту тишину переждём». И Елена Благинина переждала тишину, умерев в 1989 году, немного не дожив до новой, на этот раз по-настоящему бескровной, революции. Елена Благинина похоронена вместе с Георгием Оболдуевым на Кобяковском кладбище. А стихи умирать не спешат.

Требует высокого помина
 Прошное, всё дальше уходя...
 Вижу сад и заросли жасмина
 В отблесках и отсветах дождя.
 Капли, уподобившись алмазам,
 Чуть заденешь ветви, льются наземь.

Этот ливень, золотой, зелёный,
 Так и хлещет — кругом голова!
 И стоишь ты некой сандрильоной
 В страстном ожиданье волшебства.
 Молода, по-своему прекрасна.
 Таинству расцвета сопричастна.

(Георгий Оболдуев)

Кто создал детскую поэзию СССР?

Стоит обратить внимание на лежащий на поверхности факт. Детскую советскую литературу создали... русские дети. Это были поэты, встретившие революцию в 11-14 лет. Язык, созданный ОБЭРИУтами для детей, был русским языком дореволюционной жизни. В него неизбежно вошли словечки, понятия, интонации пореволюционной эпохи. Язык жив своей гуттаперчивостью и липкостью. Но основа речи, мышление, игра, разум, чувства новой советской детской поэзии,

родившейся в конце 20-х годов, — всё это пришло из русской культуры Серебряного века и пришло через детей, внезапно лишившихся родины. И, не осознавая этого, они не случайно попали именно в востребованную политическим моментом нишу детской литературы. Только здесь они могли доиграть в свои игры детства, ведь взрослая жизнь нового времени была для них чужой, их родители не вели себя так, не унижались, не кричали на собраниях. У ОБЭРИУтов, вчерашних детей, не было понимания и умения говорить со взрослыми, поэтому они до посинения, до самой смерти крутили слова детским языком, наполняя советский язык антисоветской русской культурой, русской речью. И свои недетские стихи ОБЭРИУты писали тем же языком ребёнка, подростка: накопленный до революции словарь остался их единственным состоянием, которое пригодились им в Советской России. Поэтому-то все обвинения литературных следователей были *справедливы*. Только это была искаженная, зеркальная справедливость выдуманного нового мира, в котором нет места поэзии. Поэзии, которая не смогла подчиниться законам новояза, и чьи лучшие дети были сгорблены в землю. А оставшиеся на плаву средненькие поэты: Маршак, Чуковский, Михалков, Барто — так и прожили всю жизнь, комплексую от того, что они не умеют писать взрослые книги, проживут, ненавидя детишек, которые не воспринимают их как взрослых, а исключительно как детских писателей. Бедолага Чуковский писал после революции: «...Я тайно ревную свои взрослые книги к детским... Я готов бить кулаками тех мамаш, которые, слюняво улыбаясь, общаются мне, что их Тamarочка знает наизусть мою «Путаницу». «А вы, — спрашиваю я, — знаете ли вы наизусть мою книгу об Уолте Уитмене?» — «О чём?» — «Об Уолте Уитмене». — «А вы разве для взрослых тоже пишете?» — Сволочи!»

Маршак и Чуковский, конечно, останутся в русской литературе. Но останутся благодаря тому детскому языку, который они позаимствовали у последний

русских детей — Хармса, Заболоцкого, Введенского, Олейникова. ОБЭРИУты за десять лет активного творчества в детской поэзии и прозе создали все приёмы, разработали все направления, все ответвления логики, которые старшие Маршаки аккуратно списали и использовали в своих дальнейших текстах. Да, Чуковский написал своего крокодила или тараканища ещё до революции, и это хорошие детские тексты. Но последние русские дети — ОБЭРИУты — показали отцам-основателям Маршаку и Чуковскому, как по-настоящему зимуют раки русской литературы. В творческом масштабе ОБЭРИУты превосходили своих старших товарищей, они создали совершенный мир нового русского детства. Детство вспыхнуло, показало масштаб, заложенный в языке, и схлопнулось. И вокруг этого шара новой детской литературы дети будут собираться ещё многие годы, не подозревая о печальной и скучной судьбе его создателей. Аминь.

В качестве дополнительных персонажей из числа писателей, встретивших революцию в возрасте 11-14 лет, укажу ещё два имени: Аркадий Гайдар (1904 года рождения) и Михаил Шолохов (1905 года рождения). Первый стал правильным и нужным детским писателем, а второго назначили автором нобелиады. Мог ли ребёнок, встретивший революцию в 12 лет, написать взрослое произведение? Конечно мог. В жизни бывает всё, кроме того, чего не бывает. В любом случае, оба этих автора выбрали правильную сторону и были *хорошими, пригодными детьми* советской власти. А куда их определит русская культура — покажет время. Гайдара уже в моём детстве (в 1980-х годах) ребёнку было читать скучно. Шолохов, вероятно, останется тем, кем и был — второстепенным писателем, словившим временную звезду по чужому велению, по чужому хотению.

И тихо венчает наш список — детский писатель Николай Носов (1908 года рождения). Писатель, создавший *Незнайку*, всё-таки что-то *знал* про детство и, лишившись его, всё же сумел это детство описать и сохранить в своих «Фантазёрах» и «Мишкиной каше». Николай Носов добросовестно и искренно исполнил неизбежную роль детского писателя, и его «Живая шляпа» будет ещё долго бегать по русской литературе на своих мягких лапах, скрывающих когти и агрессию взрослой судьбы.

Карл Радек
БОРИС САВИНҚОВ

Трагическим аккордом кончилась эта бурная жизнь мещанского революционера-индивидуалиста, жизнь, полная неожиданностей, полная романтических эпизодов, полная великого геройства и великих падений и при этом так чуждая действительного революционного содержания.

Савинков родился в Варшаве в чиновничьей семье. Он не принимал участия ни в рабочем, ни в крестьянском движении этой чужой ему страны. Но гнет царизма был в Польше сильнее, подлее, чем во всей России. Семья Савинкова не мирилась с этим гнетом, хотя и бороться против него не решалась. Бесконечно добрая мать Савинкова заронила в его душе семена протеста, и Савинков сделался бунтарем. До него дошли отклики революционного движения в Польше и толкнули его сердце на путь революции. После короткого пребывания в социал-демократических кружках он из них бежит. Ему было скучно среди социал-демократической интеллигенции. Буйный темперамент его требовал «дела», немедленного, яркого протеста. Ему не хотелось терять время на умственную подготовку. Что ему марксизм, что изучение действительности, против которой надо бороться? Он знает, что надо бороться, и этого достаточно. Иосиф Пилсудский, по характеру во многом сходный с Савинковым, рассказывает в своей короткой автобиографии, напечатанной 22 года тому назад, что непонятно было ему, зачем люди научно обосновывают необходимость социализма. «Раз я его хочу, то он необходим». Так, наверно, думал и Савинков. Но социализм, привержен-

цем которого он себя признавал, на деле был фразой, прикрывающей только то, что он не хотел царизма, что он бунтовал против царизма. Дело, которого добивался Савинков, он нашел в слагавшейся тогда партии социалистов-революционеров. В ее рядах, будучи одним из самых выдающихся членов боевой организации, Борис Савинков совершил ряд террористических покушений, которые покрыли имя его славой великого революционера. В этих покушениях он проявил огромное мужество, самоотвержение. Падающая волна революции увидела Савинкова в полном раздумье. Роман его «Конь бледный», напечатанный в 1909 году, является доказательством, что в буре революции Савинков потерял всю свою молодую веру. Более того, по существу, он был человек без чувства социальной связи. «Счастлив, кто верит в воскресение Христа, воскрешение Лазаря. Счастлив также, кто верит в социализм, в грядущий рай на земле. Но мне смешны эти старые сказки, и 15 десятин разделенной земли меня не прельщают, Я сказал: я не хочу быть рабом. Неужели в этом моя свобода? Какая жалкая свобода... И зачем мне она? Во имя чего я иду на убийство? Во имя крови? Для крови?» — так спрашивал герой «Коня бледного», которым был сам автор. Роман этот, как доказало дальнейшее развитие Савинкова, был автобиографическим.

Буржуазный революционер Савинков пошел в бой под знаменем социализма, ибо европейская действительность, подлость буржуазного уклада жизни не позволяли ему бороться под знаменем буржуазии. Ему нужна была утешающая иллюзия — социализм! Но террорист, работающий без связи с рабочим классом, без связи с борющимся крестьянством, не мог понять смысла их борьбы, не мог впитать в себя прометеева огня, воодушевляющего рабочий класс. Он борется за то, чтобы не быть голодным, и называет это социализмом. Но я, Савинков, не голоден, — и разве я от этого счастлив? Крестьянин протягивает руки к земле, — но что великого в 15 десятинах земли? Французский кре-

170

стьянин имеет землю, — и разве он претворил в жизнь мечты Савинкова о красоте жизни? Не став социалистом, Савинков потерял всякое чувство общественной связи вообще. И буржуа имел когда-то это чувство, когда во время великих революций верил, что буржуазия создает новое великое дело. Даже теперь, когда буржуазия опаршивела, когда докатилась к врангелевщине, к цанковщине, еще многие ее руководители, ее борцы убеждены, что борьба имеет какой-то смысл выше того, чтобы держаться у власти, только жрать. Достаточно прочесть книгу Шульгина, чтобы видеть, как лучшие люди буржуазии (лучшие в классовом смысле) верят еще в то, что буржуазная система есть единственно возможная, что пролетарская революция есть хаос, который затопит мир и себя в крови. Савинков, потеряв веру в капитализм и не приобретя веры в социализм, остался одиноким индивидуумом, остался с мучившей его мыслью: кровь, во имя чего кровь? Во главе своей книги «Конь бледный» он поставил, как мотто, слова священного писания: «И вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним». Ему посмотрела смерть в глаза, и ад господствовал в его груди.

В следующей своей книге, изданной в 1912 году, — «То, чего не было» — он, мертвый революционер, занялся похоронами своего собственного идейного трупа. Что такое революция? «Никто не знал, когда это будет, и никто не мог бы сказать, что для этого нужно сделать... Как это произошло, никто не знал и никто не сумел бы объяснить». Революция — это «сонное царство». Приходит неизвестно когда, неизвестно зачем, неизвестно, каково ее содержание, каков ее смысл. Раз борьба пролетариата за социализм, крестьянства за землю Савинкову безразлична, то для него революция даже не просто сонное царство, а сонное царство без смысла. А если революция — сонное царство без смысла, то чем же может быть революционная партия, к которой он принадлежал, под знаменем которой сражался? Бессмыслица бессмыслицей, — и он дает кар-

тину своей партии, напоминающей суетню мелких людишек, которые сами себе кажутся важными, но жизнь и дело которых не имеют никакого веса. «Болотов воочию увидел, что в Москве совершается что-то торжественно-важное, необычайно решительное, что-то такое, что не зависит ни от его, ни от чьей бы то ни было отдельной воли. Он увидел, что не власть партии, не его, Болотова, власть всколыхнула многолюдную, богатую, деловую и мирную Москву, и петербургские заседания показались ему жалкими, смешными». Мы не знаем, почему московское восстание казалось ему чем-то неслыханно важным, раз освобождение крестьян от ига помещиков и рабочих от ига капиталистов неважно и не могло его прельщать. Видно, что героизм сражающихся московских рабочих наэлектризовало его фантазию. Но это только момент подъема, быстро угасающий, огонь соломы, ибо это не привело его к пониманию революции, а тем меньше роли в ней партии.

Хорошо. Московское восстание было плохо организовано: революцией вообще дьявольски трудно руководить. Но если бы Савинков действительно понял важность революции, ее социальный смысл, то ему не могла бы казаться работа партии полной бессмыслицей. Он бы не удивлялся, что члены центрального комитета революционной партии «говорили с уверенностью, что от их разговоров зависит судьба тысячи солдат». Он не мог бы относиться так пренебрежительно к внутрипартийной борьбе, как это он делал, когда писал: «Три направления боролись между собою, и борьба эта была источником озлобленных споров. Одни, изучив крестьянский и рабочий вопрос и хозяйственные отношения России, требовали социализации земли; другие, опираясь на те же условия, требовали социализации фабрик и заводов; третьи, прочитав еще десяток томов, не требовали ни того ни другого, соглашались на принудительный выкуп земли. И «умеренным», и «правым», и «левым»... разногласия эти казались решающими и важными. Они искренне верили,

что партийные разговоры, как разделить по совести землю и распорядиться судьбою России, умножат силу и ускорят шествие революции и определяют будущее стомиллионной страны... Никто из товарищей не понимал бесплодности безрассудных раздоров, и все с надеждой и нетерпением ожидали исторического события — общепартийного съезда». В этой тираде Савинков расписался в своем банкротстве как революционер. Если революция есть сонное царство, то партия есть бред во сне, а внутрипартийная жизнь и борьба, искание путей — это невольные движения сонного человека, улыбающегося сонному миражу, борющегося против сонного кошмара.

Разочарованный революцией, разуверившийся после обнаруженного предательства Азефа в своих боевых товарищах, Савинков гнил в парижских кафе, пока не пришло время войны. Вихрь войны сдвинул с места слабенький атом разложившегося буржуазного общества. Индивидуум Савинков, который считал, что существует он, Савинков, жалкая свободная личность, личность, не знающая, чего хочет, не могущая этого знать, не нуждающаяся в знании объективного смысла жизни, живущая как хочет, личность, сегодня рискующая головою во имя неизвестного, а завтра расцарапывающая свой мозг когтями сомнения: стоит ли убивать, — Борис Савинков очутился членом русского буржуазного общества. Да, членом международного буржуазного общества. Савинков воодушевляется войной. Как корреспондент буржуазной газеты, он воспекает смысл грабительской империалистической войны, геройство ее безвольных жертв. Нельзя жить атомом. Общество существует. Его раздирают классы, и, кто не понимает великого смысла борьбы рабочих и крестьян против рабства, тот должен — хочет ли он или нет — признать величие в борьбе против рабочих и крестьян.

Пришла Февральская революция. Савинков вернулся в Россию и сразу перестал быть Гамлетом революции. Споры о социализации земли или социализа-

ции фабрик, о выкупе земель, которые когда-то казались ему, индивидуалисту-террористу, такими бесплодными, получили теперь смысл. То, что когда-то было спором горсточки вождей в конспиративной квартире центрального комитета партии эсеров, сделалось предметом вооруженной борьбы миллионов людей. Рабочие, поднявшиеся против капитализма, крестьяне, поднявшиеся против помещиков, капиталисты и помещики, защищающие свою собственность, белый генералитет, ставший на сторону эксплуататоров, партия эсеров, расколовшаяся на две части, — все это было уже не вопросом ученых книг, а вопросом кровавой жизни. Практически Савинков отдал свой голос за помещиков и за капиталистов. Перед судом Верховного трибунала он сказал (совершенно искренне, наверно), что он всегда боролся за рабочих и крестьян. Но это был самообман. Он не боролся за них в 1905 году, когда героическая натура бунтаря толкнула его на террористическую борьбу против царизма. Отрицая позже значение борьбы рабочих и крестьян, он уже стал на сторону помещиков и капиталистов. В качестве товарища военного министра, в 1917 году, он стал активно на сторону буржуазии, сражаясь с оружием в руках против народных масс, требуя смертной казни для тех, которые не хотели сражаться за цели русского империализма. Подоплекой этого последнего решительного поворота Савинкова был буржуазный патриотизм. Савинков был патриотом в 1904 году. Он мучился при известиях о русских поражениях в Маньчжурии. Во время империалистической войны этот буржуазный патриотизм им овладел вполне. Во имя его, во имя победы русского буржуазного отечества он стал на сторону врагов трудящихся масс. Савинков пытался объяснить свою борьбу против большевиков после Октябрьской революции тяжелыми личными переживаниями, тем, что Советской властью был убит близкий ему офицер, муж его сестры. Это было не только неверно, как доказала его сестра в письме, направленном в «Последние новости». Этого объяснения

совсем не нужно. Савинков, не понимающий смысла пролетарской революции, должен был быть ее врагом, и Савинков, человек дела, будучи врагом Советской власти, не мог зубоскалить, а должен был сражаться с оружием в руках против диктатуры пролетариата.

И он сражался. От Ярославля до польской войны Савинков принимает участие во всех деяниях контрреволюции. То, что он видел в ее рядах, наполняет его ужасом. В 1905 году его мысль о том, что хорошо, когда люди борются за то, чтобы не быть голодными, ибо, освобождая мозг свой от терзания голода, они освобождают его для творческой работы, — эта мысль не смогла согреть его души. Тем меньше могла его воодушевить для контрреволюции мысль о том, что помещики и капиталисты борются за то, чтобы миллионы жили в голоде и холоде. Картина внутреннего развала белых, борьбы клик за место, за наживу — от всего этого его тошнило. Неспособность белых победить рабочих и крестьян вызывала в нем ощущение, что он связался с мертвецом. Последний день пришел для него, когда он, патриот, убедился, что все они, белые, являются игрушками в руках иностранных капиталистов. Одним из наиболее трагических моментов его исповеди перед Верховным трибуналом Республики был рассказ о том, как английский военный министр Черчилль, указывая ему на карте деникинский фронт, сказал: «Вот расположение нашей армии». Русская белая армия как участок фронта английского империализма! Савинков остался снова одиноким со своими переживаниями. Он написал «Коня вороного». Этот роман дает картину его полного разочарования в белых, но в нем нет еще даже проблеска понимания смысла великой русской революции, этого начала новой эры в истории человечества.

Что же делать? Борис Савинков не может оставаться в Париже со своими разочарованиями. Его тянет в Россию. Он хочет ее нащупать руками. Понять головой, что происходит, Савинков не в состоянии. Ему надо посмотреть собственными глазами. Он едет,

не зная, что будет делать: будет ли искать опоры в крестьянском движении для борьбы с Советской властью или примирится с Советской властью. Когда он был арестован и перед судом выступал с покаянием и заявлением о признании Советской власти, то всякому было ясно, что в этих словах нет еще переворота. Ведь он новой России еще не видел. Ведь он немедленно после перехода границы был арестован. Почему же он ее признал? Струсил ли он? Вряд ли. Савинков не струсил перед лицом царского суда, не трусил в сражениях. Почему ему трусить перед трибуналом революции? Он испугался не смерти, а приговора революции. Ему легко было принять смерть из рук царского трибунала, но, разуверившись в контрреволюции, он испугался не меча, а приговора революции. И в мучительных ночах он пытался преодолеть свои сомнения, он пытался поверить в революцию, и перед приговором он поднялся, дабы закричать революции: я в тебя верую. Оторвавшийся от буржуазного общества атом искал матери-земли, класса, к которому можно было бы присоединиться, дела, в которое можно уверовать, искал объединения с великим целым, общим, для которого стоит жить.

Его помиловали. Революция не казнит тех, которые отреклись от борьбы с ней. Но этого было мало Савинкову. Он хотел работать. Он хотел жить. Он ожидал освобождения, и он ожидал участия в жизни. Он пишет об этом Дзержинскому. Почему он не дождался ответа? Потому что в бессонных ночах, когда думал о том, почему ему не верят, он должен был задать себе вопрос: а что будет, если ему даже поверит Советская власть, освободит его и даст ему работу, — поверят ли ему другие, найдет ли он место в новой жизни? Он пришел к убеждению, что нет! И, прыгая с пятого этажа, он спасался перед бездной. Для него не было места среди трудящихся масс.

14 мая 1925 г.

с ц е н а

Евгений Телишев
ПОВИТУХИ ИЛИ ЛАО-ЦЗЫ
(ПО ЮАНЬ-МЭЮ И ЧЕХОВУ)

Действующие лица

Повитухи — 6 человек
Студент — сын одной из повитух
Селяне
Войницкий — дядя Ваня
Домочадцы дяди Вани

176

Действие происходит главным образом в древнем Китае

СЦЕНА 1

Крестьянская лачуга. Деревенская повитуха — женщина преклонных лет — спешно собирает свой нехитрый инвентарь: ее только что вызвали к очередной роженице. Сын — студент — готовится сопровождать мать.

МАТЬ (кутается в платок, застегивает сумку, смотрит в оконце) — Март...

СЫН — Трам, трам...

МАТЬ — Пил? Кос?

СЫН — Сок лип.

МАТЬ — Косный полип!

СЫН — Ах, маменька!..

В сенях слышны шаги, потом грохот. Это Войницкий споткнулся впотьмах обо что-то, обрушил полку с мукой и прочими скромными припасами.

ВОЙНИЦКИЙ (входит, весь в муке) — Я мог бы стать Шопенгауэром!..

СЦЕНА 2

Селяне толпятся у полуоткрытой двери в лачугу, где идут роды. Три повитухи вот уже несколько часов тщетно сияются извлечь ребенка на свет Божий. Послано еще за тремя повитухами, которые, с котомками в руках, появляются из-за кулис. Знакомую нам повитуху сопровождает сын, на ходу читая книгу. Следом, семенящей походкой, — дядя Ваня.

1-я ПОВИТУХА (выбегает из лачуги навстречу пришедшим) — С этой Лао — хлопот не оберешься! Надумала рожать в семьдесят три года! Головка прорезалась — и — стоп машина — ни с места — ни туда, ни сюда.

ВОЙНИЦКИЙ — Я понимаю его. Наш несовершенный мир не вызывает у ребенка никакого энтузиазма. Будь я на его месте...

Новые повитухи, не слушая дядю Ваню, продолжающего изрекать банальности, на ходу засучивая рукава, скрываются за дверью, из-за которой все время раздаются вопли роженицы.

СТУДЕНТ — По всему видно, то есть слышно — родится великий муж!.. (следует за повитухами.)

СЦЕНА 3

Толпа селян, Войницкий перед входом в лачугу. Все оживленно обсуждают происходящее. Время от времени — крики роженицы.

1-Й СЕЛЯНИН — Моя жена рожала... (считает на пальцах) ...восемь... девять... да, ровным счетом — одиннадцать раз.

2-Й СЕЛЯНИН (не расслышав) —Вы полагаете, родится дикобраз?

1-Й — Тьфу!.. (крик роженицы) ... Вопит она, впрочем, вполне соответственно... Я говорю — моя жена родила кучу детей. Это тем более удивительно, что мы, насколько я помню, никогда не спали вместе, так она уродлива. Даже слепой не отважится лечь с нею в постель.

3-Й — 4-МУ — Теперь понятно, отчего все его дети, не исключая и самой маленькой — вылитый прокурор.

2-Й — Слепой в постели с прелестницей. А, может, он вовсе и не слепой. С чего вы взяли, что он слепой? Откуда эта уверенность? Есть у него глаза?

ВОЙНИЦКИЙ (о своем) — Глаза... Чудная женщина...

3-Й — Слепой... Как-то это расплывчато...

1-й — Ничего расплывчатого. Nichts. Слепой, а не полуслепой. Blinde.

ВОЙНИЦКИЙ (о своем, мечтательно) — Если бы Вы могли видеть свое лицо, свои движения...

СЕЛЯНЕ — Мы не слепые.

ВОЙНИЦКИЙ (возвращается на землю) — Так ли?

СЕЛЯНИН — Я не слеп. (Новый вопль из лачуги) И, представьте, не глух.

ВОЙНИЦКИЙ — Рассмотрим такую возможность: Вы все-таки слепой, но не знаете об этом, а?..

1-й СЕЛЯНИН — Но я же вижу... Вижу ту же жену. Она уродина, Иван Петрович, поверьте.

ВОЙНИЦКИЙ — Зайдем с фланга. Пусть я — слепой. Сможете ли Вы, зрячий, объяснить мне, что это такое — “видеть”?

ОДИН ИЗ СЕЛЯН — Все дело в женских уловках. Уловка 5 — и — перед вами — Венера. Уловка 14 — и вы видите невзрачное создание, почти дурнушку. Дьявол в мелочах: уголек, немного свекольного сока...

ДРУГОЙ СЕЛЯНИН — Нельзя исключать полностью и такую гипотезу: мы все слепы. А то, что мы называем “видеть” — и есть самая настоящая слепота.

ОДИН ИЗ СЕЛЯН — Смотрите: вот дерево (показывает). Я иду (идет). Вижу дерево, огибаю его, иду дальше. Будь я слеп, я расшиб бы себе лоб, в лучшем случае. Вы же видите, не будьте детьми. Вот я берусь за ручку двери, открываю ее, вхожу в дом. Разве слепой смог бы...

Дверь внезапно распаивается, едва не расквасив селянину нос. Одна из повитух (а их, напомним, там, в глубине лачуги, было ровным счетом шестеро, плюс сын), появляется на секунду, с высоко засученными рукавами, с трудом удерживая в мускулистых руках большой глиняный таз, до краев полный водой, окрашенной в бледно-розовый цвет. Не глядя, выплескивает воду, окатив нескольких зевак с ног до головы и снова скрывается. Брызги долетают даже до оркестровой ямы.

179

ВОЙНИЦКИЙ (отряхиваясь) — Бррр... В ваших, по видимости, безукоризненных, аргументах... (отряхивается)... Мерзость какая... содержится круг...

СЕЛЯНИН — Взгляните на этого умника (смеется) — он, видите ли, видит круг...

ВОЙНИЦКИЙ — Вы сейчас все увидите. Если схематизировать ход Ваших рассуждений, они сводятся, фактически, к следующему: А хочет удостовериться, что Б зряч. Он, по Вашему, может убедиться в этом воочию, “увидеть”, как Вы — вполне симптоматично — выразились, то есть быть зрячим самому. Как А узнает об этом? Нет ничего “проще”, господа: Он должен, так сказать, увидеть, что он видит. Нетрудно догадаться, что для этого ему придется, как минимум, увидеть, что он видит, что он видит. Как минимум. Хотя этого, конечно, недостаточно...

Из ближайшего леса появляется белый единорог и приближается к нашим зевакам, которые, остолбенев и выпучив глаза, таращатся на благородного зверя. Тот приближается, проходит меж расступившихся крестьян и, легко пройдя сквозь стену лачуги, исчезает, к неопишному, смешанному с ужасом, изумлению публики.

1-Й СЕЛЯНИН — Поясню:

жена моя:

1. Нененевежда
2. Неответвляема
3. Необертываема
4. Неогороженна
5. Необдариваема
- 5.1. И неудооварима.
6. Она необеззаражена
- 6.0.0.0.1. Нефренолог
7. Необеззвучена необезземелена необездомлена
8. Она необдернена и необдута
9. Кроме того, она необкроена
10. И необлакомер она.
11. Неоткашляна.
12. Неотучена от мастурбации.
13. Неутла
- 13.2. 0.0.1. Неокуклена
14. Ненеокукла
15. Неквазифизиократ
- 15.8. Неэкзооториноларинголог.
16. Небеспредпосылочна и—
17. Не отлучена от вихря утех.
18. Нефлик-фляк
19. Нефлинтглас
- 19.0.1. Нефлобафен.
20. Необбита.

Не развращена непредумышленно неообскурантами, не предвосхищает щемящий ужас, неоперабельна, не опенок, не опиофаг, не вздута от непризнанности, не отредактирована кувшиннорылыми бумагомарака-

ми, не потрясает неприкрыто-нарциссично реповидными буферами, несведуща в развеске непросохших оттисков, нетривиально не держит сторону жесточайшей несправедливости, не растяжима, как непрестиджитатор, не заискивает у воскового болвана, всегда пососет по-соседски, коллекционирует олигоценовые пуговицы, накоротке со лъстецами, провозвестница цареубийства, разукрашена кришнаитской мишурой, редко кастрирует непокорных.

ревнива

глупа

сластолюбива

труполобива.

ПРОСВЕТАЕН-
НАЯ!!.....
.....

181

Я вожу ее в специальной тачке.

ВОЙНИЦКИЙ (принюхивается) — Господа, господа!.. Вам не кажется, что дым... пахнет паленым...

Над крышей лачуги появляется дымок.

СЕЛЯНЕ — Пожар!.. Пожар!.. (вышибают дверь)

Из двери валит дым, самые смелые устремляются вовнутрь, одновременно раздается крик младенца.

СЦЕНА 4

Усадьба Серебрякова. Вечернее чаепитие на террасе. За самоваром — дядя Ваня, профессор Серебряков, Елена Андреевна — его жена, Соня, Астров, Марина — старая няня, и т.д.

АСТРОВ (Войницкому) — Выспался?

ВОЙНИЦКИЙ — Да... Очень... До сих пор голова кругом ... после всей этой чертовщины...

СЕРЕБРЯКОВ — Ну что-ж Вы хотите, Иван Петрович — Китай, все-таки...

МАРИНА(Войницкому) — Может, водочки выпьешь?

ВОЙНИЦКИЙ — Нет. Я не каждый день водку пью . К тому же душно.

АСТРОВ — А я выпью. В Африке сейчас, должно быть, жаррица, страшное дело.

СОНЯ — Не надо, не надо, умоляю, заклинаю Вас.

ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА — Эта Лао — родила она-таки?

АСТРОВ (протягивает Соне руку) — Не буду больше пить.

ВОЙНИЦКИЙ — Родить-то она родила, да вот загвоздка — младенца не было, то есть его не нашли, сколько не искали. Мамашу кое-как откачали — роды-то были тяжелейшие.

СЕРЕБРЯКОВ — Может быть, всему виной пожар, Вы говорили — там горело что-то.

СОНЯ (Астрову) — Дайте мне слово.

ВОЙНИЦКИЙ — Пожара, Александр Владимирович, тоже не было, горел, на самом деле, студент.

АСТРОВ (Соне) — Честное слово.

ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА — Вы нас с ума сведете, Иван Петрович, какой еще, господи, студент?!..

СОНЯ (Астрову, крепко пожимает ему руку) — Благодарю!

ВОЙНИЦКИЙ — Обыкновенный студент, повитухин сын, такой симпатичный мальчик. Он, представьте себе, сидел там и занимался — писал кисточкой эти свои иероглифы.

АСТРОВ — Баста! Я отрезвел.

ВОЙНИЦКИЙ — Так вот, судя по характеру ожогов, загорелась сначала кисточка — отчего — это уж

Бог ведает — а потом и вся рука занялась, до самого плеча — еле потушили.

АСТРОВ — Видите, я уже совсем трезв и таким останусь до конца дней моих.

ВОЙНИЦКИЙ — Теперь он учится писать левой — упорнейший юноша.

СЕРЕБРЯКОВ (отодвигает стакан с чаем) — Ну, а повитухи-то?..

АСТРОВ (пожирает глазами жену Серебрякова) — Мне кажется, что если бы вот Елена Андреевна захотела, то могла бы вскружить мне голову в один день...

ВОЙНИЦКИЙ — Они были мертвы, все шестеро, как одна, Александр.

завес

*Москва, Крылатское, 03.97.,
Профсоюзная, 03.03.*

к а м у ш е к в б о т и н к е

Арсений Занин

АГРЕССИЯ КАК ВИРУС НАСИЛИЯ: СТРАХ И АНАРХИЯ В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ

«...как бы мы ни пытались протестовать против «президентских каникул» (единственным теперь доступным нам способом — водкой и шашлыками в городском парке) скоро на каждого повесят QR-код, чтобы контролировать и иметь возможность отслеживать наше перемещение. Дело за малым — границы уже на замке. Скоро эти обстоятельства (особенно в нашей стоически-повиновенной стране) примут за фатальную данность. Привыкали ко многому — привыкнем и сейчас. Мы стали так уверены, что завтра точно наступит в любом случае и практически перестали испытывать страх. Потеря близких или собственная смерть — вряд ли. Мы уверены, что наутро конец света обязательно окажется газетной уткой, ведь не за горами то время, когда мы окончательно избавимся от собственного тела...» —

когда полтора года назад я писал этот текст для «Опустошителя #30», эпидемия, которой был посвящен номер, только начиналась. Было ещё непонятно, во что выльется этот «досуг цивилизации», но сегодня мемы про QR-коды уже устарели, а с 27 декабря и вовсе обещают стать обыденной реальностью и очередным поводом проявить затаившуюся у каждого внутри агрессию. Притом, что предыдущие полтора

года пандемии кажется «обнулились», ведь многим переболевшим (в виду переполненности госпиталей и в борьбе за статистику) верный диагноз так и не был поставлен, потому, чтобы получить злосчастный QR-код, теперь необходимо делать прививку. Вакцина уже изобретена, но уровень недоверия (равно как и веры в её «панацейность») чрезвычайно высок и вновь мир стремится разделиться на два враждующих лагеря. Вряд ли это выльется в гражданскую войну, но пандемия уже сделала свое дело. Отныне мы и правда больше не боимся смерти, но и не только потому, что она стала обыденностью, но потому что постоянно находимся в режиме «онлайн». И совсем скоро, возможно ещё при моей жизни, человек окончательно избавится от смертности физического тела и будет существовать в виртуальной реальности текста.

Месяц назад, когда стало известно, что этот номер будет посвящен «Агрессии», вирус наконец-то настиг и меня, так что этот текст — одновременно стал репортажем из эпицентра болезни и исследованием нескольких фильмов очень агрессивного декабря ровно пятьдесят лет назад. Это была точка невозврата, когда чиновники, отвечающие за национальную безопасность при кабинете Никсона, были всерьёз обеспокоены растущими антивоенными настроениями в обществе: *«У нас были два врага — левые пацифисты и чернокожие активисты. Мы понимали, что объявить вне закона цвет кожи или антивоенные взгляды мы не можем, но мы можем настроить общественное мнение так, чтобы хиппи ассоциировались с марихуаной, а чёрные — с героином, затем, криминализовав и то и другое, мы смогли разрушить эти сообщества. Мы могли проводить аресты, обыски, срывать мероприятия и очернять их в вечерних новостях. Понимали ли мы, что мы таким образом лжем о наркотиках? Конечно да, но цель оправдывает средства»* — через три-

дцать лет Даниэль Эрлихман мог говорить открыто, его политическая карьера уже в прошлом, так же как и шестидесятые остались в прошлом. Казалось бы, мир летит навстречу прекрасному глобальному будущему миллениума. Промелькнули ещё двадцать лет и где же оно?

Возможно оно только что закончилось, а мы даже не заметили, потому как думали, так будет всегда... Так же внезапно захлопнулись шестидесятые годы прошлого века, время свободы и надежды. Это случилось на крыше элитной английской школы для мальчиков, когда шестнадцатилетний паренек Мик Трэвис, нашедший в подвале автомат, разрядит обойму в стоящих внизу ненавистных ему старшеклассников, профессоров, директора и епископа, почетных гостей и членов королевской семьи, которые собрались здесь по случаю праздника. Эти выстрелы были выстраданы, ведь на протяжении всех школьных лет все перечисленные умели только унижать и издеваться — старшие над младшими, учителя над учениками — и получать от этого удовольствие, совершенно не стыдясь. Они всячески добивались того, чтобы Трэвис нашёл в подвале заветный ящик, а режиссёр Линдсей Андерсон — того, чтобы мы не понимали, то ли это чёрная комедия, то ли реалистичный призыв к жестокому восстанию. В «Если...» (1968) чёрно-белые сцены чередуются с цветными так, чтобы максимально запутать всех, кто будет пытаться как-либо это трактовать — как дихотомию (мечта против реальности) или диалектику (реальное = воображаемое). Год спустя фильм получит в Каннах главный приз, где история Мика Трэвиса (Малькольм МакДауэлл) будет уже ностальгическим напоминанием о том, как год назад случился месяц май, а цвет воздуха стал красным. И в каждом парижском газетном киоске лежала маленькая книга в чёрной обложке и вопила о том, что мир превратился в театр. Бестселлер той памятной весны — «Общество спектакля» Ги Дебора, и пока молодые гошисты на улицах мешают «коктейли Молотова» и подкуривают

ими гашиш, книга порождает революционную поэзию лозунга: «Освобождение будет тотальным, или его не будет вовсе» или же «Лучшая скульптура — камень, брошенный в затылок мента». Это был большой праздник, который круто подблوماет планы тем, кто не баррикадировал Сорбонну, но стоял у станков и начал эту грандиозную забастовку по вполне себе материалистическим причинам получить справедливую прибавку к зарплате. Времена меняются, мир требует новых условий труда и производства. А книгу в руках студентов раздвигивает на страницы ветер и разносит их по городу, и страницы врезаются в стены, оставляя на них отпечатки граффити: *«Мы не хотим мира, в котором, чтобы не умереть с голоду, приходится по-дыхать с тоски...»* Но родители предпочитают узнавать о творящихся исторических событиях из дневных теленовостей, а их дети и внуки сами пытались творить эту историю на улицах... Это поэзия агрессии и горькая насмешка над годаровским титром из фильма, вышедшего год назад: «Если не можешь достать наркотики — купи себе цветной телевизор».

Год спустя летом 1969 года в Лос-Анджелесе хваленая хипповская «психоделическая революция» обернулась «психической контрреволюцией». Она случилась, когда парочка безмозглых наркоманов пробралась в особняк по адресу Съело-драйв, 10050, чтобы исполнить волю своего вождя и учителя и начертать кровью беременной женщины таинственные слова «Healter Skelter». Чарли Мэнсон описывал этот «Кавардак» как большую войну между черными и белыми, ловко трактуя новый хит четверых парней из Ливерпуля. А парни, когда писали эту песню, знать не знали ни о каком любителе кислоты и ножей, а просто настолько остерчтели друг другу, что оказались втянутыми в истерический процесс распада самой знаменитой и популярной группы 60-х. То, что «The Beatles» больше не существуют, выглядело грандиозной катастрофой и давало возможность для спекуляции психопатам подобным Мэнсону, но в этот момент среди чёрных му-

зыкантиов нашёлся тот, кто сам того не ведая, смог ответить и противопоставить агрессии, исходившей от трактовки Менсоном песни «Helter Skelter», — создав действительно великий психоделический альбом эпохи. В конце августа 1969 года на следующее утро после окончания грандиозного фестиваля Вудсток на студии фирмы «Columbia Records» на Манхэттене группа трубача Майлза Дэвиса готовилась произвести музыкальный эксперимент, результатом которого станет двойная пластинка «Bitches Brew» («Сучье Варёво»). За пару недель до этого на полки музыкальных магазинов поступила другая новинка Дэвиса «In A Silent Way» — этой пластинке ещё только предстоит стать революционным фьюжн-альбомом и первой в ряду великих записей Дэвиса этого периода, когда каждая становилась вдохновляющей на новые поиски стиля в джазовой музыке. Альбомы Дэвиса к этому времени выходят два раза в год, но тем не менее, как он вспоминает, *«джазовая музыка засыхала на корню, и по сравнению с тем, как продавались пластинки Боба Диллана или Слая Стоуна, — мои совершенно не продавались»*. И для того, чтобы найти путь к новой молодой аудитории, предпочитающей электрические инструменты и мощь рок-музыки, он готовится совершить смелый шаг, который, казалось, окончательно разорвёт его с джазовой традицией. Группа музыкантов, которых в процессе репетиций постепенно добавлял в свой оркестр Дэвис, пришла на студию и в течение нескольких дней импровизировала в рамках задаваемых «руководителем» смены аккордов. Считается, что «Bitches Brew» разделило мировую музыку на «до» и «после» — и тогда было окончательно провозглашено: *«джаз мертв, да здравствует рок!»* Но музыка Дэвиса это не рок, это свободная модальная структура, «грёмучая смесь», где аккорд переходит в аккорд, будто бы на «рельсах» из пульсирующей связки ударные-бас. Это давало возможность всем участвующим в записи музыкантам максимально раскрыть звучание инструментов и получить очень плотный материал, который с

помощью звукового монтажа возможно было превратить в единое целое. Альбом монтировал продюсер этой записи Тео Массеро. Вместе с Дэвисом из много-часовых он склеил произведение, имеющее очень жесткую форму и напоминающее скорее о классической форме сюиты, нежели альбома какой-нибудь психоделической рок группы.

Майлз Дэвис тогда очень сожалел, что на этих сессиях в августе 1969 не догадался снять своих музыкантов на видеопленку. Вероятно, будь он знаком с Жан-Люком Годаром, кино получилось бы не хуже чем «1+1: Симпатия к дьяволу», которую два года назад он делал с участием «Роллинг Стоунз», но Годар теперь стремится «снимать политическое кино политически» и в любом случае их сотрудничество не могло состояться ни при каких обстоятельствах. Тем не менее процесс работы над альбомом удивительно напоминает способ создания фильма, впервые предложенного именно режиссерами «Новой волны»: у Дэвиса не было партитуры, но был только «сценарный план», который смог сложиться в готовое произведение только на монтажном столе. В итоге за несколько месяцев после выхода «Сучьего Варева» было продано почти миллион копий пластинки (она успешно переиздается едва ли не каждый год), и переворот, который ей было суждено про-извести в музыке, станет неожиданностью для всех, кроме автора. Дэвис давно привык делать записи, которые открывали новые горизонты в импровизацион-ной музыке. Следующий же свой альбом в 1971 году он запишет таким же большим составом (который на-зывал не иначе как «Величайший рок-н-рольный бэнд»), это будет саундтрек к документальному фильму о боксере «Джеке Джонсоне». И здесь уже не будет никакой психоделии, только пульсирующий фанковый гитарный ритм и труба, которая, словно кулаками в боксерских перчатках, станет выбивать агрессивные звуки.

В декабре того года практически одновременно на экраны вышли «Соломенные псы» Сэма Пекинпа и

«Заводной апельсин» Стенли Кубрика, два главных фильма о том, как агрессия порождает насилие. У Пекинпа история про астроматематика мистер Самнера (Дастин Хофман), который пытается уединиться в фамильном доме жены-англичанки, чтобы поработать над научной работой о звёздных структурах, но вынужден взяться за ружье и отстреливаться от пьяных реднеков. Он нанял соседей перекрыть крышу, а они задушили его кошку, изнасиловали его жену и в довершение ко всему застрелили местного шерифа, приехавшего навести порядок. Дэвид Самнер попытался скрыться от бесконечных споров по поводу войны во Вьетнаме, он ненавидит университетских интеллектуалов, которые абсолютно не понимают, что такое на самом деле война и как она способна отпечатываться на последующих поколениях. Самнер пытался сбежать от разговоров о современном насилии и размышлять о звёздах и будущем у камина в маленькой английской деревне, но теперь его хотят убить, просто потому, что он чёртов американец и чужак, а к тому же еще и занимается какой-то совершенно непонятной им ерундой. Так очкарик, который никогда в жизни не держал в руках ружье, оказывается способен выстрелить в человека. Это был первый фильм Пекинпа о современности, и чтобы понять, как ему перейти от вестернов к реальности нового десятилетия, ему было необходимо отправиться за океан. Эпоха детей-цветов закончилась, да и то она была лишь там, где о войне никогда не знали. Здесь же каждый сосед вырос с отцом-алкоголиком с изуродованной войной психикой. Они выросли в пабе, где у стойки царит тихая агрессия волков, и они накидываются все вместе вискарём, а потом выходят на улицу и крушат всё подряд. Здесь просто больше нечем заняться. Конечно же, в Великобритании вскоре после выхода фильм ждал запрет. Но с этого момента на экранах всего мира насилие стоит на страже закона — и на экран заступает бравый калифорнийский детектив Гарри Каллахэн, который предпочитает с жуликами не церемониться и

просто вышибает им мозги любимым “Магнумом”. И если его чернокожий ровесник детектив Шафт из главного «блэксплотейшн» боевика года ещё имеет какие-то принципы, то Грязный Гарри просто-напросто «обыкновенный фашист» — как уколола Клинта Иствуда Паулина Кейл, ведь она тоже выросла в Сан-Франциско и твердо усвоила мамин урок: если что-то случится, никогда не звони в полицию.

1971-й год в Великобритании завершался трагически. Последствия декабрьских терактов в Северной Ирландии в Белфасте станут видны уже через два года: более пятисот погибших в результате жестоких уличных стычек и взрывов в общественных местах, отсчет которым был положен 4 декабря, когда в белфастском пабе «Макгёрк» сработало самодельное взрывное устройство, в результате чего погибло пятнадцать человек. Началась настоящая гражданская война: католики и протестанты, лоялисты и республиканцы — внезапно разрывающее этот город глубокое противоречие вышло на поверхность и стало стимулом к выплескам агрессии. Нередко это всё замешивалось на футболе, и в дело включались хулиганы (само это слово в XIX веке, по легенде, произошло от Патрика Хуллгэна, особо буйного фаната этой новомодной игры в мяч). Как и сторонники сепарации, так и присягающие на верность королеве гнули свою кровавую линию, стремясь втягивать в это как можно больше мирного населения. Брали жестяную коробку из-под апельсинового печенья, насыпали внутрь болты и шарики от подшипников, укладывали тротилловую шашку и подключали к заводному будильнику, а потом — забывали свой десерт в баре. И когда случайно зашедшему сюда работяге придёт время пойти домой спать перед утренней сменой, то под стойкой внезапно зазвонит будильник и разорвёт всех вокруг на части. Благодаря современному расследованию считается, что бомбу в пабе «Макгёрк» заложили боевики Ольстерских добровольческих сил (выступающие за сохранение Северной Ирландии в составе Великобрита-

нии «Протестантская Группа Действия»). Однако на протяжении многих лет официальная версия гласила, что террористами были католики из IRA (Ирландская Республиканская Армия) и просто ошиблись баром. Тот момент, когда религия становится прикрытием для легализации насилия. Внезапные акты убийства мирного населения (как предпочитали ольстерцы), чтобы поддерживать уровень страха и недоверия у населения или же игра в «кошки-мышки» с полицией — с предварительными звонками и предупреждением о готовящемся теракте. Ну и на войне, как известно, все средства хороши: дискредитация и дезинформация, провокация, донос, предательство — до сих пор истинные виновники многих терактов так и остались неизвестными...

Наступали «Свинцовые времена» и вскоре по всей Европе прокатится волна террористических актов, совершенных всевозможными идейными группировками. И вышедшие на экраны в том декабре фильмы по уровню жестокости не уступали происходившему на улицах. Когда десять лет назад смертельно больной коллега Джеймса Джойса Этони Бёрджесс приступал к роману «Заводной апельсин» (1962), ему вряд ли пришло в голову, что пройдет каких-то десять лет и безымянный город в его романе окажется где-то неподалеку от Белфаста: *«Знакомьтесь, Алекс, простой родstock из небольшой серой дистопии. Он дитя бетонных многоэтажек, набитых до отказа тупыми и толстыми гыбату, lewdieshkaty которым друг на друга plevatt хотелось с высокого этажа. Эти дома как коробки, где уже взрослеют maltchiki похожие на спички. Едва чиркнёшь — ярко вспыхивают, обжигают пальцы, а потом мокнут горелые в грязной луже»*. Бёрджесс писал злой молодежный роман, чтобы тот какое-то время продавался и после его скорой смерти принёс жене с дочкой небольшой доход.

«Заводной Апельсин» стал романом-воспитанием о сверхчувствительном юноше, который теряет rassoodock от старого доброго Людвиг Ванна: *«Таких как я*

когда-то sockney придумали называть "clockwork orange" что означает что-то вроде bezoomny chelovek, не рохоjiу на других, одним словом — vytychny, не знаю как точнее vyrazyt... И вот такой сочный frukt становится настолько чувствительным от звуков «Девятой симфонии», что внутри его zakipaeт кровь и хочется rezatt и ubivatt всех подряд!» И Алекса ждут испытания: zaklytchenie, затем letchenie, а после — удивительное preobrazhenie, и благодаря революционному методу Людовико он узрит, каким был plohim maltchikom и из negodyaja и podlezza — станет тише vody ниже travy, смиренней agnza. Одна вот beda ждёт паренька — старый добрый Людвиг Ван теперь вызывает ужасную toshnotu и rvotu. И тут внезапно окажется, что весь этот час мы сидели рядом с нашим милым droogom Алексом и вместе smotreli киношку о его жизни, и нам даже не понадобились расширители, чтобы uvidett как весело он делает dratching и krasting. Но не забывайте, что все это время вы сидели с Алексом рядом, а он — idealny злодей, bezoomney лишь Норман Бейтс, но и его Хичкок побоялся сравнивать в открытую с вами, сидящими в зале, а с Алексом такое уже не пройдёт — вы точно такие же, как он: *«Вы nepavidete меня и с удовольствием поджарили бы на электрическом stule, но больше никогда не smojjete без содрогания услышать (отныне только мою) песню: 'I'm singin' in the rain... Just singin' in the rain! What a glorious feeling i'm happy again...'»*

Алекс, на самом деле жил неподалеку от «Кировского завода» на Автовской улице, у него когда-то «вписывался» герой Бёрджесса в своём автобиографическом романе «Клюква для медведей». В Ленинград они ехали с женой как туристы и чтобы «фарцевать» дешевыми платьями. А потом его жена попадёт в советскую больницу, а он сам без копейки денег окажется бомжом на рабочей окраине города и тут ему встретился Алекс. Тот преспокойно себе служил в Эрмитаже и одновременно лихо заправлял теневой экономикой города на Неве. Именно его вспомнит писатель, когда после по-

ездки ему поставят неутешительный диагноз: *rak mozga*. Когда же Бёрджесс закончит свою наполненную злостью и агрессией книгу и отпустит повзрослевшего отморозка Алекса в реальный мир совершенно обычным человеком, окажется, что никакой опухоли больше нет. Она вся ушла в текст и растворилась, как тяжелый кошмар о том, как его молодую жену во время войны изнасиловали четверо моряков (жена так и не пережила это событие и в 1968-м году умерла от цирроза печени, вызванного многолетним алкоголизмом). К 1971-му же году писатель и думать забыл об Алексе и когда узнал, что Стенли Кубрик экранизирует его роман, не придавал этому никакого значения. Ему уже не принадлежали права, он и думать забыл, что даже когда-то сам сделал инсценировку, но фильму с участием «Rolling Stones» так и не суждено было состояться. В итоге, как мы знаем, у Кубрика получилась настоящая *arру polly loggy* вируса, заражающего бессмысленной агрессией и страстью к насилию. Кубрику тогда досталось и от острого пера Полин Кейл, её рецензия «Стенли Стрейнджлав», вышедшая в первое похмельное утро нового 1972 года, напрямую называла Кубрика порнографом: *«Он пытается разыграть резкие сцены насилия, тщательно отдаляя нас от жертв, чтобы мы могли наслаждаться изнасилованием или дракой. Но мне кажется, что у человека гораздо больше шансов испытать антипатию к фильму, нежели ужас или удовольствие от насилия. В нём у Кубрика нет ни чувственности, ни жестокости — с первых же кадров насилие творится с холодной жестокостью и выверено так педантично, что оставляет в смятении, заставляющем иных стремглав бежать без оглядки из зала...»*

Ответ от «сбежавших из зала» не заставил себя долго ждать, и Кубрика начнут терроризировать ночными звонками, в результате чего всего два года спустя он снимет фильм с проката в Великобритании, и до смерти режиссера ни разу его так и не покажут официально. В США же «Заводной апельсин» быстро ста-

новится культовым, а вслед за этим приносит огромную прибыль. Вскоре и Бёрджесса тоже стали донимать доброжелатели внезапными звонками и беседами относительно «уровня жестокости» главных героев его романа, а порой и прямыми обвинениями писателя в том, что «Ваша книга о юношеском неповиновении авторитетам, а мы тут такого не любим!» Сходя в кино, писатель с ужасом осознает, что Кубрик превратил его роман в басню, поскольку взял за основу американскую версию «Апельсина». Дело в том, что его американский издатель ещё десять лет назад напечатал роман без последней XXI главы, которая по замыслу Бёрджесса рассказывала о взрослении его героя. Так в предисловии к изданию полной версии романа в США (1987) он пишет: *«Когда художественное произведение говорит о том, что человеческий характер заострился и неизменен, то вы выходите за пределы романа и обращаетесь к басне. Это не просто желание показать «лучик надежды», но следование жанру. «Американский апельсин» или «кубриковский апельсин» это басня, британский или мировой — роман. По сути, мой редактор, а вслед за ним и Кубрик показали, что человек может быть носителем необратимого зла и не способен к изменению. Так американцы оказываются жёстче британцев и всего остального мира, и не способны смотреть правде в глаза. Скоро они столкнутся с этим во Вьетнаме. Моя книга была кеннедианской и принимала идею морального прогресса. Что действительно было нужно Кубрику? Никсоновская книга без малейшего оптимизма в конце...»*

Постепенно бурные споры о насилии вокруг картины сойдут на нет, и фильм неизбежно займет почетное место — сперва в списке «культовых лент», а затем и в разделе «классики». Что же действительно интересно в рецензии Кейл на фильм Кубрика, то как она напропалую называет Алекса и его банду «панки». И действительно, пройдет пять лет, и персонажи Бёрджесса внезапно станут реальностью, а с кораблика по Темзе разлетится юбилейный гимн: *«Воје храни Korolevi, и её*

fashistky rejim, y nas nem budushego, my — цвeты из musorki, яд в теле человечества, мы — будущее, ваше будущее, kozly vonychie!». Джонни Роттен, в отличие от своих темного gloopy коллег по «Sex Pistols», был парнем начитанным, и если все как один назовут единственную «вдохновившую панк» книгу — «Заводной апельсин», то он согласно характеру конечно назовёт другую — «Брайтонский леденец» Грэма Грина. Но фильм Кубрика точно успеет стать в Лондоне культовым, ведь все будущие панки ходили на него в кино, несмотря на то, что когда фильм запретили, всем было максимум лет по пятнадцать. Или же где-то фильм демонстрировался подпольно, вопреки запрету режиссёра. Пройдёт еще пара лет, и в Британии появится свой ответ «Заводному апельсину» — фильм Дерека Джармена «Юбилей» (1978), как последний патрон в этой декаде насилия. Страна в руинах, идет бесконечная бойня, где каждый воюет сам за себя и за любимые таблеточки «Мандрекс», а люди продаются так же легко, как музыкальные пластинки. Это будут воспоминания Джармена о собственном детстве в английской закрытой школе, где будет всё то же старое доброе ультранасилие, издевательства, но дружба на всю жизнь и осознание, что человек имеет право быть каким угодно, лишь бы это его не ограничивало. Так два фильма об агрессии подростка обрамляют это десятилетие. Через год к власти придёт Маргарет Тетчер и окажется, что это было ещё не дно и Великобритании есть куда тонуть. Продолжение точно следует.

Возможно ещё при моей жизни, человек сможет преодолеть конечность физического тела и сможет существовать в виртуальной реальности текста. И стремительно отрывающийся от «физического тела» мир (где я — анонимный ноунейм, не несущий никакой ответственности за свои слова) проявляет прежде всего деструкцию, и любая дискуссия в социальных сетях

обязательно заканчивается проявлением агрессии к виртуальному оппоненту, а в таком случае зачем же вообще о чём-либо вести разговоры? И так мы заперлись в своих тёмных комнатах и смотрим на мир через окошко наладонных компьютеров, но страх и тревога повседневности всё равно никуда не исчезает, а наоборот словно бы усиливается. И теперь точно ясно: революции больше не будет, как и какой-либо классовой борьбы, потому как непонятно — кто кого угнетает. Законодатели и оппозиция запросто могут оказаться одними и теми же людьми, просто зарегистрированными с разными никнеймами. Десятые годы кончились. И тут начинает казаться, что свобода, данная нам в начале тысячелетия вместе с изобретением глобальной сети, породила реакцию, когда нас, свободных информационно, всё ещё пытаются сдерживать физически и словно готовятся заново опустить железный занавес. К чему это приведёт нас дальше? Всё вдруг стало казаться, как любил выражаться писатель Киалгор Траут, очень «тухло и дохло». Когда-то в 1997-м году его роман «Времятрясение» рассказал, что в 2001-м мировой пространственно-временной континуум внезапно окажется нарушенным и весь мир отбросит на десять лет назад, так что последующие годы все будут вынуждены проживать собственную жизнь заново, будто на автопилоте. Именно это состояние времени фантаст-аутсайдер и назвал «тухло и дохло», а когда в 2007 году умер создатель Траута писатель Курт Воннегут — «Времятрясение» случилось вправду, по крайней мере, на одной шестой части суши вокруг Москва-сити, где внезапно всё сделалось очень тухло и дохло. Изобретение высокоскоростного интернета, открытие платформы YouTube, глобальный финансовый кризис или «рокировка» правительства — для каждого это времятрясение стало чем-то своим, но итог везде одинаковый: «На вопрос, как дела и здоровье, отвечаю: сам так и живи. Москве не хватает крови. Москве не хватает любви!» — как верно однажды подметил Сантим из «Банды Четырёх». Сейчас эти строки уже

заставляют содрогаться: как бы ни привлекли по статье за экстремизм. Всё это «бычий бизнес» и если виртуально мы действительно остаемся свободными (и в битве Тог и «Роскомнадзора» всё предрешено), то телесно проданы в рабство, а страхи и тревоги никуда не деваются и порождают агрессию, которая, отражаясь от стен, возвращается обратно в виде аутоагрессии. Мы оказываемся запертыми в границах своих стран, своих комнат, своих QR-кодов. Короткое замыкание. Так наступают двадцатые годы нового тысячелетия и возможно это их отличия от предыдущего десятилетия. В невозможности выплеснуть накопившееся внутри нас напряжение, ощущение, что жизнь вокруг замерла и на дворе ледниковая эра, а сколько должно пройти времени, чтобы тут что-то изменилось в лучшую сторону — неизвестно. Ни за десять, ни за двести лет.

Вадим Климов
**МЕРТВАЯ МАТЬ И ОДИНОЧЕСТВО
ЙОРГОСА ЛАНТИМОСА**

Я поднялся в трамвай, встал у окна напротив дверей и сразу услышал его... В голове вагона сидел молодой человек и громко разговаривал по телефону. То, что это молодой человек, я понял по голосу и интонациям, потому что лица не было видно.

Он импульсивно оправдывался за какие-то недавние проступки, совершенные в пьяном виде. На другом конце его не понимали, он отчаянно спорил, срывался, убеждал собеседника, что любой, особенно совсем юный человек, имеет право на ошибку — так он познает мир.

Полностью сосредоточившись на разговоре, он совсем не обращал внимания на других пассажиров. Которые не особенно-то и возмущались, тронутые столь искренним раскаянием, еще и сдобренным скрупулезным восстановлением постыдных деталей.

В какой-то момент он назвал собеседника — оказалось, что все это время он разговаривал с мамой. Последовали подробности совсем бытовые, далекие от пикантных откровений, но пассажиры окончательно размякли: блудный сын просит прощения у матери.

Сцена длилась довольно долго. Трамвай потихоньку пустел. Когда пассажиров почти не осталось, вышел и он. Я заметил его уже на улице. Снова со скрытым лицом, теперь из-за капюшона, но по сложению и походке определялся далеко не юнец, скорее мужчина средних лет.

Так значит, это был всего лишь розыгрыш? Почему бы и нет...

Подобную сцену можно запросто представить в фильмах Йоргоса Лантимоса. Герои его картины «Альпы» занимаются тем, что заменяют семьям потерянных близких. А здесь, в московском трамвае, жертва утраты и ее замена объединились в одном человеке.

Можно выразиться точнее. Мужчина потерял мать, но так и не смирился с этим. В порыве тоски он разговаривает с ней по телефону, обретая ушедшую родительницу в беспокойном присутствии слушателей.

Одиночество, горечь утраты, поиск замены, которая хотя бы на время позволит забыть в игре... Таков психологический контекст людей, с которыми работают участники группы «Альпы». Ключевым мне здесь видится именно одиночество — тема, которую Йоргос Лантимос педалирует практически в каждом фильме.

В качестве антипода такого подхода вспоминается картина Урсулы Мейер «Дом». Швейцарский режиссер показывает счастливое семейство, рассыпающееся из-за запуска автобана, на обочине которого они живут. Чтобы удержать всех вместе, отец идет на отчаянный шаг и замуровывает семью в доме.

Возможно, именно с такой версией помешательства я и столкнулся в трамвае. Мертвая мать, засевшая в голове сына, словно заноза. Они вместе замурованы в его сознании, которое время от времени выдалбливает пару кирпичей, чтобы подышать свежим воздухом чужого внимания.

Мать могла умереть много лет назад, поэтому мужчина имитирует юношу: он воссоздает ситуации, имевшие место, пока она была жива. Не найдя добровольных помощников из группы «Альпы», мужчина ищет замену внутри себя. И чем скандальнее ситуация, которую он реконструирует в телефонном разговоре, чем больше она завладевает вниманием слушателей — тем глубже погружение в игру, тем ярче воспроизведенный образ.

Что есть одиночество, как не форма свободы? Утраченные связи раскрепощают, только это не прино-

сит облегчения, скорее наоборот. Но это и есть свобода — свобода в вакууме.

Отец в «Доме» Урсулы Мейер помещает семью в настоящую, не метафорическую, тюрьму, где даже дышать не получается. Так понятое «вместе» приравнивается к несвободе. Но ведь то же самое делает и трамвайный пассажир, замуровывая копию матери в своем сознании. Мать и сын в такой же герметичной капсуле, что семья у Мейер.

Герои Йоргоса Лантимоса почти всегда одиноки или боятся остаться одни. В попытке преодолеть свой страх они затапливают себя в совершенно дикие условия, связывающие их по рукам и ногам. Одиночество — это не просто свобода, но такая ее форма, которая подходит далеко не каждому. Я бы даже сказал: практически никому.

В фильме «Лобстер» одиночество проделывает сложнейшие кульбиты, обращаясь в свою противоположность, чтобы затем снова предстать в исходном обличье. Озабоченное искоренением разобщенности общество отправляет одиноких людей в специальные пансионаты, там они должны найти себе пару. Вычурная искусственность происходящего толкает главного героя к бегству, и он оказывается по другую сторону баррикад — среди партизан-одиночек.

Но и здесь все пронизано ограничениями, никакой свободы. Какая может быть свобода в *коллективном одиночестве*? Любопытно, что именно здесь герой и находит себе пару. Однако подобное строжайше запрещено, поэтому они вынуждены бежать из леса — чтобы затеряться в городе.

Это любопытный маршрут, ведь именно в городе расцветает одиночество. Чем больше город, тем больше отчуждение жителей, которые незнакомы здесь почти ни с кем, даже со своими соседями по этажу, они с трудом узнают домочадцев...

Мегаполис синонимичен разобщению, это противоположность маленьким компактным поселениям, вроде того же партизанского отряда одиночек, где все

друг друга хорошо знают. Но спрятаться от тесно переплетенных отшельников можно только в огромном городе, где живут семьями и никому нет дела до другого.

Так же и мой трамвайный попутчик вынужден вылезать на публику, чтобы побыть наедине с умершей матерью. Иначе... Что происходит в голове мужчины, когда он говорит не в слух, а обращается к матери непосредственно?

Возможно, они оба начинают покидать этот мир, мертвая мать и скорбящий сын. Как в «Доме» Урсулы Мейер: герметично укрытые от шумного автобана и всего остального мира, члены семьи мгновенно утратили интерес друг к другу и разбрелись по комнатам, чтобы тихо умереть от удушья.

...Трамвайный пассажир бредет по заснеженной Москве, неся в голове копию мертвой матери. Ей тревожно за непутевого сына, способного утопить любое начинание в вине. Но и сыну беспокойно, потому что он не знает, сколько выдержит без посторонних, наедине с колючей копией.

Он заходит в свой подъезд, поднимается на свой этаж, открывает дверь в свою квартиру... Тридцать лет назад они жили здесь вместе с мамой, а теперь... В общем-то не особо что-то и изменилось. Он снова с мамой. И сейчас самое время с ней поговорить...

Алексей Лапшин
КОПЫТОМ В СМЕРТЬ

«Копытом сюда, копытом туда» Веры Хитиловой. В свое время, где-то в начале нулевых, меня этот фильм оставил равнодушным, скорее с негативным оттенком. Тогда я отнёс его к категории «перестроечного» кино, близким по духу к позднесоветским картинам с их надрывными и одновременно китчевыми разоблачениями сощдействительности эпохи упадка. Мне показалось это откатом назад в пользу политической конъюнктуры. Ведь восточноевропейское кино, в особенности польское и чехословацкое, и до начала «перестройки» развивалось достаточно свободно. Чехословацкая «новая волна» вызывала серьезный интерес и получила признание далеко за пределами страны. И хотя после событий «Пражской весны» часть лидеров «новой волны» — Милош Форман, Войтех Ясны, Иван Пассер эмигрировали на Запад, традиции, заложенные в шестидесятые, не угасли. Вера Хитилова — одна из ключевых фигур всего восточноевропейского кинематографа, никуда не уехала и продолжала держать высокую планку. Держала и даже подняла эту планку она и в «Копытах», как я убедился спустя годы.

Здесь следует немного отвлечься и уточнить, насколько вообще правомерно разделение европейского кино на западное и восточное. Никто не сомневается, что существуют национальные кинематографы, но почему мы проводим культурологическую черту между целыми частями Европы?

Разделение, безусловно, существует, и корни его гораздо глубже противостояния политических блоков периода холодной войны. Территория Восточной Европы несколько веков была объектом экспансии и ко-

лонизации со стороны Запада. На определённом этапе к экспансии подключилась и Россия. Под каток так называемых великих держав попала и неудавшаяся империя Польша. В результате культура восточноевропейских народов стала восприниматься как нечто провинциальное и вторичное по сравнению с метрополиями. Проблема в том, что и в самой Восточной Европе большинство постепенно стало ощущать себя провинциальным. Всё это, конечно, глубоко несправедливо, поскольку многие национальные таланты не реализовались или остались на периферии из-за политического и культурного империализма, которые всегда идут рука об руку. Если каким-то личностям или культурным явлениям, появившимся в имперских провинциях, удавалось выйти на первый план, то на это в метрополиях смотрели как на экзотику.

Так же в двадцатом веке обстояло дело и с европейским кинематографом. Да, восточноевропейские мастера получали известность и на Западе, и в СССР, но всё равно оставались где-то на втором плане. И причина здесь далеко не только «железный занавес». Ситуация стала несколько выравниваться лишь в последнее время, но всё равно, для того, чтобы продвинуть свои проекты, режиссёры передвигаются с Востока на Запад.

Однако вернёмся к Вере Хитиловой. Фильм «Копытом сюда, копытом туда» был снят буквально накануне «бархатной революции» 1989 года. Вскоре с властью компартии и зависимостью Чехословакии от Советского Союза будет покончено. Президентом страны станет литератор и бывший диссидент Вацлав Гавел. А через несколько лет Чехия и Словакия окажутся уже отдельными государствами. Но герои фильма Хитиловой ещё ничего об этом не знают.

Трое молодых людей ведут самый беспечный образ жизни. Пьянство, промискуитет, бесконечные розыгрыши друг друга. Хитилова, кстати очень остроумный человек, отлично чувствующий среду. Происходит всё это веселье внутри одряхлевшей, утратившей

смыслы и веру в себя социалистической системы. Ограниченные, но в общем незлобные бюрократы, формальные собрания со скучающими лицами, вороватые торговые работники, придурковатые блюстители нравов молодёжи — вот социальный фон фильма.

Веселье весельем, но при ближайшем рассмотрении характеры у друзей оказываются разные. Неутонченный балагур и дамский угодник, режиссёр Франтишек, не забывает строить карьеру, причём самым конформистским способом. Ветеринар Дедек — «очень любит животных» — просто плывёт по течению. Самым проблемным и драматичным персонажем, переживающим внутренний конфликт с окружающим миром, в итоге становится, казалось бы, наиболее беспечный и циничный герой — ревизор Пепе. Именно он и заболевает спидом.

По ходу сюжета разгулявшаяся компания молодых людей «прикола ради» сдаёт анализы крови. Среди сдавших ближайшие друзья и подружки Пепе, который лежит в больнице без чётко определённого диагноза. Известие о том, что среди анализов обнаружен спид, обрушивается на них железным молотом. Болен, конечно, Пепе, но, поскольку в компании царил промискуитет, болезнь подозревают у себя все.

Спид у Хитиловой вовсе не выступает как некая кара за разврат. Никакого морализаторства. Смертельная болезнь здесь грозная печать рока, от которого «никуда не убежать, никуда не спрятаться». И что такое перед этой печатью вся эта житейская и социальная суeta, все эти «ждущие своего часа», якобы, новые прогрессивные люди. Маски, которые считали своими подлинными лицами сами их носители, сброшены. Остались животный страх смерти и эгоизм в самом откровенном виде. Кто-то теряет честь и достоинство полностью, кто-то пытается держаться, но потом всё равно срывается. Достойно ведёт себя лишь обречённый Пепе. То ли он уже чувствует прикосновение чего-то иного, то ли устал от пустоты жизни. И никакие из-

менения социальных формаций здесь не помогут. Тем более, что прогресс человеческой личности иллюзорен.

Так, совершенно по-новому, осмыслил я этот фильм Веры Хитиловой полтора десятилетия спустя. «Копытом сюда, копытом туда». Копытом в смерть.



Вадим Климов
**МЕДИЦИНСКАЯ АГРЕССИЯ
ШЕСТЬ КАДРОВ ПАНДЕМИИ**

30 марта 2020

Пандемия COVID-19 напоминает «Дневники странной войны» Жан-Поля Сартра. Война без единого выстрела, без тактических маневров, ранений и смертей, напоминающая поездку в летний лагерь полководцев французских буржуа, каникулы за городом.

Я не знаю ни одного заразившегося. И мне не рассказали ни об одном знакомом заразившемся. Возможно, где-то вдалеке они и существуют, но боятся эпидемии прямо здесь, прикрыв перекошенную физиономию респираторной маской.

Наставления врачей самые что ни на есть конкретные: мыть руки, проветривать помещения, пить воду. Как будто в другое время они не советуют ровно то же. Интересно, как проветривание помещений сочетается с рекомендацией заткнуть индивидуальную дыхательную систему повязкой? То есть проветривать снаружи, а вокруг себя обеспечить зловонную спертость, идеальное место для болезней?

Информационное общество с припадками и истериками по любому поводу напоминает огромный панельный дом с кошмарной звукоизоляцией: соседи прекрасно осведомлены о любых жизнепроявлениях друг друга. Причем, чем омерзительнее эти проявления, тем лучше их слышно.

Мы все боимся, но с трудом понимаем чего именно. Раньше для достижения подобного состояния

смотрели фильмы ужасов, теперь достаточно увидеть лицо соседа.

13 июня 2020

Когда-то художник Петр Павленский влюбил в себя протестные массы соотечественников хлесткими уличными акциями, в которых повергал режим при помощи нанесения себе увечий: выдавливал из себя Путина по капле.

На всякий случай акционист даже зашил рот, чтобы остроту художественного высказывания не ослабляла банальная речь. Но потом зачем-то издал какие-то невнятные объяснения, которые мало что прояснили.

Павленский протестовал не только против диктатуры Путина, но и против «разрозненных слипшихся тел» обывателей. Когда акционист эмигрировал из России, обыватели-оппозиционеры его проклинали, потому что вести себя подобным образом в приличных странах недопустимо.

И тут начался грандиозный перформанс COVID-19, расставивший все на свои места. Вряд ли, прибывая мошонку к Красной площади или валяясь в мотке колючей проволоки, Петр Павленский мог исправить природу человека. Его антропологическая одиссея была изначально обречена на провал.

Но то что не удалось одиночке с успехом претворило проведение. Планетарная пандемия отлепила тела обывателей друг от друга, снабдила «социальной дистанцией» и одновременно объединила их. «Мы вместе» — едва ли не самый распространенный слоган самоизолированных страдальцев, избегающих не только людных мест, но вообще любого несанкционированного контакта.

Другой — теперь не просто другой, он прежде всего представляет смертельную опасность. И даже несмотря на это вы вместе, потому что вы для него — не

меньшая опасность. «Мы вместе, потому что на расстоянии».

Пионер Павленский добился всего чего хотел, только для его триумфа пришлось вмешаться высшим силам. Это ли не торжество художника!..

20 ноября 2020

Какую бы стратегию преодоления пандемии не предложили, она будет лучше того плюралистического щибета, в котором погрязло все вокруг. До недавнего времени медицина еще оставалась в числе областей свободных от демократической рефлексии. Мнение специалиста разводилось с суждением дилетанта, который вправе был выбирать доктора, но не мог вмешиваться в его курс лечения.

COVID-19 снял и это ограничение. Отныне медицина, как любая другая область, разбита на крошечные фрагменты, из которых каждый вправе сложить все что захочет. Пандемия это и есть свобода в дистрибуированном виде. Самый чистый образчик свободы явился в мир благодаря страху.

Всем известно, что испуганным человеком легко управлять. Только что это меняет? Бояться все, но управляют не тобой, а другими — жертвами противоположной точки зрения. Это они ошибаются, потому что напуганы. А ты как бы то же напуган, по крайней мере раздражен, но уж точно не подвержен манипуляции. Ты всегда сам по себе, в отличие от остальных.

Это и есть предельное падение мысли, не позволяющее взглянуть на мир и самого себя критически.

Происходящее в 2020-м есть очередная глава раскрепощения индивида, его превращение в полное ничтожество, судящее обо всем, не имея для этого никакой квалификации. Свободные индивиды — это разрозненные перепуганные насекомые, давящие друг друга и не замечающие ничего, кроме самих себя. А

теперь не замечающие вообще ничего, кроме собственного страха.

Fun Fun Fun современного мира.

19 июня 2021

Раскрепощение маленького человека и информации привели к забавному эффекту, когда этот социальный лилипут окончательно запутался и перестал верить даже самому себе. COVID-19 явно высвечивает охвативший человечество кошмарный скепсис, это не просто пандемия, но пандемия всеобщего недоверия.

1. Большинство вообще не верит в вирус, а если и верит, то считает его не опасней многих других заболеваний.

2. Из тех, кто все же опасается заразиться COVID-19, большинство не верит ни в вакцины, ни в профилактические меры.

3. Из тех, кто верит в вакцинацию, большинство не доверяет конкретной вакцине, используемой в их регионе.

4. Из крошечного остатка отдающих себя на поручи докторов и ученых большинство настолько измучено страхом заболеть, что уже не верит в жизнь. Этот остаток и есть остаток витальности, итог трех столетий Просвещения.

Смысл и воля противостоят свободе. Чем больше первых, тем меньше последней. И наоборот. В неожиданно опустившихся сумерках мы не видим ни смысла, ни воли — одну голую свободу. Свободу бояться и умереть от своего страха.

15 июля 2021

Полтора года мир сотрясает COVID-19 — вирус в самом широком понимании: от биологического до информационного. Полтора года паники, невразумитель-

ных действий, алогичных решений и бесконечных споров. Однако у кампании COVID-19 есть одно бесспорное достижение — она окончательно похоронила институт экспертизы, наглядно продемонстрировав, что так называемые специалисты могут так же противоречить друг другу, как и дилетанты.

Пандемия — это спектакль, который по сценическим законам то усиливает напряжение, то снижает. Проблема большинства в том, что они наивно причисляют себя к участникам действия, забыв, что они всего лишь зрители. В этом спектакле они не играют ролей. Задача зрителей сводится к выражению коллективных мнений: от оваций до неодобрительного ропота.

У спектаклей разная судьба, но наиболее успешными обычно становятся постановки двух типов: завоевывающие всю публику и те, что делят аудиторию на равные лагеря обожателей и ненавистников. COVID-19, очевидно, относится к успешным спектаклям второй разновидности. Причем споры о его достоинствах настолько увлекают людей, что миазмы зрелища заполняют буквально все вокруг, подменяя собой жизнь.

Больше нет ничего, кроме трагедии, разыгрывающейся на ваших глазах, о которой, какого бы мнения вы ни придерживались, вы должны постоянно говорить, чтобы не утонуть в океане чужих мнений.

Сейчас мы подходим к очередному сценическому обострению: после ряда послаблений вакцинация становится обязательной, а бюрократический след человека дополняется так называемым паспортом здоровья. И все это после проведения чемпионата Европы по футболу, собиравшего десятки тысяч потенциально инфицированных в одном месте.

Чемпионат отложили, чтобы провести его через год, дождавшись улучшения ситуации. Только улучшения не произошло, скорее наоборот. И теперь, после этого пиршества спортивного духа, мы оказались перед мягким тоталитарным выбором: принимайте спек-

такль всерьез, то есть вакцинируйтесь, либо исчезните из общественного пространства.

Я далек от причитаний по поводу свободы и прав человека, которые всегда казались мне инструментом навязывания чужих интересов, но теперь даже эти бутафорские концепты оказываются полезнее тотальности спектакля пандемии.

Абсурдность и неловкость мер, которыми государство сопровождает свою навязчивую заботу, лишь убеждают меня в его коварстве. Если бы режиссеры спектакля были действительно озабочены здоровьем зрителей, то вакцинация была бы давно проведена, а не ползала туда-сюда, по сантиметру отрезая от собаки хвост, а потом приклеивая его обратно.

COVID-19 — не обычный спектакль, а театр абсурда с привлечением самых шумных спецэффектов вроде терроризма. Пандемия окончательно рассеяла образ террориста, он больше не поддается персонификации, растворенный в «научных изысканиях», озвучиваемых и обсуждаемых дилетантами.

212

Спустя полтора года вирусный спектакль превратился в захваченный террористами ресторан Макдоналдс. Внутри сидят заложники и едят гамбургеры, средства массовой информации во всех подробностях освещают муки плененных, а государство, как может, пытается разрешить гуманитарную катастрофу.

Правда его действия настолько импульсивны, что понять их логику вряд ли получится. Ресторан то оцепляют и собираются разбомбить, то снимают оцепление и пускают внутрь всех желающих, получивших QR-код. Чередуя противоположные меры, государство торжественно объявляет, что со временем ситуация только ухудшается. Из чего делает неожиданный вывод, что оно на правильном пути и меры следует ужесточить.

И снова буря экстаза! Зрительный зал раскалывается на требующих еще больших репрессий и тех, кто ни во что больше не верит — хочет только поскорее попасть в Макдоналдс.

9 декабря 2021

В ситуации пандемии человечество во всей красе продемонстрировало результаты многовекового развития. Всеобщее разобщение с мириадами мнений в эмоциональном регистре от полной дезориентации до патологической ярости.

А ведь разобщение началось гораздо раньше. Все преграды, все общности постепенно стирались и отмирали. Маленький человек был обречен стать мерой всего. Сейчас этим маленьким человеком расплачиваются корпорации в экономическом спектакле и выборные политики в спектакле политическом.

2020 год подарил нам третий вид спектакля — медицинский. Самый апокалиптический, репрессивный и безжалостный вид эксплуатации этого обладателя собственного мнения.

Хотя интереснее здесь иное измерение проблемы. Столь тотальное разобщение стало возможным не только благодаря общественным трансформациям, но и трансформациям реальности. Она больше не объективна и уж точно не едина.

Реальность распалась на множество фрагментов. Она одна у сторонника вакцинации и совершенно другая у противника вакцинации. Именно поэтому этим адептам никогда не найти общий язык. Они закатывают глаза, поражаются глупости и цинизму друг друга, но дело не в глупости и цинизме — дело в том, что они живут теперь в разных вселенных.

Именно в такой мир пытаются втянуть просвещенное человечество цифровые корпорации. Тотальная виртуализация — это реальность, распавшаяся на фрагменты. Вы можете выбрать, в каком вам удобнее жить. Скорее всего это сделают за вас, но потенциально такая возможность имеется.

Противники виртуализации жизни цепляются за вчерашний день, не замечая, что тот давно ввалился вместе с ними в день сегодняшний. Не за что цепляться: так называемая реальность давно рассыпалась на

миллионы осколков. Ее обрушение и открыло дорогу виртуальности.

Сначала виртуальных миров станет столько, сколько людей на Земле. Их шарики иллюзорного существования станут летать в топологическом пространстве, иногда наползая друг на друга. А потом и индивид (от *лат.* неделимый) рассыплется на кусочки — станет дивидом. Тогда шариков виртуального существования станет еще больше.



Маруся Климова
ОПИРАЯСЬ НА ПУСТОТУ

Утром поговорила с мамашей по телефону. Она считает, что сожительница брата подложила ему наркотики, когда он отправлялся в рейс, и теперь его схватили в Сингапуре и приговорят к пожизненному сроку, так как там очень строгие законы на этот счет. Иначе почему он так долго не звонит маме? Обычно он, стоит только судну выйти в открытое море, сразу с ней связывался. В самом деле, какие еще могут быть причины? К тому же сожительнице достанутся все его бабки. Мотив у нее тоже имеется. В ответ на мои слова, что подруга брата — всего лишь учительница истории, а не член мафии, мама заявила, что все учителя — шлюхи, и буквально на днях по телевизору показали одну такую, с позволения сказать, преподавательницу, которая жила с учеником и родила от него ребенка...

А на улице сегодня почему-то было полно маньяков. Бывают дни, когда вокруг одни дауны, а сегодня мне почему-то попадались исключительно типы Ломброзо. Даже не знаю, с чем это связано. Может быть, с весной? Потеплело, вот они и повывлазили в поисках потенциальных жертв. Или же все дело в моем настроении? Серийные убийцы, в принципе, тоже ведь не семи пядей во лбу в основном, если не считать Теда Банди или Жиля де Ре. Так что многое зависит от того, в каком ракурсе ты на такого субъекта посмотришь. С одной стороны, у человека приплюснутый лоб, скошенный затылок, оттопыренные уши, и его можно классифицировать как потенциального преступника. И одновременно он является олигофреном. Одно другому не мешает, так сказать.

Американскую поп-певицу Мадонну «похоронили» в сети вслед за аргентинским футболистом Диего Марадоной, который скончался 25 ноября. Из-за схожих имен пользователи перепутали артистку со знаменитым спортсменом и начали выражать соболезнования в связи со смертью 62-летней исполнительницы.

А через тысячу лет их вообще перестанут различать: будут как Геракл и Гераклит сейчас. О Рембо и Рэмбо я даже не говорю...

Есть такое слово в русском языке «уколоть», которое употребляют, когда хотят указать на желание человека кого-нибудь побольнее задеть в споре или же во время ссоры. То есть, по сути, это метафора, позаимствованная из фехтования. Сами шпаги как вид оружия остались в далёком прошлом, однако эхо происходивших некогда в реальности смертельных схваток донеслось до наших дней в виде этого слова...

216

Читая сейчас отклики на свои книги, в частности, я постоянно натываюсь на стремление их авторов как можно сильнее меня уколоть, точнее не скажешь. И что же? Без ложной скромности могу констатировать, что я пока не припомню, чтобы кому-то хотя бы раз удалось достичь своей цели. Наоборот, вместо боли и страданий, подобные попытки приносят мне обычно даже большее удовлетворение, чем самые восторженные комплименты и похвалы. Как правило, после чтения наиболее злобных замечаний у меня и вовсе остаётся ощущение, будто меня осыпали не ударами, а лепестками роз...

Почему так происходит? Все дело в том, думаю, что ещё в школе моим любимым занятием было чтение статей в различных справочниках, энциклопедиях и словарях, где советские критики и литературоведы обрушивали потоки брани, не жалея эпитетов и красок, на чуждых им по духу писателей и поэтов, произведения которых в то время не переиздавались, не пе-

реводились или даже были запрещены. Однако те, о чудо, всегда оставались абсолютно неуязвимыми для таких нападков и неизменно выходили в моих глазах из подобных поединков победителями. Поэтому я тщательно заносила их имена в специальный блокнотик в смутной надежде когда-нибудь с их недоступными мне пока книгами познакомиться. И таким образом я ещё в детстве, сама того не осознавая и не подозревая, что мне когда-либо это пригодится, прошла, можно сказать, настоящий курс обучения у непревзойденных мастеров этого жанра, наподобие того как представители аристократии прошлых веков с юных лет обучались фехтованию.

Тогда как для моих недоброжелателей, судя по всему, все эти шпаги, эполеты и доспехи являются сегодня всего лишь давно утратившими какую-либо реальную значимость музейными экспонатами.

По улице не принято ходить без штанов, за столом — чавкать. А в искусстве знаком дурного тона является занимательность. Не знаю, почему сегодня люди так раскрепостились и без тени смущения публично интересуются друг у друга, какие бы им сериалы посмотреть. Нет, это, конечно, не преступление, но правил приличия тоже вроде никто не отменял. Лично я вижу в этом свидетельство глубочайшего падения нравов в современном обществе. В старые добрые времена все читали Пушкина и Толстого, а детективы стыдливо прятали под подушкой.

Вот Блок, например, явно не такой умный, как Андрей Белый, у которого недавно тоже был юбилей, а уж о лауреатах премии Белого и говорить нечего. И рифмы у него совсем незатейливые в основном, до фига обычных глаголов типа терять-проклинать...

Стоит ли после этого удивляться, что практически все дебилы и невежды сегодня считают себя гениями?!

Ведь именно глупость и отсутствие профессиональных навыков являются, пожалуй, самыми характерными отличительными чертами гениальности.

В новостях пишут, что человек отрицал вирус и умер. И он уже далеко не первый такой. А кто-то в Бога не верил и теперь, возможно, мучается в аду. Был, помню, еще один оригинал в Америке, который тупо считал Землю плоской и в результате разбился на самодельной ракете... Лучше вообще во все верить, если подумать, на всякий случай. Тем более, что это совсем несложно: просто веришь, и все.

Земля, кстати, когда стоишь в чистом поле или же плывешь в открытом море, действительно, выглядит абсолютно плоской вплоть до самого горизонта. Но тут проблема в том, что она элементарно очень большая, и поэтому изгиб ускользает от человеческого взгляда. Если поместить клопа, допустим, на футбольный мяч, а еще лучше, на глобус, то ему тоже будет казаться, что он находится на прямой поверхности типа стены или стола... Даже не знаю, почему тому несчастному этого никто не успел объяснить.

Отсутствие эстетического чувства делает людей революционерами. Прочитают «Мелкий бес», допустим, и бегут все исправлять. В результате вместо «Мертвых душ» на свет появляются «Кубанские казаки»... Хорошо еще, что там все неправда, как говорят, очень хочется в это верить, во всяком случае, иначе бы вообще был полный мрак.

Оказывается, во дворце великого князя Алексея Александровича на Мойке, мимо которого я часто прохожу во время прогулок, раньше был Дом пионеров. Сегодня случайно упомянула его в разговоре с мамашей по телефону и где-то полчаса, наверное, слушала, как они в школе там пели в хоре и танцевали в кружке с подругами, как это было весело. Жуть!

Китайцы все на одно лицо. Но если приглядеться, Конфуций мало похож на Лао Цзы. Это нация с богатым внутренним миром, видимо. А я привыкла больше ориентироваться на внешность, ни во что особо не углубляясь. Если писатель дебил, то и обложки у его книг уродские, да и портрет, само собой, соответствующий. В России и в Европе так, к счастью. В Азии или где-нибудь в Африке мне было бы гораздо сложнее, пришлось бы все читать.

На улице Маяковского огромное граффити с Хармсом. Причем сделано так, будто он выглядывает из-за угла и смотрит совсем недружелюбно. Хорошо бы разместить в центре Петербурга повсюду аналогичные портреты Кузмина, Анненского, Гумилева, Сологуба, Сомова, Вагинова, Розанова, Дягилева, Распутина... Это сделало бы жизнь многих людей невыносимой. Зато я была бы довольна. Ведь счастье — это когда у тебя есть возможность по максимуму достать окружающих. Пролетарии ради этого отказывали себе даже в жратве и элементарных бытовых удобствах. А весь этот коммунизм, где каждый получает по потребностям, никому на фиг был не нужен.

Швейцарский сыр как модель борьбы с Covid-19 (и почему мешают дырки). Собственно, модель швейцарского сыра была предложена еще в 1990-е годы. Чаше всего ее используют при анализе рисков в таких сферах, как авиация, строительство и медицина.

Ну, для литературы, мне кажется, такая модель тоже идеально подходит. Только наоборот: дырки мне всегда помогали. Выдвигается твое произведение на премию, допустим, находится какой-нибудь наивный номинатор, но тут же их встречает следующий слой в виде Большого жури, где тоже вдруг обнаруживается слабое звено, но там, увы, еще и Малое имеется... Да

что там литература. Вся моя жизнь, в сущности, как швейцарский сыр.

Не первый раз уже, кстати, за последний год при чтении новостей у меня возникает ощущение, что вирусы многому научились у таких, как я. Поэтому человечеству сейчас и стало так сложно с ними справляться.

Мыть руки почаще, проветривать комнату, держать дистанцию, чем дольше находишься в помещении с посторонними, тем выше риск заражения и т.п. Каждый день приходится читать теперь о подобных выводах, к которым пришли научные лаборатории и исследовательские центры после длительных наблюдений и экспериментов. А ведь все это и так совершенно очевидно для любого более-менее здравомыслящего человека. Поневоле начинаешь сомневаться в умственной полноценности ученых, которым постоянно приходится прикладывать невероятные усилия, чтобы додуматься до элементарных вещей и не слишком отличаться от среднестатистических обывателей, иначе бы они совсем, наверное, выпадали из социума. О гениях вроде Лотреамона и Байрона и говорить нечего.

Вспоминается еще история с яблоком, упавшим на голову Ньютона, после чего он сделал вывод, что все предметы и люди притягиваются к Земле. Как будто этого до него никто не видел и не знал.

Новый год даже коммунисты признавали. В этом празднике есть что-то фундаментальное и незыблемое, должна признать... Порой так хочется почувствовать твердую почву под ногами, а вокруг все постоянно меняется и ускользает, то, что еще вчера было всем, вдруг становится ничем, буквально не за что зацепиться.

Ленин восхищался Бетховеном. На эту тему в свое время даже целый фильм «Аппассионата» был снят, где вождь пролетариата бегаёт по комнате, потирает руки и под впечатлением от одноименного произведения немецкого композитора восклицает: «Какие чудеса могут творить люди!»... Думаю, вряд ли когда-нибудь Бетховен сумеет избавиться от подобного клейма. Я, по крайней мере, после того кино навсегда утратила к нему всякий интерес.

Этот пример заставляет еще раз задуматься над смыслом творчества. Многие, я заметила, почему-то убеждены, что писатели, художники и музыканты сосредоточены исключительно на том, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание и очаровывать максимальное число людей. Тогда как, на мой взгляд, куда важнее возвышаться над толпой и не нравиться дебилам, от которых в силу их неразборчивости часто бывает крайне сложно отдалиться.

В спецслужбах меня всегда раздражало, что там работают личности, считающие себя самыми умными. А если представить, что на самом деле их контингент состоит из плохо ориентирующихся в пространстве даунов, то невольно начинаешь им сочувствовать, я заметила. Как только подобная информация просачивается, остается такое чувство, будто ты заглянула в темный подвал, где барахтаются несколько трогательных крошечных котят.

Не стоит путать глупость с тупостью. Коты, например, совсем не читают книг. Вот их, вероятно, можно назвать недостаточно образованными и интеллектуальными. Тогда как тупость свойственна исключительно человеку и представляет собой своеобразную разновидность ума, поскольку позволяет счастливым обладателям этого качества совершенно не восприни-

мать информацию, потенциально способную помешать им поудобнее устроиться в жизни. Люди в массе своей тупы, как пробки, и одновременно гораздо умнее тех же животных.

Ни разу еще мне не попадалось ни одного негативного отклика на мои книги, автор которого был бы глупее меня.

Что такое «литературный процесс»? Совершенно не представляю себя его участницей. Всякий раз, когда я слышу это словосочетание, почему-то сразу приходит на ум понедельник с серым небом и нескончаемой рабочей неделей впереди. Со школы ненавижу этот день!

Забавно, но бывают такие мгновения, когда особенно явственно ощущаешь, что литература — это не просто вождение рукой по бумаге, а как-то связана еще со днями недели, погодой, и, возможно, даже с природой и космосом.

222

Помню, очень-очень давно, еще в университете, я заказала в Публичной библиотеке первый том трилогии Гюисманса «Там внизу». И каково же было мое огорчение, когда я обнаружила, что страницы с описанием черной мессы там вырваны. Ведь именно эта сцена, упоминание которой мельком попалась мне на глаза в одной из литературоведческих статей, и привлекла мое внимание к этому роману. И вдруг такой облом!.. Восполнить пробел мне удалось только несколько лет спустя, когда я приобрела эту книгу в Букинисте на Литейном. Теперь все было в порядке, перед покупкой я даже несколько раз тщательно ее пролистала. И что же? Должна сказать, что прочитанное меня довольно сильно разочаровало. И я до сих пор жалею о своем опрометчивом поступке. Если бы не мое излишнее любопытство, черная месса в виде черной дыры на месте ее описания наверняка до сих пор оставалась бы моим самым сильным литературным

впечатлением. Отчасти я и сейчас так считаю, но общая картина все же была несколько смазана. Скрытая за словами эта сцена отныне стала для меня чем-то вроде путеводной звезды, которая так редко появляется из-за облаков, что я всякий раз успеваю почти забыть о ее существовании, и поэтому вынуждена полагаться на другие более надежные и ясные ориентиры.

Каждый второй россиянин ждет, что новый год будет лучшего прошлого... Заметила, что всякий раз, когда мне попадает на глаза слово «россиянин», в сознании невольно возникает образ такого круглолицего розовощекого дурачка. Может быть, тут дело в слове, которое ассоциируется с сияющей на лице улыбкой, или же еще говорят «засиял от удовольствия». Просто из-за созвучия, которое воздействует на подсознание. Еще Фрейд об этом писал. Увидел на небе Солнце, допустим, или какой-нибудь огонек вдали — значит, ночью тебе приснится россиянин.

223

В прошлом году я даже к лягушкам изменила отношение, внимательней к ним пригляделась на даче летом, вслушалась в их кваканье и теперь они тоже мне стали казаться вполне симпатичными, как коты, ежики, барсуки, медведи и слоны. Чего никак не могу сказать про людей, а ведь и они, вроде бы, принадлежат к виду млекопитающих, ну, если заглянуть в справочник по зоологии. Но именно в качестве животных почему-то люди больше всего меня и раздражают. Тут определенно присутствует какое-то парадоксальное противоречие. Особенно это касается писателей. Я, конечно, стараюсь держаться от них на расстоянии, однако всякий раз, когда с ними по какому-нибудь поводу соприкасаешься, потом минимум неделю чувствуешь тошноту, ни с какими жабами или мышами не сравнить.

Зачем писателям нужны слова, например? Вот это до сих пор остается для меня самой большой загадкой природы. И если бы какой-нибудь биолог сумел ее наконец разгадать, то он вполне мог бы рассчитывать на Нобелевскую премию, я считаю. Все их мысли, мотивы поведения и переживания настолько просты и очевидны, что обычно становятся понятны задолго до того, как кто-нибудь из них откроет рот. Не знаю, кто первый назвал писателей «мастерами слова», но сегодня такое определение можно воспринимать исключительно как насмешку и издевательство. Было бы логично, если бы они тоже, наподобие птиц и зверей, чирикали, каркали, мычали, мяукали, шипели и хрюкали. Этого было бы вполне достаточно, да и смотрелось бы куда более естественно и гармонично. Между тем писатели не просто говорят, как остальные люди, а еще и выпускают огромные тома, заполненные многими тысячами слов. Интересно, для чего? Лично я давно уже перестала это понимать.

В Новой Голландии за булочками под названием трдельник выстроилась длинная очередь. А я, как увидела вывеску, то сразу подумала, что это что-то из чешской кухни. Там у них в словах по четыре-пять и даже шесть согласных подряд в одном слове сплошь и рядом попадают. Так и оказалось: трдельник — это выпечка из теста, которое наматывается на специальный металлический вертел под названием трдло... С ума сойти! Не представляю, как утонченная и возвышенная писательница вроде меня, смогла бы изъясняться при помощи подобных слов! Поэтому, вероятно, живший в Праге Кафка и предпочел писать по-немецки. А мне, наверное, родился я там, пришлось бы перейти на французский. А вот Гашеку, наоборот, со страной чрезвычайно повезло. Поскольку ни один другой язык мира, мне кажется, не способен был бы столь же выразительно и достоверно передать все оттенки грубого солдатского юмора и тупости героев его рома-

на. На его месте я бы еще и имя себе поменяла, взяв в качестве псевдонима что-нибудь типа названия этой булочки: Ярослав Трндельник или же, еще лучше, Трндло. Тогда бы читатели других стран, только взглянув на обложку книги, сходу преисполнились бы осознанием того, как много они теряют, что не читают ее в оригинале.

Штурм Капитолия, индейцы в перьях, Унесенные ветром ... В Америке все какое-то игрушечное. То ли дело Пугачев, Война и мир и Великая Октябрьская революция. Совсем другой масштаб!

С одной стороны, гениальное изобретение у мусульман – закрывать лицо бабам. С годами начинаешь это ценить. С удовольствием бы приобрела сейчас себе никаб, или как там еще эта тряпка типа спускающегося на рожу платка с прорезью для глаз называется ... Только вот Бог опять-таки все портит! Ты просто хочешь скрыться от прохожих и никого не видеть самой, а твоему облику приписывают некий глубокий смысл, будто ты мечтаешь оказаться в раю и т.п. Мелочь вроде бы, но раздражает.

Так бывает, когда открываешь книгу, допустим, и поначалу кажется, что все более-менее неплохо описано, даже забавно, но в какой-то момент до тебя вдруг доходит, что на самом деле автор намекает на судьбы современной цивилизации. И сразу же пропадает всякое желание продолжать чтение. Сколько себя помню, я всегда ненавидела басню про стрекозу и муравья и другие подобные произведения с претензией на разного рода обобщения и мораль.

Вот «тик-так» — нормально звучит, даже довольно изящно. А от «Тик Ток», хоть и похоже вроде, но сразу веет непроходимой тупостью и вульгарностью, даже

если вообще не знать, что это. И все потому, что в одном случае речь идет о часах, а в другом задействованы люди. Просто мистика какая-то, не поддающаяся рациональному объяснению!

Мне кажется, если инопланетяне наблюдают откуда-нибудь в перископы за космосом и наткнутся на нашу галактику, то тоже будут потрясены, как Земля вся сияет и переливается, излучая идиотизм, в отличие от находящихся неподалеку необитаемых планет вроде Марса и Венеры. Это почти наверняка станет первым признаком незнакомой цивилизации, который бросится им в глаза.

Если бы я была не в курсе, что периодически попадающиеся мне навстречу личности с палками занимаются специальной ходьбой для укрепления здоровья, то я вполне могла бы решить, что это какие-то выжившие из ума пенсионеры или сбежавшие из психушки пациенты, которые даже не заметили, как потеряли по дороге лыжи. Особенно в самый первый раз, конечно. Потом-то они примелькались. Вот так и про многих лауреатов Нобелевской премии, да и классиков мировой литературы, можно было бы подумать, что это обычные олигофрены, если не знать, что их произведения издаются огромными тиражами и изучаются в вузах. Взять того же Хлебникова, к примеру. Диссертаций про него написано даже больше, чем про Пушкина, наверное, а он так и остался для меня дауном неспособным выразить и довести до конца ни одной внятной мысли. А кто-то, наоборот, повсюду, куда бы он ни попал, наблюдает классовую борьбу, сведения о которой почерпнул из книг, хотя глазами существование такого явления обычно бывает крайне сложно заметить...

Слишком многое в этой жизни основано исключительно на знаниях и расходится с тем, что ты видишь. Нет, хватать на улице без разбору всех несчастных стариков с палками и отправлять на Пряжку тоже бы-

ло бы неправильно. Некоторая осведомленность все же порой бывает не лишней. Но тут определенно присутствует какое-то трудно разрешимое противоречие.

«Нудная, высокомерная галиматья про собственную крутость и никчемность обывателей», – прочитала я про себя вчера ближе к ночи.

Довольно точно подмечено, кстати. Если слегка отстраниться от чересчур субъективных, на мой взгляд, оценочных определений «нудная» и «галиматья», то содержание моих книг передано в целом верно, насколько это, конечно, вообще возможно при помощи нескольких слов: «про собственную крутость и никчемность обывателей». А какие еще произведения могут публиковаться под патронажем Движения Аристократический выбор России, костяк которого, как известно, составляют партия Смерти и Несправедливая Россия?! В свое время, помню, я даже собиралась на обложку «Белокурых бестий» поместить цитату из Ницше: «Каждый, кто берет в руки эту книгу, оказывает себе такую честь, какую только может оказать себе человек». Однако в типографии уже на одно название моего романа отреагировали крайне болезненно, начали расспрашивать, а что это и о чем, и его издание в результате оказалось под угрозой. Поэтому я решила не усугублять ситуацию.

Герои — главные конкуренты гениев. Достаточно просто прогуляться по городу и посмотреть на таблички с названиями улиц, чтобы в этом убедиться. И самое забавное, что одни жертвуют собой «ради жизни на Земле». А другие, даже не знаю, как бы это поточнее сформулировать, не то чтобы совсем не ценят жизнь, но готовы максимально продлить свое пребывание на этом свете и, вероятно, согласились бы жить вечно исключительно ради предельно выразительной и исчерпывающей демонстрации ничтожности челове-

ческого существования по сравнению с красотой и величиим небытия.

Стала тут снимать сегодня на видео каркающую в сквере ворону и вдруг слышу за спиной женский голос: «Это, что, ребенок так кричит? А я думала это ворона...». Повернулась, а там проходившая мимо баба пенсионного возраста остановилась и тычет прямо в прохаживающуюся от нас в паре метров ворону пальцем. И самое главное, увидев, что я на нее смотрю, снова повторяет свой вопрос про ребенка, которого она приняла за ворону, продолжая указывать на нее пальцем. «Да нет, это же ворона», – чисто автоматически ответила я, так как ее вопрос застал меня врасплох, и ничего другого в то мгновение почему-то в голову мне пришло. «А-а-а», — с явным разочарованием протянула она, и пошла дальше.

228

Не знаю даже, возможно, она решила, что я выгуливаю ребеночка, который спрятался тут где-нибудь за деревом, и намеревалась таким образом меня достать, как бы ненароком намекнув мне, какой у него должен быть мерзкий голос, напоминающий воронье карканье. Но тогда ей следовало так и сказать: «Это, что, ваш ребенок кричит?». Тогда бы у меня не осталось на этот счет никаких сомнений, и ее цель была бы достигнута: я бы подумала, что мой внешний вид наводит окружающих на мысли, что со мной рядом могут находиться исключительно издающие нечеловеческое карканье, бляение и мычание монстры. А еще проще было бы и вовсе поинтересоваться, а не является ли та ворона моим ребенком, просто указав на нее, и все, безо всякого кричания. Но она же этого не сделала, а спросила про абстрактного ребенка... Непонятно, короче, наверное, просто не рискнула пойти ва-банк, и предпочла ограничиться более тонким намеком, положившись на мою сообразительность, типа раз в очках — значит, наверняка сама догадается. А я вот до сих пор, сколько ни думала, так и не нашла для себя отве-

та, что она хотела сказать, тыча пальцем в ворону. Ну, и ладно.

И если уж на то пошло, то я вообще считаю ворон куда более симпатичными и приятными созданиями, чем дети. Ей, вероятно, такое даже в голову никогда не приходило. И напрасно. А уж о карканье и говорить нечего! По сравнению с детским визгом и воплями — это просто ласкающая слух гениальная музыка, однозначно не хуже, чем у того же Штокхаузена, о котором эта идиотка наверняка ничего не слышала. Поэтому, что бы она ни собиралась мне продемонстрировать, она определенно обломилась.

Метафора еды литературе и особенно поэтам, пожалуй, лучше всего подходит. Просто с годами накопилось такое количество авторов, кого я сейчас уже никогда не стану перечитывать. Все в точности как с пищей, вкус которой успел настолько приесться, что даже думать о ней особо не хочется. А от некоторых так и вовсе тошнит... А бывает, что в блюдо изначально была добавлена приправа, которая сделала его крайне малопривлекательным для меня, хотя другие ее присутствия совершенно не замечают. Прямо как в детстве, когда тебе и так расписывают и этак пользу здорового питания, и на собственном примере демонстрируют, как всем вокруг нравится то, что ты упорно отказываешься есть, а все напрасно. Никогда, например, не могла избавиться от ощущения, что Бродский — это поэт исключительно для пенсионеров.

Как бы тупы ни были люди, в качестве животных они достаточно опасны. Неслучайно же человек самозатвердился в природе, сумев возвыситься над тиграми, слонами и медведями. Они, а не он, во всяком случае, сидят сейчас в клетках зоопарка и выступают на арене цирка на потеху публики. Вот поэтому, мне кажется, любой индивид, чье поведение является про-

явлением ничем особо не подкрепленной чистой духовности, в этом мире фактически обречен. Уже само слово «духовность», если в него внимательно вслушаться, означает нечто совсем невесомое, как бы витающее в воздухе и проникающее оттуда в органы человеческого дыхания. Что-то типа слабого аромата цветка или же запаха дыма потухшего пару дней назад костра, от которых обычно можно с легкостью избавиться, просто отвернувшись в другую сторону или прикрыв форточку. И большинство людей, даже абсолютно над этим не задумываясь, а просто чисто инстинктивно, как волки, зайцы или же хорьки, всегда прекрасно ее распознают.

Представительницы древнейшей профессии, мне кажется, сильнее других должны испытывать неприязнь к разного рода продажным политикам и журналистам. Ведь именно те мешают им сегодня окончательно почувствовать себя занимающимися общественно полезным трудом профессионалками и полноправными членами социума. Перенесенное на другие сферы деятельности в качестве метафоры слово «проституция» нашло себе, если так можно выразиться, новые источники энергии, которые продолжают его подпитывать, и таким образом заложенный в него негативный заряд сохраняется практически на том же уровне, как и в прошлом, несмотря на то что самих проституток в наши дни уже никто особо не осуждает.

Когда я об этом думаю, то невольно прихожу к выводу, что Витгенштейн был во многом прав: источник большинства человеческих проблем и страданий следует искать вовсе не в экономике или же, тем более, нравственности, а в языке. Вот в данном случае, в частности, оторвавшееся от первоначального значения слово возвращается назад, подобно бумерангу, и калечит судьбы несчастных женщин.

Постоянно в последнее время приходится слышать, будто СССР развалился из-за резкого падения цен на нефть. На мой взгляд, это просто смешно. Коммунисты искренне верили: если человек говорит, что ему скучно и грустно, значит, ему плохо, а когда он поет «я люблю тебя, жизнь», то он счастлив. Какие еще нужны причины? Главная проблема обывателей заключается в том, что они совершенно не разбираются в прекрасном.

Прочитала тут, кстати, недавно ещё про Керуака, что он верил в существование стовора еврейских издателей... А вот Хармс, например, день смерти которого отмечали буквально вчера, вряд ли считал себя жертвой чьих-либо козней, хотя его, в отличие от того же Керуака, практически вообще не печатали. Я себе, во всяком случае, не представляю, чтобы его удивляло или, тем более, как-то задевало отсутствие своего имени в списке претендентов на Сталинскую премию, допустим. Просто он, мне кажется, должен был ощущать себя не совсем писателем, а, скорее, кем-то вроде демиурга, который не столько описывает, сколько сам творит реальность. И поэтому ему, в сущности, было некого обвинять, кроме себя, если что-то в его жизни вдруг шло не так. В этом отношении мне гораздо ближе и понятнее Хармс, конечно, а не Керуак.

Героическое держится исключительно на пафосе. И чем больше его в каком-нибудь произведении, тем сильнее его автор становится похож на героя, а не писателя. Ничего страшного, казалось бы. Но просто ты заказываешь в кафе одно блюдо, допустим, а тебе приносят нечто на него совсем не похожее, получается примерно такой же эффект. С этой точки зрения феномена «советская литература», например, я считаю, вообще не существовало. Как закалялась сталь, Живые

и мертвые, Всем смертям назло, поэты-фронтовики — книги с подобной маркировкой можно было даже не открывать. А если продолжить аналогию с ресторанным меню, то, надо отдать должное литературным функционерам тех лет, тебя как бы уже заранее предупреждали, что именно на самом деле здесь подают.

Притом что пафос, в принципе, писатели вполне могут использовать, но только в крайне умеренных дозах, в качестве очень специфической, имеющей резкий запах и грубый вкус приправы. Надо просто отдавать себе отчет, с чем ты имеешь дело. Чтобы продемонстрировать, например, что гений — тоже человек, и поэтому ничто человеческое ему не чуждо. В соответствии с известной поговоркой: «Будьте проще, и люди к вам потянутся».

Слова, похоже, окончательно себя исчерпали... Что-то такое сейчас буквально витает в воздухе. Думала сегодня об этом и в конце концов пришла к выводу, что это очень даже неплохое название для романа: «Когда кончаются слова». Поскольку человек именно тогда и берется за перо, когда у него кончаются слова, лучше не скажешь. Писатели ведь только внешне похожи на людей, а на самом деле не то чтобы уже совсем не живут, но обитают в мире метафор и символов, для чего как раз и нужно полностью разочароваться в возможности изъясняться при помощи обычных слов.

А вот Ленин почти наверняка счел бы подобную ситуацию сигналом к революции, типа верхи уже не в состоянии ничего толком никому разъяснить, а низы больше не желают ничего слышать. Ну debil же, что с него взять! Даже страшно представить, сколько прекрасных книг, возвышенных романтических поэм, декадентских стихов, готических и неоготических романов, записок сумасшедших, из подполья, с чердаков, у изголовья и de profundis, исповедей опиоманов и алкоголиков, переписок из двух, трех и четырех углов, по-

вестей всяких белкиных и рассказов охотников и рыбаков не появилось на свет из-за таких вот даунов! И в результате Россия, которая в начале прошлого века была ведущей мировой державой в литературе, к настоящему моменту по количеству нобелевских лауреатов отстала, по-моему, даже от значительно уступающей ей по численности населения Польши.

Мне нравится в аристократах, что они практически никак не ассоциируются со жратвой. Представители буржуазии ели ананасы и жевали рябчиков, а князья, графы, виконты, герцоги и прочие бароны и леди танцевали на балах, участвовали в маскарадах, светских приемах, могли валяться в постели до полудня, месяцами ничего не делать, по несколько часов прихорашиваться перед зеркалом или, наоборот, совсем не бриться и не стричься, не читать книг, быть недорослями, наказывать безо всяких причин своих слуг, плести интриги, заниматься всевозможными извращениями, включая самые немыслимые и дикие типа тех, что подробно описал в своих произведениях маркиз де Сад... Но никто и никогда не заставлял их за едой. Мне, во всяком случае, не приходит на ум никаких исторических свидетельств, даже если таковые где-то имеются. Ну, если не считать чашечки кофе по утрам и какого-нибудь там печенья или бублика...

Сложно объяснить, но у меня всегда было особое отношение к еде. Нет, не к кулинарии, читать рецепты и названия различных экзотических блюд мне даже нравится, а именно к процессу поглощения пищи. Стоит в фильме, скажем, персонажу всего лишь раз промелькнуть сидящим в Макдональдсе со здоровенным бутербродом в руках, как я начинаю испытывать к нему неприязнь, какие бы благородные и отважные поступки он в дальнейшем ни совершал. И даже смерть не способна оправдать его в моих глазах — обычно я просто чувствую облегчение, что его наконец-то пристрелили или же раздавили автомобилем, и

он больше не будет отсвечивать на экране. Мало того, эта неприязнь часто распространяется и на исполнителя его роли в других фильмах, если он был недостаточно загримирован и я вдруг узнаю в нем того самого типа с чизбургером. Поэтому, будь я актрисой, я бы наверняка обязательно внимательнейшим образом изучала сценарий на предмет присутствия там подобных сцен и только потом подписывала контракт.

С чем это связано? Не исключено, что с какими-то детскими переживаниями, и мне следовало бы обратиться за помощью к психоаналитику. Но, как я уже сказала, причины, почему я считаю неприличными и отталкивающими такие вроде бы естественные и тривиальные занятия, как обеды, завтраки и ужины, для меня пока остаются не проясненными. Возможно, тут все дело в том, что в глобальном смысле всем людям рано или поздно приходится выбирать между красотой и жратвой, и, как правило, подавляющее большинство из них отдают предпочтение последнему и живут исключительно, чтобы есть. И в результате у меня где-то на бессознательном уровне и оформилось отношение к еде как к воплощенному уродству, ведь именно оно является главной альтернативой красоте. Неслучайно же во всех словарях написано, что красота и уродство — это антонимы...

И, конечно же, одним из безусловных достоинств аристократии является тот факт, что лучшие представители этого сословия считали для себя зазорным заниматься какой-либо работой. Поскольку труд тоже всегда вызывал у меня отвращение, вполне сопоставимое с тем, что я испытываю при виде процесса поглощения пищи. И если человеку по каким-то причинам все-таки приходится работать, то ему, я считаю, следует этого точно так же стыдиться. В этом плане я бы, пожалуй, поставила труд на второе место сразу же за едой. Не то чтобы меня прямо так тошнило от одного вида отвертки, молотка, швабры и других орудий труда, это несколько другое чувство, больше связанное с психикой, а не физиологией, но если что-нибудь из

подобных предметов, пусть это будет хотя бы совсем крошечная иголочка, попадется мне на глаза поздно вечером, допустим, то потом можно очень долго не заснуть, я это прекрасно знаю, и поэтому перед сном стараюсь поплотнее задернуть занавески и закрыть все форточки, чтобы не видеть дымящихся вдали заводских труб, не слышать стука лопат разгребающих внизу под моим окном снег дворников и иметь возможность полностью сосредоточиться на окруженных тенистыми парками дворцах, возвышающихся на вершине неприступных гор замках, изящных бальных платьях с кружевными рюшками, красочных маскарадных нарядах, хрустальных башмачках, перстнях с тонко ограненным темно-зеленым изумрудом, напудренных париках, поблескивающих в свете свечей золотыми эполетами мундирах, револьверах и шпагах с рукоятками из слоновой кости и, наконец, просторных кроватях с шелковыми балдахинами, с которых вообще можно не вставать, а проводить на них целые дни с томиком стихов в руках... И когда себе все это представляю, я обычно погружаюсь в глубокий спокойный сон. Некоторые, я знаю, чтобы справиться с бессонницей, считают слонов и облака, а я придумала для себя такое упражнение.

И для того чтобы вызвать в своем сознании подобные образы, мне обычно достаточно просто вслух произнести «виконт де Бражелон», предположим, или же «князь Мышкин», да хотя бы и «барон Мюнхгаузен», фактически любое имя, которое напомнило бы мне о тех, кто, как и я, мог годами ничего не делать и испытывал глубочайшее презрение к любым усилиям над собой, необходимым в том числе и для того, чтобы подняться с постели. Про графа Толстого, как правило, я стараюсь не думать, так как он в данном случае является исключением, хотя и он, в сущности, не портит общей картины, поскольку, отправляясь пахать, ридился в крестьянскую косоворотку, а я всегда любила трансвеститов, поэтому его склонность к переодеванию представляется мне, скорее, забавной и особенно

не раздражает. Чего я никак не могу сказать про Ленина, например, несмотря на то что он, говорят, тоже был из дворян, но его участие в субботнике, где он таскал на себе бревно, с детства запечатлелось у меня в памяти как едва ли не самая отталкивающая сцена во всей мировой истории. Даже субъект, с жадностью запикивающий себе в рот макдональдс, несколько теряется на фоне такой картины. Это зрелище всегда казалось мне настолько уродливым, что к настоящему моменту я даже уже окончательно перестала понимать, что было первичным: моя врожденная лень и нежелание работать, или же именно вождь Октябрьской революции с бревном на плече когда-то пробудил в моей душе непреодолимое отвращение к труду, которое мешает мне теперь спать по ночам...

Приоткрыла на мгновение штору. Небо за окном ясное, воздух прозрачный, снег на тротуарах прямо сияет в солнечных лучах, на градуснике «-10»... Наверняка куча дебилов идут сейчас по улице и декламируют про себя: «Мороз и солнце, день чудесный». Противно смотреть!

Удивительно, но некоторые слова невозможно как-либо принизить и запятнать. Возьмем инквизицию хотя бы. Сколько обличительных речей и потоков брани на нее обрушилось на протяжении нескольких столетий, а это слово по-прежнему сохраняет свою первоначальную выразительность и красоту. И все потому, думаю, что оно до сих пор не утратило связь с идеей всепоглощающего и очищающего огня. С точки зрения психоанализа, я считаю, некоторые особо раздражающие явления этого мира должны именно гореть, превращаться в пепел и развеиваться по воздуху без следа. Даже одна мысль об этом, когда я себе такое представляю, доставляет мне определенное удовольствие. Причем неважно, идет ли речь о чем-либо оду-

шевленном, или же о каких-то книгах, уродливых тряпках, картинах и других сделанных из неорганической материи предметах.

Но я совершенно не понимаю манеру религиозных личностей привязывать ко всему эпитет «вечный». Не знаю, зачем им эта вечность, что такого замечательного они в ней нашли, но превратить акт горения, допустим, в бесконечно растянутый процесс кажется мне верхом безвкусицы и занудства. Зрелище, пусть даже воображаемое, как мои недоброжелатели, предположим, корчатся в языках пламени неопределенно долгое время, не приносит мне никакого удовлетворения. На мой вкус, это уже перебор. Вполне достаточно, чтобы они просто вспыхнули и исчезли. Такой подход гораздо лучше соответствует глубине и силе неприязни, которую наиболее гнусные и неприятные субъекты у меня обычно вызывают. Все должно быть четким, определенным и строго дозированным, чтобы избежать ощущения пресыщения, как это бывает, когда съешь чересчур много конфет, например.

Забавно, что коммунисты, которые тоже были на чисто лишены эстетического чувства, и поэтому также испытывали непреодолимую тягу ко всему безмерному и грандиозному, типа мировой революции и стремления осчастливить человечество, несмотря на весь свой атеизм, позаимствовали у религии именно идею вечного огня, чтобы использовать его для своих жизнеутверждающих целей. Просто вспышек, огоньков, искр, лучиков или, тем более, солнечных зайчиков и светлячков им было явно недостаточно. Да и инквизиторы с их не особо продолжительными кострами, кстати, насколько я помню, им тоже совсем не нравились. Они даже книги, которые их не устраивали, не сжигали, а просто тупо прятали в подвалы библиотек подальше от читателей, считая, видимо, что и так сойдет, и их уже оттуда никто не достанет, потому что они будут править вечно...

Оказывается, название книги Флоренского «Столп и утверждение истины» подразумевает церковь, в смысле, именно она является таким столпом. Сам этот труд настолько пугающих размеров, что я его, естественно, не читала, но вот за название Флоренский, мне кажется, вполне мог бы рассчитывать на победу в конкурсе авторов самых коротких анекдотов за последние сто лет, как минимум, если бы такой вдруг кто-нибудь сейчас решил организовать.

А вообще было бы прикольно, наверное, хотя бы годик пожить в мире, где имелась бы какая-нибудь авторитетная организация, занимающаяся утверждением истины. Типа в просторном зале за большим круглым столом собираются такие убежденные сединой старцы, пусть даже в рясах или же мантиях и колпаках, как у судей, и голосованием принимают решения по вызвавшим наибольший общественный резонанс событиям и спорам. Начать можно было бы с того же Бога, которого, я считаю, давно уже пора за ненужностью отменить...

238

С другой стороны, я, например, настолько привыкла даже в самых сложных жизненных ситуациях как-то обходиться без истины, что мне она, если подумать, теперь уже и не особенно требуется. По большому счету, если уж на то пошло, мне вполне хватает красоты, которая, в отличие от той же истины опять-таки, всегда находится на поверхности и всем видна, и поэтому не нуждается ни в каких дополнительных столпах для своего обозначения. Те же, кто ее игнорируют, уже одним своим уродливым поведением, без каких-либо лишних усилий, часто даже не подозревая об этом, еще сильнее ее оттеняют, то есть тоже выполняют достаточно важную роль в ее утверждении.

Выросший в приюте и не получивший диплома Жан Жене имел более тонкую и разнообразную душевную организацию по сравнению с преподававшим

философию Сартром. Постоянно демонстрирующий в своих произведениях начитанность и эрудицию Эрнст Юнгер так и не сумел по уровню глубины постижения окружающей действительности приблизиться к изъяснявшемуся на арго Селину хотя бы на расстояние видимости. О чем, в частности, достаточно ярко свидетельствует их личная встреча в оккупированном Париже, после которой Юнгер поставил Селина в один ряд с первобытными дикарями-неандертальцами.

Мало того, многие дачники, по моим наблюдениям, на порядок проще растущих у них на участке кустов и деревьев. И все потому, что последние (тут, видимо, все-таки стоит добавить небольшое разъяснение) все время подвергаются воздействию ветра, дождя и мороза, и поэтому вынуждены глубже пускать корни, предельно быстро расти и развиваться. Чего никак не скажешь о большинстве довольных своими успехами и достижениями людей, в том числе и авторах диссертаций.

У морали довольно много общего с модой, должна это признать. Многие тряпки, которые в какой-то момент считались наделенными безупречным вкусом стильно одетыми личностями наиболее привлекательными, сегодня с дистанции времени и, тем более, с точки зрения вечности (*sub specie aeternitatis*) выглядят комично, а то и вовсе уродливо. В точности как в ситуации с теми несчастными валютчиками, которых в советские времена расстреляли, как теперь выяснилось, фактически ни за что.

Когда я об этом думаю, то обыватели даже перестают казаться мне совсем уж безнадежно тупыми и неповоротливыми дебилами. Их стремление к бесконечно переменчивому и ускользающему добру делает их невольными участниками увлекательной игры, по сути, мало отличающейся от той, в которую всегда играла я сама. Получается, что и они сидят в том же зале, что и я, просто за другим столом, но с точно такой

же вращающейся рулеткой. И шансы на то, что в результате сделанных ставок кому-то из нас повезет и достанется нечто вечное и независящее от веяний времени, горсть настоящих бриллиантов, а не кучка обманчиво переливающихся на свету стекляшек, у нас примерно одинаковые.

Миллениалы, зумеры, бумеры, думеры... Что-то я устала уже уточнять в словаре значение этих слов, постоянно их путаю. Вот «бумер», допустим, произошло от «бум». Так молодежь теперь называет представителей старшего поколения, родившихся после войны, когда наблюдался всплеск рождаемости. Казалось бы, ясно, тогда думеры – это те, кто много думают. Но не тут-то было! Это пессимисты, оказывается, которые все видят в мрачном свете. А ведь еще и блумеры, по моему, есть. С ума можно сойти! Язык индейцев майя и то, наверное, проще было расшифровать.

240

С другой стороны, зачем мне это знать? Ну, попался мне на глаза текст, предположим, в котором я ничего не могу понять. И что? Ради чего мне стоит прилагать дополнительные усилия и тратить время на справочники и поиск информации в сети? Ладно, Хайдеггер засветился на фото в нацистском мундире хотя бы. Допускаю, что теми, кто решил разобраться в куче туманных терминов, которые он нагородил в своих сочинениях, движет искреннее любопытство и, самое главное, желание как бы тоже примерить на себя эффектный костюм, который в наши дни так просто в обычном магазине не купишь. Но кому нынче может быть интересен Гегель или Кант, например, кроме специалистов, пишущих диссертации на соответствующие темы? Мало того, если сегодня какой-нибудь поэт признается вслух, что он читал Канта, то у всех сразу невольно возникает подозрение, что и он тоже в своей жизни и поступках, вслед за этим мыслителем, придерживается некоего глубоко морального императива. Жуть! В мелочах и нюансах ведь никто, скорее

всего, разбираться не будет. Так что у него потом жизни не хватит, чтобы доказать, что он не верблюд, и подправить свою репутацию в глазах окружающих. Новым Рембо ему уж точно никогда не стать. Притом что в данном случае речь идет о классике мировой философии, а не о каких-то даунах с двумя извилинами, о которых тебе обычно становится вообще все известно прежде, чем они успеют открыть рот. Поэтому даже если бы я и знала, что означают все эти бумеры и зумеры, и то, думаю, все равно предпочла бы сделать вид, что впервые про таких слышу. Меньше всего мне хочется, чтобы у кого-либо сложилось впечатление, будто я способна ими интересоваться и, тем более, сама принимать участие в спорах, какие ведут между собой прыщавые подростки, обсуждающие запрещающих им курить и употреблять спиртное родителей.

Виновниками пандемии коронавируса могли стать кролики и барсуки... Как мило! Попрятнее, чем мыши, во всяком случае. Барсуков в жизни, правда, я никогда не видела, но на расстоянии они кажутся достаточно симпатичными. Типа хомяков, но более самостоятельные и деловые. Уютные норы сами себе оборудуют.

В искусстве, в принципе, тоже можно, особо не углубляясь, распознать представителей различных направлений и течений только по одним названиям. Если речь о декаденте, допустим, то ясно, что это кто-то чрезвычайно утонченный, бледный на вид и как бы немного болезненный, что ли, грустный, малообщительный, всегда погружен в свои мысли, на работу не ходит, днем спит, а ночью бодрствует и любитесь на Луну, очень необычный, короче. Поэтому я не сомневаюсь, что все, кто даже не читал моих книг, а только пробежит случайно глазами мою краткую биографию, сразу почувствуют, с кем имеют дело. На бессознательном уровне у них наверняка останется именно такое впечатление, как бы они ни старались потом сде-

лать вид, будто никогда обо мне ничего не слышали и не в курсе, о чем я пишу. Романтики тоже более возвышенные, чем реалисты. Прозаики, как правило, все чрезвычайно упертые, заземленные и практичные, твердо стоят на ногах, тогда как поэты, наоборот, порхают по жизни, как бабочки. А каких-нибудь пре-рафаэлитов от передвижников или же, тем более, соц-реалистов вообще отделяет настоящая пропасть...

Я, к примеру, до сих не смогла заставить себя открыть книгу Брехта или же сходить на спектакль по его пьесе. И все потому, что когда-то еще в школе узнала, что он считается одним из основоположников социалистического реализма. Притом что с тех пор мне неоднократно приходилось натывать на лестные оценки его творчества, высказанные личностями, к мнению которых во многих ситуациях я вполне могла бы прислушаться, поскольку они сами вовсе не кажутся мне безнадежно тупыми. Однако Брехт навсегда так и остался в моих глазах олигофреном.

На днях моя стиральная машина начала подозрительно шуметь и трястись. Видимо, уже исчерпала свой ресурс. Решила подыскать замену и обнаружила, что сейчас подобная техника стала на порядок более низкого качества, чем она была десять лет назад и ранее. Продавцы в магазинах в один голос твердят об этом, во всяком случае. И я сразу невольно вспомнила, что уже слышала нечто похожее от газовщика, когда меняла колонку. Так что эту тенденцию, судя по всему, можно наблюдать в наши дни во многих областях. А просто те, кто делают бытовые приборы, поняли, что им выгоднее выпускать халтуру, потому что тогда потребителям придется чаще раскошелиться на что-нибудь новое. Вполне логично, в принципе.

Однако не значит ли это, что современная цивилизация потихоньку начинает сворачивать с пути прогресса? Все-таки налицо явные признаки ухудшения... Я бы не удивилась, на самом деле. В двадцатом веке,

когда научно-технические достижения ни у кого не вызывали сомнений, постоянно приходилось слышать, как измельчало человечество, вокруг типа одни дебилы и шариковы, которые летают на самолетах и пользуются электричеством. Тогда как раньше Землю населяли чуть ли не исключительно классики литературы и гиганты мысли, хотя им и приходилось перемещаться на запряженных лошадьми повозках и писать гусиным пером при свечах. Зато теперь, когда началось другое столетие и, тем более, тысячелетие, люди, наоборот, начнут стремительно развиваться в интеллектуальном плане, как бы наверстывая все, что ими было упущено за предыдущий исторический период. И это, в частности, прекрасно видно хотя бы по тому, как производители стиральных машин и газовых колонок быстро врубались, что им выгодно, а что нет. Оглядываясь на старательных недоумков прошлых лет, у них есть все основания гордиться собой, я считаю. Ну а бытовые условия человеческого существования, соответственно, с каждым годом будут становиться все хуже и хуже, пока не сравняются с теми, в каких приходилось жить и творить гениям эпохи Возрождения. Такое развитие событий лично мне представляется наиболее вероятным. Мало того, уже в сегодня большинство людей, по моим наблюдениям, поумнели настолько, что какой-нибудь Чехов или же, там, Толстой, кажутся просто наивными дурачками по сравнению фактически с любым живущим ныне средне-статистическим обывателем.

На любую новую этику всегда найдется новая эстетика.

Отчуждение, отстраненность, презрение, надменность, скука, ненависть, опустошение, отчаяние, страх, пренебрежение, одиночество, отвращение, мрак, коварство, измена, падение, разобщенность,

пустота.... В этом мире, казалось бы, так много красивых выразительных слов, пробуждающих в человеческом сознании ассоциации с творчеством Лермонтова, Ницше, Байрона, Гюисманса, Шодерло де Лакло, Лотреамона, Аненнского, Рембо, Верлена, Сада, Уайльда и других выдающихся писателей и поэтов. А политики в названиях своих партий и агитационных проспектах почему-то используют исключительно самые уродские типа правды, справедливости, единства, поддержки, взаимопомощи, добра и любви. В этом смысле они напоминают мне копающихся в мусоре бомжей или даже дикарей, радостно меняющих золото и драгоценные камни на стеклянные побрякушки и дешевую бижутерию. И кто за таких даунов голосует, интересно? Никогда этого не понимала.

Мне всегда нравился холод, недаром же я вставила это слово в название своей книги. Тем не менее я предпочитаю находиться в теплой комнате. То же самое я могу сказать и про войну. Этот мир мне глубоко чужд, даже в литературе я давно уже привыкла ощущать себя во враждебном окружении, вся моя жизнь состоит из сражений, побед и поражений. Но участие в реальных боевых действиях меня абсолютно не прельщает. Стрельба, грохот, грязь, пыль, вопли... Помоему, это крайне утомительно.

Мало того, я подозреваю, что коммунисты, например, которые обожали полярников, покорителей Арктики и ветеранов всяких войн, мои книги в свою очередь тоже бы запретили и поместили куда-нибудь в спецхран. Холод, нарушение границ и вторжение на чужую территорию в том смысле, как это представляю себе я, их бы вряд ли устроили.

Стоит мне узнать, что известная фотомodelь занимается благотворительностью или же, что еще хуже, интересуется серьезной литературой, читает каких-

нибудь классиков типа Достоевского, как не только она сама, но и тряпки, которые она рекламирует, как-то тускнеют, что ли, становятся на порядок менее эффектными и привлекательными. На месте владельцев модных брендов и журналов я бы, пожалуй, даже задумалась над тем, чтобы ввести в контракт специальный пункт, запрещающий им публично говорить о своих вкусах и добрых поступках. И в литературе тоже самые гениальные стихи утрачивают практически все свое очарование, когда до тебя доходят сведения, что их автор имеет ученую степень, например, является замечательным семьянином, помогает больным детям, рискуя жизнью, спас утопающего или же совершил еще какой-то самоотверженный героический поступок. О чем это говорит? Нравственность и интеллект отвлекают читателей от главного и мешают им полностью сосредоточиться на красоте.

А вот уродам и бездарным поэтам, наоборот, я считаю, следовало бы быть умнее или же хотя бы чуточку добрее. Им как раз диссертации, чтение Джойса и Гегеля, посещение музеев современного искусства и участие в благотворительных фондах только помогли бы скрыть от посторонних глаз малопривлекательную внешность и убогие произведения. Тем не менее у меня такое впечатление, что большинство из них этого абсолютно не понимают.

Большинство писателей можно не читать. Известных, по крайней мере. Взять хотя бы Горького. Имя то там промелькнет, то здесь. Основоположник соцреализма, автор пьесы «На дне», жил на Капри, общался с Толстым, посетил Беломорканал, просил Ленина, чтобы Блока выпустили в Финляндию лечиться... Ну и цитаты, само собой, на стенах образовательных учреждений: «Всем лучшим в себе я обязан книгам», «Человек — это звучит гордо»... Все более-менее ясно. И я бы даже больше сказала, стоит только углубиться в какое-нибудь его произведение, как ты рискуешь утратить

понимание главного в его личности, запутавшись в словах. Так бывает, когда стоишь на вершине холма и видишь весь лес целиком, а потом в него заходишь, и дорога домой, которая только что казалась такой прямой и короткой, превращается в бесконечное блуждание между деревьев. То же самое можно сказать и про всех остальных, включая, в том числе, и таких, как Ницше или Уайльд. Их, правда, я все равно прочитала, но исключительно ради удовольствия, а не для того, чтобы узнать нечто новое.

Я, например, никогда даже обложек книг писателя Пелевина не видела. Просто натолкнулась однажды на его высказывание про клоунов и пидорасов, и этого мне вполне хватило. А вот у его почти однофамильца Прилепина мне почему-то еще нигде ни разу не попалось ни одной мудрой мысли. Очень скользкий тип, должна признать, так просто и не ухватишь! Зато его лицо довольно часто мелькает в сети. В данном случае этого тоже оказалось достаточно...

246

Из сказанного выше можно сделать вывод, что писателям и вовсе не стоило бы ничего писать. Однако это не совсем верно. Писатели пишут, чтобы их можно было потом не читать. Вот так будет правильнее, я считаю. Иначе бы они превратились в обычных людей, которые вообще никому не интересны.

Международный день трудящихся... А мне вот гораздо больше нравятся тунеядцы. И так всегда. Даже и не верю теперь, что когда-нибудь и на моей улице будет праздник.

В связи с 200-летним юбилеем Наполеона во Франции разгораются споры о его личности. Франсуаза Верже, активистка и бывший председатель Национального комитета Франции по истории рабства, описала императора как «расиста, сексиста, милитариста и колонизатора»... Все, как мы любим, короче. Но са-

мое главное, на мой взгляд, что Наполеон в конечном счете проиграл. Не сравнить с тем же Лениным, который был победителем.

Так и в литературе тоже, стоит только писателю удостоиться Нобелевской премии, допустим, как, считай, для вечности он потерян. Успех прямо, как магнит, я заметила, притягивает к себе неполноценных уродцев и безликих посредственностей. Тогда как красота и победа — две вещи несовместные. Гений вообще может быть только непризнанным, других не бывает.

Что такое шахматы? Просто сидишь и передвигаешь какие-то жалкие деревянные фигурки. Вот, собственно, и все. В детстве, помню, когда я шла после школы через Екатерининский садик в литературный кружок при Дворце пионеров, меня ужасно раздражали постоянно кучковавшиеся там на скамейках любители этой игры, так и хотелось подойти и пнуть ногой доску, на которую они все завороченно уставились. И сдерживало меня только то, что в основном это были взрослые мужики и пенсионеры, с которыми мне в одиночку вряд ли бы удалось справиться...

Зато я очень хорошо понимаю Толстого, который говорил, что писать стихи — это все равно что идти за плугом и вдруг начать танцевать. Настолько противостественным и несерьезным ему казалось подобное занятие. Думаю, поэты вызывали у него примерно такие же чувства, как у меня шахматисты. Сам Толстой, как известно, не только является автором внушительного размера романов, но еще и рядился в крестьянскую рубаху и ходил пахать. В свободное от своего основного занятия время, так сказать. И тоже, скорее всего, чтобы еще сильнее подчеркнуть свое отличие от поэтов. Психопсихологики наверняка со мной согласятся. Все-таки плуг и сам по себе достаточно тяжелый, а для того, чтобы он поглубже врезался в землю, тоже необходимо прикладывать немало дополнительных

усилий. Совсем не то, что подпрыгивать и выделывать ногами всякие пируэты и па во время какой-нибудь мазурки...

А теперь представим, что человек привык садиться с утра за работу над очередным романом, не пропуская ни одного дня без строчки. И вдруг из печати выходит тоненький сборник ранее мало известного широкой публике Тютчева, в котором слова, вдобавок ко всему, даже не заполняют все страницы целиком, а располагаются в столбик. Тем не менее читатели начинают наперебой его обсуждать и хвалить. Что в подобной ситуации он должен испытывать? Какие эмоции? Мало того, один из коллег-литераторов как бы невзначай еще и добавляет, что вот эта вот совсем небольшая на вид книжка, на самом деле, тяжелее, то есть имеет даже большее значение для литературы, чем многие увесистые тома, явно намекая в том числе и на «Войну мир». Это же откровенное издевательство, я считаю! Тут любой на месте Толстого взялся бы за плут или же кувалду.

Видела сегодня утром, как чайка разрывала клювом валявшегося на дороге голубя, которого, похоже, переехала машина. Жуткая картина! То в одну сторону подбросит бездыханную окровавленную тушку, то в другую, не обращая абсолютно никакого внимания на идущих мимо прохожих. Крайне неинтеллигентное поведение, на мой взгляд, полностью отмороженная птица. Даже и не знаю, что имел в виду Чехов, когда называл свою пьесу «Чайка»! Вот если бы это был описанный Горьким буреизвестник, то я бы, вероятно, не слишком удивилась. Все эти революционеры, которых он изобразил в своем стихотворении в прозе, потом показали себя во всей красе. Ну, или же хотя бы альбатрос из «Цветов зла»... А из-за чайки у меня на весь день испортилось настроение, будто я столкнулась с неожиданным проявлением низости со стороны своей хорошей знакомой, от которой я чего-то такого мень-

ше всего ожидала. Притом что отец мне в свое время говорил, что это хищницы и способны запросто выклевать глаза барахтающимся в океане после кораблекрушения морякам, поэтому те их не особенно любят, но он и большинство моих школьных подруг терпеть не мог. Так что где-то на бессознательном уровне я к подобной сцене, может быть, и была готова, но все равно до сих пор не могу избавиться от чувства разочарования. Еще один светлый образ окончательно исчез из моей жизни...

Купила себе вчера несколько искусственных розочек по 90 копеек. Зашла в магазин, увидела, сколько они стоят, и не смогла удержаться. Никогда бы не подумала, что такие цены еще существуют! На самом деле, правда, они продавались по 180 р., но там в одной корзине с ними валялось еще и несколько тюльпанов по такой цене, поэтому я просто поменяла ценники и выбрала те, что мне больше приглянулись. Получился достаточно изящный букетик! Не знаю, возможно, в другой день я и не стала бы так мелочиться, хоть и не уверена, но накануне празднования победы у меня вообще никаких сомнений на этот счет не было. Все-таки во время войны наши разведчики в тылу врага прокрадывались в штаб вражеской армии, чтобы сфотографировать хранящиеся в сейфе секретные документы, подвергая свою жизнь куда большему риску. Можно вспомнить того же Штирлица хотя бы, который постоянно балансировал на грани провала, особенно когда встречался с шефом гестапо Мюллером. Так что с моей стороны отказ от внезапно возникшего у меня голове плана по подмене этикеток из-за опасений, что на кассе меня могут разоблачить и отправить в милицию, был бы равносителен проявлению неуважения к их памяти. Никто бы, конечно, об этом не узнал. Но праздник сегодня, считай, был бы испорчен.

Оказывается, черные дыры — это не какие-то провалы и пустоты во Вселенной, а погасшие звезды. Сила притяжения из-за высокой концентрации материи вокруг них настолько велика, что за пределы определенной границы не способны прорваться даже частицы света. Естественно, что и любой космический объект, пересекавший эту черту, тоже исчезает там, считай, навсегда...

Забавно, но меня постоянно преследовало ощущение, что и в литературе тоже имеются такие точки, где концентрируются практически вся скука и уныние этого мира, приблизившись к которым и опять-таки, переступив роковую черту, ты уже никогда не сможешь оттуда вырваться, и твоя жизнь лишится малейших проблесков красоты, превратившись в череду бесконечных серых будней. В советские времена такой беспросветно серой зоной для меня был Союз писателей, в частности. Есть еще и отдельные темы, также наделенные подобными специфическими свойствами, природа которых часто вообще не поддается какому-либо рациональному объяснению. Широко распространено мнение, например, что политика — это грязь, и от нее человеку искусства следует держаться как можно дальше. Но, на мой взгляд, все это сущие пустяки по сравнению с той же блокадой, допустим. Вот про нее не только невозможно что-либо писать, а даже если ты просто мысленно проникнешься страданиями участников тех трагических событий, начнешь всерьез им сопереживать, чрезмерно увлечешься картинками их героических мучений, причем не на бумаге, а исключительно в собственном воображении, и то, я убеждена, ты очень сильно рискуешь провалиться в мир уродливых бесцветных теней, из которого тебе уже вряд ли когда-либо удастся выкарабкаться. Объяснить природу воистину мистического ужаса, который, сколько я себя помню, неизменно пробуждало в моей душе это событие отечественной истории, я не в состоянии. Тем не менее всякий раз, когда я иду по ули-

це Рубинштейна, к примеру, мимо помеченного мемориальной доской и барельефом дома Берггольц, авторши известного стихотворения «Никто не забыт, ничто не забыто», считающегося своего рода классикой блокадной литературы, я до сих пор обязательно перехожу на другую сторону. Зачем? Да просто, чтобы подстраховаться и держаться от этого места на расстоянии. Прыгают же в конце концов для чего-то личности, называющие себя верующими, в прорубь. Вот и у культа красоты, которому я всегда поклонялась, тоже есть свои обряды и ритуалы...

Но все это я говорю к тому, что научные открытия крайне редко способствуют рождению каких-либо новых созвучий, метафор и образов, которые позволяют человеку почувствовать себя не таким одиноким во Вселенной. Как это, в частности, произошло со мной сейчас, когда я случайно натолкнулась на описание новой гипотезы происхождения черных дыр. Куда чаще происходит в точности наоборот. Как ни старайся себя убедить, что звезды в наши дни не просто впустую отсвечивают на небе, а, как и тысячу лет назад, еще и правят судьбами людей, все равно где-то в глубине души тебя будет подтачивать знание, что на самом деле это всего лишь хаотично разбросанные по галактикам бесформенные скопления плазмы. И даже морякам в открытом море при нынешнем уровне развития электроники они не особенно-то нужны... Ну, и ладно. Зато теперь я знаю, что все эти ставшие абсолютно бесполезными для магов, шаманов, астрологов, моряков и геологов звезды обязательно рано или поздно погаснут и таким образом снова обретут значение скрытых от глаз непосвященных ориентиров для тех, кто, подобно мне, рискнул пуститься в не совсем обычное плаванье по океану жизни в поисках бесконечно ускользающей красоты.

Бульжник — оружие пролетариата. Очень верно подмечено, на мой взгляд. Есть даже такая скульпту-

ра, изображающая чем-то отдаленно напоминающего орангутанга субъекта, который двумя руками вцепился в валяющийся у его ног огромный камень... Я тоже всегда считала, что оружие имеет глубокий символический смысл, позволяющий лучше почувствовать и осознать наиболее характерные черты духовного устройства тех, кто им пользуется. Так что замысел скульптора мне понятен. С этой точки зрения не помешало бы установить еще и монумент под названием «Шпага — оружие аристократа». Все-таки представители дворянства с детства обучались фехтованию, и шпага является столь же характерным атрибутом их внешнего и внутреннего облика, как и булыжник для пролетариев. Можно в Петербурге или же в Париже... Место, в принципе, не имеет особого значения. Если выбор все-таки будет сделан в пользу Франции, тогда можно ориентироваться на тех же мушкетеров, скажем, и отлить в бронзе фигуру в шляпе с перьями и со вскинутым кверху клинком в руке. Идея, в сущности, витает в воздухе. Тем более странно, что до сих пор ее никто в жизнь так и не воплотил.

И не так уж важно, что графы, бароны, маркизы и князья остались где-то в 19-ом столетии, а рабочих на заводах и фабриках уже в самом ближайшем будущем, скорее всего, тоже полностью заменят роботы, после чего сословное деление в обществе окончательно станет достоянием прошлого. О переменах в области производства оружия я даже не говорю. Однако и через тысячу лет день по-прежнему будет сменять ночь, вода гасить огонь, а безжизненные пеньки останутся так же мало похожими на раскачивающиеся при малейшем дуновении ветерка цветы. В природе есть множество явлений, которые совершенно не зависят от веяний прогресса. Вот и противостояние индивидов с диаметрально противоположным психическим складом тоже никуда не денется, я считаю. И получается, что одни будут ходить возле близкого им по духу изваяния и, довольные, потирать руки: мол, смотрите, в случае чего мы каждому дадим камнем по голове. То-

гда как другие должны ощущать себя полностью безоружными, что ли? По-моему, это неправильно. Сущестующая лакуна должна быть восполнена!

Для меня наиболее характерными чертами империи всегда были величественные дворцы, придворные в эффектных мундирах, балы и приемы с их участием, трон, украшенная драгоценными камнями корона и т.п. А когда все это вдруг исчезает, как это произошло в 17-м году прошлого века в России, допустим, и на месте империи возникает некий союз республик, то неожиданно выясняется, что большое число историков, социологов и политологов продолжают тупо называть такое новообразование империей, поскольку для них, оказывается, главным признаком подобного государственного устройства является факт вхождения в него территорий, населенных разными национальностями, на который я, к примеру, никогда не обращала особого внимания. Тогда как отсутствия самого главного они, наоборот, как будто вообще не замечают...

И так происходит практически всегда, когда имеешь дело с учеными, я заметила. До какого-то момента тебе кажется, что ты видишь перед собой вполне разумного субъекта, чьи взгляды на происходящие вокруг события мало отличаются от твоих. Но стоит только столкнуться с каким-нибудь глобальным катаклизмом, повлекшим за собой чуть более радикальные, чем обычно, изменения в окружающем мире, как ты с изумлением обнаруживаешь, что под маской начитанного эрудита в очках, на самом деле, скрывается откровенный олигофрен.

Моя кошка Лукреция обожает солнце. Вот уже неделю она по полдня проводит на подоконнике, где греется в его лучах. Но сегодня с утра на улице было пасмурно, и она уже где-то в пять часов начала прыгать, скакать по тумбочкам и, поднявшись на задние лапки,

раскачивать картины на стенах, что является выражением её крайнего недовольства. В конце концов я встала и пошла на кухню, чтобы посмотреть, не закончился ли у нее корм. Однако миска на холодильнике оказалась переполнена. И тут вдруг до меня дошло! Своим поведением она хочет добиться, чтобы я подошла к окну и восстановила наконец куда-то подевавшиеся освещение и тепло, к которым за последнее время она успела привыкнуть. В самом деле, раз уж я постоянно зажигаю и гашу лампочки дома, то почему бы мне не включить и светильник на небе? На ее месте именно так я бы, скорее всего, и думала. Странно, что я сразу не догадалась!

С другой стороны, вот так сходу почувствовать себя античной богиней, которая зажигает по утрам солнце, не так уж и легко, даже если ты и находишься в ситуации, когда другие варианты фактически исключены. Все-таки это довольно-таки непривычная для меня роль. С этой точки зрения, я считаю, Лукреции здорово повезло, что она имеет дело с писательницей, знакомой с Гомером и еще в школе прочитавшей «Мифы и легенды Древней Греции» Куна, а не с каким-нибудь узким специалистом по штаммам вирусов SARS-CoV-2. Сегодня утром я, пожалуй, впервые в жизни по-настоящему осознала, что не напрасно когда-то потратила на них свое время. Да и особой скромностью я тоже никогда не отличалась. Занимаясь литературой, поневоле постоянно приходится сопоставлять свои поступки с Нероном, Александром Македонским, Матой Хари, Версаче, Людвигом Баварским, Майклом Джексон, Рудольфом Гессом, Цезарем Борджиа, Мадонной, Пабло Эскобаром, Саломеей, Антигоной, Жанной д'Арк, Жилем де Ре, графом Дракулой и другими более-менее яркими личностями, даже если ты специально ни о чем таком и не думаешь, но просто чисто бессознательно, чтобы не затеряться в бесцветной толпе. Ницше также оказал на меня в этом плане достаточно благотворное влияние... Зато теперь,

благодаря всем им, мы с моей кошкой можем прекрасно понимать друг друга!

Что касается солнца, то сегодня оно все-таки появилось., правда где-то уже после полудня. Так что пока я Лукрецию, кажется, не разочаровала.

Сегодня родился Эрик Сати. Тот случай, когда достаточно посмотреть на имя и фамилию и сразу понимаешь, что человек писал в высшей степени изысканную, изящную музыку. Со мной, помню, именно так когда-то и произошло: сначала до меня как будто доносилось откуда-то из глубины ночи за окном едва уловимое звучание двух клавиш, продублированное легким стуком закрывшейся крышки пианино: «э-рик сати», – и впоследствии я убедилась, что мои предчувствия полностью оправдались. Тут можно говорить о практически абсолютном совпадении формы и содержания. Не то что какой-нибудь Полад Бюльбюль-оглы! Жуть! Ничего не хочу сказать плохого, но такое имя для музыканта, я считаю, равносильно самоубийству. Паганини тоже, конечно, не самый лучший вариант для того, кто всерьез рассчитывает на успех у слушателей в России, особенно для скрипача, поскольку в филармонию у нас в основном ходят пенсионеры, хотя какой-нибудь отечественный панк или рэпер наверное вполне могли бы даже специально взять себе такой псевдоним. Но «буль-буль» даже в Африке будет вызывать у слушателей те же ассоциации, что и в Америке. Буль-буль — это ведь нечто универсальное. Утопленники, выпускающие в болоте пузыри, это, пожалуй, самое романтическое, что способно пробудить в человеческом воображении подобное словосочетание. И композитору с таким именем до пенсии придется нести свой крест, доказывая, что он не верблюд. Но все равно декадентом, например, ему уже никогда не стать...

Встретила сейчас на Дворцовой нескольких похожих на мартышек девок с синими, фиолетовыми и оранжевыми волосами, которые прошли мимо меня, уставившись в смартфон, как в зеркало, кокетливо поправляя прическу и гримасничая. И невольно подумала, что хорошо бы согнать туда тысяч десять таких вот даунов в ярких летних нарядах с разноцветными телефонами в руках. Пусть бы они бродили там, покачиваясь, как сомнамбулы, любуясь собой и никого не замечая вокруг. И потом заснять всех с дрона, например. Получилась бы такая огромная поляна слегка колеблющихся под дуновениями ветра цветов. А там, глядишь, и саму площадь можно будет переименовать в площадь Нарциссов, а то Дворцовая как-то уже приелась...

256

В праздниках все-таки есть что-то праздничное и романтическое, как бы вульгарно и грубо, на первый взгляд, они ни были оформлены. В зависимости от настроения можно чувствовать себя посторонней, как у Камю, или испытывать тошноту, как у Сартра. Это как минимум. Иногда мне еще нравится перечитывать «Цветы зла», Анненского или Бальмонта, а так бы я уже наверняка давно охладела к поэзии. И самое главное, повод, чтобы возвыситься над будничным существованием обывателей, можно обнаружить практически в любой момент. Вот сегодня обычная среда вроде бы, а на самом деле еще и День пионерики.

У бабочки белые крылья, но темная тень. В мае никто уже не помнит, что в январе на вишне не было листьев. Тропинка в лесу привела меня на поляну, полную цветов, а широкая дорога – к свалке мусора...

И почему я родилась не в Японии?! Расставила бы повсюду в комнате букетики из полевых ромашек и васильков и целыми днями сочиняла бы такие вот не-

притязательные стихи. Не жизнь, а одно сплошное удовольствие! Главное, что все тебя любят и преклоняются перед твоей мудростью. Вон Басё вообще не напрягался, по-моему, а его и через сотни лет издают на всех языках.

Сколько ни думала сегодня утром над тем, что способно заставить людей соблюдать какие-то правила, если они могут их нарушить, но так и не нашла ни одной причины. Поэтому мне и нравится тот же Рембо, например, или же Анненский. Как и любой индивид, впрочем, который сумел хоть как-то обозначить свою волю к красоте.

Русские классики уже даже и не помню когда начали казаться мне безнадежно отставшими от жизни. Подавляющее большинство окружающих меня людей между тем по-прежнему продолжают на них равняться и мечтают стать хоть немного похожими на них. А не так давно я прочитала уже про саму себя, что в своих книгах я пишу нечто такое, чем в наши дни вряд ли можно кого-либо удивить...

Если же перевести все вышесказанное в визуальные образы, то получится, что я как бы иду по бескрайнему полю в гордом одиночестве или, ещё лучше, покачиваюсь в седле на гарцующем лёгкой рысцой белом коне, сзади же, на значительном расстоянии от меня, тащатся на подуставших от слишком долгой езды, спотыкающихся, истощенных клячах Толстой, Пушкин, Чехов и другие видные представители литературы 19-го столетия, а за ними бежит, толкаясь и с трудом переводя дыхание, огромная толпа народа. Проснувшись сегодня утром, думала об этом и представила себе такую картину.

Ну а где-то за горизонтом, возможно, имеется ещё тоже достаточно значительная группа странников, о существовании которых я до самого последнего вре-

мени даже не подозревала, пока не услышала про них от случайно попавшегося мне навстречу прохожего. И хотя его слова сразу показались мне практически столь же мало правдоподобными, как слухи об инопланетянах и снежных людях, но все равно он невольно заставил меня слегка отвлечься от убаюкивающего однообразного покачивания в седле и привычного зрелища у себя за спиной, чтобы чуть пристальнее взглядеться вдаль в надежде обнаружить там силуэты загадочных всадников.

Надеюсь, когда-нибудь человечество избавится от большинства существующих сегодня слов и понятий, употребляемых для выражения чувств и эмоций. Все тщательно систематизируют, каждый рефлекс, инстинкт и позыв получают свой номер и будут занесены в специальный каталог. То, что сейчас называют верой, допустим, обозначат числом 10, надежду — 11, любовь — 12, а ощущение голода и холода там можно будет обнаружить в графах 1 и 2. Для более смутных желаний и душевных порывов начнут использоваться дроби. Что значительно облегчит коммуникацию между жителями разных стран, а также с представителями других галактик и цивилизаций, которых к тому времени наверняка удастся обнаружить. Не говоря уже об управлении различными гаджетами и роботами. Они вообще станут людям гораздо ближе и понятней по своему внутреннему устройству и смогут практически полностью заменить им надоедливых родственников и знакомых.

Ещё одним важным достоинством такого подхода, я считаю, является то, что в мире будущего окажутся абсолютно невозможны праздники вроде Дня семьи, любви и верности, который отмечается сегодня. Обозначим желание создать семью цифрой 7, например, любовь, она же стремление к размножению, как я уже сказала, это 12, ну а верность пусть будет 15. Теперь представим себе День 7 12 15. Или же нет, не так, а

8.07. 7.12.15. Когда смотришь на эти цифры, то совершенно не ощущается праздничная атмосфера. Наоборот, настраиваешься на деловой лад, хочется решать серьезные задачи, как минимум, складывать, умножать и делить, а не слушать русский шансон. Недаром же считается, что математика — это гимнастика ума. А если ещё одиночество, коварство и ненависть получают маркировку 20, 21 и 22, то ни у кого и в мыслях не возникнет предположения, будто любовь и верность представляют собой нечто большее. Просто числа и все.

Никогда не доверяла людям, которые уверяют, что любят Пруста и Селина одновременно. Сложно объяснить, но что-то в них не то. По-моему, на таких нельзя положиться в серьезных делах.

Ветви деревьев слегка покачиваются на ветру, вода в речке бодро журчит, птицы по ночам беззаботно щебечут, повсюду цветы, поля, холмы... Во все этом, в сущности, нет ничего плохого. Наоборот, меня, например, такое окружение даже успокаивает.

Вот уже больше месяца нахожусь на даче, но так и не поняла пока, почему выросшие на природе простые люди обычно бывают такими противными. И особенно негативное воздействие, я заметила, на человеческую психику оказывают горы. В окрестностях СПб, к счастью, их нет, но не случайно же для уроженцев гористой местности даже существует специальное обозначение: горцы. Чтобы все заранее знали, с кем имеют дело, видимо, и держались от них на расстоянии.

Говорят, при взятии Бастилии чуть ли не единственным узником там оказался маркиз де Сад. Не знаю, может, это и легенда, но красивая. В любом, случае присутствие Сада, хотя бы и на уровне обычно-

го упоминания, чрезвычайно облагораживает это историческое событие. И любое его произведение тоже достаточно просто добавить на книжную полку, можно даже не читая, как все стоящие рядом тома сразу преобразятся, приобретут более выразительный, романтический и значительный вид...

Вообще Сад, мне кажется, один из немногих писателей в мировой литературе, чей образ в полной мере соответствует выдвинутому в свое время Чеховым критериям совершенства человеческой личности: в нем прекрасно все, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. Имя, кстати, тоже.

А я вот так и не научилась до сих пор отличать австрийцев от немцев. Для меня они по-прежнему один народ. Штраус ещё ладно, сочинил Венский вальс, однако насчёт Рильке, Моцарта, Тракля, Зайдля, Ханеке, Главоггера и Бернхарда приходится периодически наводить справки. Но лучше бы я этого не делала, пожалуй. А то, бывает, начнёшь уточнять и вообще перестаёшь понимать, есть ли у немцев хоть один приличный композитор, режиссер и поэт.

Гуляешь по городу, а тебе навстречу идут казаки в папахах и с нагайками. И чуть поодаль, на другой стороне улицы, словно тень, промелькнул и скрылся за углом инок в темной рясе типа Алёши Карамазова... Не понимаю, что тут плохого. Это же красиво!

Сложно сказать, когда я была ближе к звёздам: на Каннском фестивале, или же когда стояла вчера поздно вечером у себя на даче под открытым небом...

Справедливости ради, впрочем, следует признать, что светящиеся у меня здесь над головой точки до сих пор сохранили свою притягательность во многом благодаря Мэрилин Монро, Майклу Джексону, Жану

Маре, Мадонне, Фредди Меркюри, Клаусу Номи и другим звёздам экрана и сцены, обожавшим рядиться в эффектные наряды, украшенные всякими разноцветными тряпочками, блестками, бисером и кружевами. Без них звёзды в традиционном понимании, как и само это слово, в наши дни, скорее всего, окончательно бы поблекли и вообще перестали кого-либо интересовать. Все-таки новейшие открытия в сфере астрономии практически полностью лишили их бывшего ореола загадочности.

А что было бы, если бы сегодня ещё и в искусстве остались только те, кого критики чаще других причисляют к звёздам литературы, например? Практически все они носят серые пиджаки и влачат крайне бесцветное существование. То есть в данном случае люди просто тупо заимствуют у природы эпитеты и образы и нещадно их эксплуатируют, совершенно ничего не давая ей взамен. Живут по принципу после нас хоть потоп, в сущности.

Естественно, что после постоянного созерцания подобных звёзд мало у кого появится желание любоваться ночными светилами. Скорее любой человек, оказавшись на природе, как я сейчас, предпочтет убежать в дом и спрятаться от них под крышей, и уже там предаться мечтам и грезам о чем-нибудь более-менее эстетически привлекательном.

Молчи, скрывайся и таи... Таких мыслей и даже куда более сложных у какого-нибудь философа вроде Канта на одной странице можно найти столько, сколько у Тютчева, вероятно, не наберётся во всех стихах. Просто у последнего они выражены в словах, расположенных в столбик и в рифму. А степень известности у них вполне сопоставимая. Нельзя сказать, во всяком случае, чтобы Кант был прямо в тысячу раз популярнее в массах. В России так и вовсе его знают даже хуже.

О чем это говорит? О том, что Тютчев был гораздо умнее. Всё-таки ему потребовалось приложить на порядок меньше усилий для достижения той же цели.

Сегодня, пишут, исполнилось 180 лет со дня гибели Лермонтова... Стоит ли говорить, что мне всегда нравился Дантес, чего я никак не могу сказать про Мартынова. Тот случай, к которому просто идеально подходят слова «это другое», я считаю.

По этой причине, кстати, каждый раз, когда я натыкаюсь на тех, кто употребляет это выражение с назидательной иронией, намекая кому-нибудь на непоследовательность и применение двойных стандартов, например, я сразу начинаю думать, что такие личности почти наверняка полностью лишены эстетического чувства и не отличают Пушкина от Лермонтова. Обычно это первое, что приходит мне в голову, даже если речь идёт о политике и иных далёких от литературы материях.

В местном дачном магазине на ценнике лотка с арбузами сверху красуется выведенное крупными буквами слово «ягода». Мало того, перед входом в магазин тоже висит объявление, что в продаже имеются арбузы, где сверху опять-таки тщательно выведено, причем не просто большими буквами, но ещё и специальными красными чернилами, практически кровью, слово «ягода», значимость которого, вдобавок ко всему, подчеркнута сразу тремя восклицательными знаками... Нет, когда я впервые услышала, к какому растительному виду принадлежат арбузы, я тоже, конечно, была достаточно сильно удивлена, поскольку своими размерами они действительно значительно отличаются от брусники, клубники, вишен, черешен и других ягод в традиционном понимании этого слова. Однако в данном случае речь явно идёт о более глубоком переживании, а, возможно, даже потрясении. Нигде же

обычно не пишут и, тем более, не пихают всем в нос в такой утрированной форме, что арбуз — это ягода, ни в каких торговых точках. Большинство продавцов, скорее всего, сами этого не знают. А я несколько лет уже наблюдаю такую картину в одном и том же магазине. И вот буквально вчера до меня наконец дошло, в чем тут дело. Оказывается, фамилия владельца: Арбузов! Так обозначено в чеке, во всяком случае, на который я до сих пор почему-то не обращала внимания. Ларчик-то просто открывался, как говорится.

С другой стороны, я ведь тоже с рождения носила фамилию Виноградова. Но не могу сказать, что когда-либо чувствовала особую привязанность к этим ягодам. Так что не удивительно, почему я сразу не догадалась. В Швейцарии, помню, я постоянно гуляла среди виноградников и никогда не выделяла их для себя из общей массы деревьев и кустов. Ну, неплохо смотрятся, безусловно, особенно на склоне гор, но там и другие растения есть не хуже, те же кипарисы, каштаны или же яблони. А уж о том, что я нахожусь в окружении как бы своих дальних родственников, я вообще не думала, и не представляю даже, чтобы такое могло каким-то образом прийти мне в голову. И в результате, как я сейчас только что поняла, мне, в отличии от хозяина этого магазина, к стыду своему, совершенно нечего сообщить человечеству про виноград, никакой новой и ценной информации, какая бы уже и так не была известна любому среднестатистическому обывателю! Притом что мне как раз есть чем гордиться, если уж на то пошло, так как виноград является куда более важным растением для человеческой цивилизации, чем арбуз. Хотя бы потому, что на нём держится практически вся индустрия виноделия, где вращаются огромные бабки.

Меня лично не удивляет, что многие люди так любят сейчас обижаться. Ещё Достоевского, в принципе, в свое время прогрессивные критики упрекали, что

его герои ловят кайф от своих страданий и унижений. Тем не менее он имеет репутацию достаточно глубокого психолога, даже Ницше у него многому научился... А представим, что у всех этих маленьких бедных людей, которых он так подробно описал в своих ранних произведениях, вдруг резко меняется статус, и они оказываются на самом вершине социальной иерархии. Как это, собственно, и произошло в России в результате революции, когда, как поется в известной песне, «кто был ничем, стал всем». И вот теперь у них имеются и бабки, и власть, и известность, и положение в обществе... Ясно, что им будет мучительно не хватать того, от чего они привыкли получать чуть ли не самое сильное удовольствие в жизни, из-за чего они и начинают вести себя буквально как рыбы, выброшенные случайной волной на берег и лишившиеся своей естественной среды обитания, лихорадочно выискивая любые, часто совершенно нелепые и абсурдные поводы для обид, позволяющие им снова почувствовать себя униженными и оскорбленными.

Кому-то, особенно сытым и довольным собой обывателям где-нибудь в Швейцарии, подобное поведение, возможно, и кажется сегодня противоестественным и даже комичным. Но я, как продолжательница традиции русской классической литературы, так не считаю.

У кошек нет авторского тщеславия, о посмертной славе они не думают, их именами не называют улиц, никто не являлся с небес, чтобы искупить их грехи, на вечное блаженство они вряд ли надеются, в их бытии вообще нет никакой метафизики... Они просто спят, едят, греются на солнце и получают удовольствие от чистой длительности своего существования. Поэтому, видимо, бывает как-то особенно грустно, когда оно вдруг обрывается.

Вчера на даче практически весь день за окном лил дождь. Пришлось даже отказаться от прогулки и сидеть дома. А вот лягушки, наоборот, повыскакивали из всех щелей и укрытий и начали прыгать и кувыркаться в мокрой траве, сразу было видно, как они рады обилию воды вокруг. Глядя на них я даже невольно вспомнила известную поговорку: «Что русскому здорово, то немцу — смерть». И почувствовала себя немцем по сравнению с русскими, которые предстали передо мной в данном случае в качестве лягушек.

Зато сегодня с утра светит солнце, и нам, немцам, снова стало хорошо, а все русские, они же лягушки, опять куда-то попрятались.

Добро и духовность в искусстве нужны только писателям и режиссёрам для получения грантов и премий, тогда как зрителей и читателей они скорее раздражают. И что же тогда в них доброго и духовного? Логичный вопрос, по-моему. Но почему-то им редко кто задаётся.

Не на что опереться, твердая почва уходит из-под ног, вокруг — никого. И это даже приятно, чувствуешь себя, словно в открытом океане. Нужно просто выдерживать курс... А если бы я не любила море и корабли, моя жизнь, вероятно, была бы куда тяжелее.

Сегодня, впрочем, моряки для меня практически ничем не отличаются от других обывателей. Важно, что к этому моменту метафора уже успела оформиться в моем сознании в законченный образ и обрела не менее реальные очертания, чем явления и события физического мира, которые когда-то ее породили. Так стоит ли продолжать отвлекаться на Колумба, Кука и Магеллана, если они, в сущности, никогда не покидали берег и ничего не знают об опасностях настоящего плаванья, в которое отправилась я?

Не верю уродливым людям. Но бывают достаточно сложные случаи. Возьмём Маркса, допустим, у которого все лицо практически спрятано за бородой, сразу и не разберёшься...

Философы познают мир. А потом читатели должны пробиваться через дебри нагроможденных ими совершенно нечеловеческих формулировок и специальных терминов, чтобы разобраться в плодах их размышлений. Как-то чересчур сложно, на мой вкус. Гораздо легче додуматься до всего самой.

Этим летом ко мне на участок на даче по ночам стали регулярно приходить ёжики. Целое семейство, мамаша, папаша и сынок, ну или же дочка, их детёныш, короче. Я оставляю им еду. И вот как-то раз поздно вечером младший так объелся, видимо, что заснул прямо рядом с миской возле сарая, и мамаше пришлось несколько раз с разбегу тыкать его носом в живот, чтобы привести в чувство и заставить уйти обратно в канаву, откуда они явились. Наблюдала недавно такую сцену.

А на днях мне ещё удалось подержать в руках совсем крошечную белочку, которую я поймала, когда она переходила дорогу. И она так трогательно пищала и даже впиалась мне своими коготками в палец, но не поранила. Эта встреча однозначно была поприятнее, чем беседа с каким-нибудь очередным графоманом на улице СПб, после которых я обычно чувствую сильное опустошение. А тут я, наоборот, как будто подзарядилась жизненной энергией на месяц вперед.

Впрочем, я давно уже пришла к выводу, что людей можно выносить только, если начать воспринимать их как животных, не обращая внимания на то, что они пытаются сообщить тебе при помощи слов. Птицы ще-

бечут, коровы мычат, коты мяукают, а люди, соответственно, тоже издают характерные для их популяции звуки. Главное, отдавать себе отчёт в том, что различия между ними вовсе не исчерпываются цветом кожи или разрезом глаз, а поэты, прозаики, учёные, киноведы, физики, математики, врачи, художники, военные, политики, журналисты — это все представители совершенно разных видов, которые в свою очередь также делятся на подвиды, породы и помеси. И тогда встреча с известными писателями или даже передача про них по тв вполне способны заменить тебе если не увлекательное путешествие в джунгли, то, по крайней мере, посещение зоопарка или же океанариума. Просто надо представить себе, что ты видишь перед собой настоящих акул пера с акцентом на первом слове этого устойчивого выражения, чтобы оно заиграло новыми красками и наполнилось более глубоким неожиданным смыслом, как, впрочем, и известное предостережение «таким палец в рот не клади».

Ну а если тебе на пути попадет старый знакомый в поношенном пальто, стоптанных ботинках, с бородкой и в очках типа настоящего русского интеллигента, то вместо того, чтобы прятаться от него в ближайшей подворотне, к нему тоже вполне можно отнестись с пониманием и сочувствием как к представителю редкой вымирающей породы занесённых в Красную книгу аистов, например. И тогда бабки, которые он попросит у тебя в долг, чтобы заведомо никогда не отдать, будет не так жалко, поскольку ты, в сущности, пожертвуешь их на улучшение экологии и преодоление эффекта глобального потепления. Всё-таки аисты, когда они размахивают в небе крыльями, тоже способствуют охлаждению земной атмосферы, воздействуя на нее практически сразу двумя веерами. Не говоря уже о хорошей примете, если аист сядет на крышу твоего дома или же просто приземлится где-нибудь поблизости от тебя...

Блогеры. Это что-то уж совсем невесомое и неуловимое, типа травинки, дымка, лёгкого облачка в небе или стрекота кузнечика в траве. На них можно вообще не обращать внимания. Даже миллионы подписчиков и куча бабок, какие некоторым из них удастся зарабатывать, так и не смогли заставить меня относиться всерьёз к тем, кто подпадает под такое определение. Смешнее сейчас только тиктокеры, наверное. Журналист и то, по-моему, более солидно звучит.

Первое, что бросается мне сегодня в глаза, когда я вижу писателей, это переоцененность. И самое удивительное, даже когда те практически никому не известны, а просто являются авторами романов или сборников стихов, например, и все. Поневоле начинаешь думать, что это свойство заложено в самом виде их деятельности: человек занимается сочинением и публикацией своих произведений, стал писателем, значит уже обрёл статус, какого не заслуживает. Мало того, это вообще единственный способ их существования и в ином качестве их даже представить себе невозможно. Частицы света, говорят, существуют исключительно в движении, тогда как масса покоя у них равна нулю. Так и писатели переоценены, а если хотя бы мысленно попытаться установить их подлинную значимость, сразу, скорее всего, таинственным образом улетучатся, растворившись в пустоте...

Единственное исключение — это гении. Вот они, наоборот, бывают только непризнанными. Это их естественное состояние. А когда им начинают воздавать должное, то весомость их вклада в литературу, подобно массе упомянутых выше элементарных световых частиц, тут же опять-таки уменьшается до низшей отметки в цифровом измерении. Всю цепочку событий в данном случае достаточно легко отследить: сначала окружающие считают, что оказавшийся в их поле зре-

ния субъект элементарно не обучен грамоте и не умеет писать, затем постепенно они начинают менять свое мнение и отмечают его способности, а через какое-то время он окончательно трансформируется в признанного мастера слова, реальное значение которого, как я уже сказала, равно нулю.

Таким образом, писатели всегда переоценены, а гении обречены оставаться вечно непризнанными. Будь я физиком, занимающимся изучением аномальных явлений окружающего мира, я бы, наверное, даже изложила результаты своих многолетних наблюдений в виде строгих формул и пропорций, настолько очевидным и четко очерченным представляется мне теперь такое положение вещей. За что, не исключено, мне бы даже присудили Нобелевскую премию. Как учёному, разумеется. Поскольку в литературе, не побоюсь показаться нескромной, мне на эту награду рассчитывать не приходится.

Когда с утра мне случайно на глаза попадает слово «справедливость», то настроение после, считай, на весь день будет испорчено. Если же к нему ещё добавить слово «правда», например, то можно и вовсе лишиться сна, а то и надолго впасть в депрессию.

А есть ведь ещё избирком, урны, избиратели, партийные списки, агитация, голосование, депутаты, выборы, кандидаты, программы, комиссии, бюллетени... Последнее напоминает мне даже не тошноту, как у Сартра, а настоящую блевотину, особенно вместе с баллотироваться и квотами.

И все это является чуть ли не главными составляющими демократии. Нет, спасибо! Лично я предпочитаю монархию. И только монархию!

Встретила сейчас по дороге на речку сразу двух котов, бежевого и белого. Только собралась одного взять на руки, как тут из дома за оградой вышла

вздохмаченная старуха в красном балахоне и, присви-
стнув два раза, хлопнула в ладоши, а потом громко
зашипела. Коты со всех ног бросились к ней и непод-
вижно застыли, зачарованно уставившись ей в глаза,
один сидя, а белый даже приподнялся на задние лап-
ки...

Вот это, я понимаю, магия! Никогда ещё ничего
подобного не видела, даже в кино, по-моему. Как бы я
хотела такому научиться! Если станешь повелительни-
цей котов, мне кажется, то людей можно держать во-
обще за мусор, никакой Фрейд и курсы психоанализа
не понадобятся, чтобы ими манипулировать.

В принципе, я не против иногда немного отвлечься
и посмотреть что-нибудь интересное типа сериала
или детектива. Но проблема в том, что когда имеешь
дело с обывателями, то они обычно считают себя са-
мыми умными и так и норовят подсунуть тебе какое-
нибудь фуфло, чтобы особенно не напрягаться, а сэко-
номленные на съёмках, сценарии, освещении, монта-
же и звукооператоре бабки положить себе в карман.
Поэтому я всё-таки предпочитаю гениев.

Вот скажет человек что-нибудь типа: этим миром
правят бабки или же, что все государства на свете
друг другу враждебны и находятся в состоянии жест-
кой конкуренции и борьбы за сферы влияния, — и
сразу же возникает ощущение, что ты видишь перед
собой олигофрена. Притом что подобные суждения
вроде бы гораздо больше похожи на правду, чем идил-
лические представления, будто вокруг царят любовь,
добро и справедливость, например, и все спят и видят,
как бы друг другу помочь... И тем не менее самые пра-
вильные мысли высказывают исключительно дебилы.
Постоянно в этом убеждаюсь, но найти объяснение
этому удивительному феномену так пока толком и не

смогла. Даже не знаю, может, это какой-то оптический обман?

Лучше всего, кстати, это видно на примере тех же философов. Ясно, что в своем поведении люди руководствуются главным образом корыстными интересами, и их сознание фактически целиком и полностью определяется материальными ценностями. Все, в принципе, это так или иначе понимают. И все равно даже Гегель, как бы я к нему ни относилась, придерживавшийся, как известно, идеалистических воззрений на окружающую действительность, выглядит настоящим мудрецом на фоне практически любого материалиста вроде Фейербаха и ему подобных. Паразитально. Просто мистика какая-то!

Может быть, все деле в истине? Не исключено, что в ней сконцентрирована вся глупость, какая только присутствует во Вселенной. И чем больше индивид к ней приближается, тем тупее становится. Почему бы и нет? В той же физике можно найти похожие парадоксальные явления, которые с трудом укладываются в голове. Даже время, говорят, замедляется для объектов, разгоняющихся до скорости света. Вот и тут примерно то же самое, только речь идет об одушевленных субъектах, стремящихся к познанию конечного смысла бытия.

Люди делятся на хороших и плохих учеников. Но уж никак не на левых и правых или же, тем более, западников и славянофилов — на подобные тонкости, я считаю, можно вообще внимания не обращать. А вот у отличника, привыкшего получать за сочинения исключительно положительные оценки, в дальнейшем нет практически никаких шансов стать гением, да и разница между «проклятыми поэтами», например, и писателями-лауреатами сразу бросается в глаза. Поневоле согласишься с Фрейдом, что детские впечатления самые сильные. Десять лет, в раннем возрасте проведенные в школе, накладывают неизгладимый отпеча-

ток на человеческую психику на всю оставшуюся жизнь.

Одно дело разочароваться в Боге. Просто перестанешь относиться всерьез к идее, будто за тобой кто-то постоянно наблюдает, и все. Ничего особенного, в сущности. А можно ведь еще кучу литературы проштудировать, пытаясь разобраться, от кого исходит Святой дух и сколько ангелов помещается на игле, потратить уйму времени и сил, а потом прийти к выводу, что ты занимался непонятно чем, и большая часть твоей жизни прошла фактически впустую. Вот это будет облом. Покруче чем у чеховского дяди Вани, мне кажется.

Часто приходится слышать, что актеры глупы. Но по-настоящему в этом можно убедиться, я заметила, только, когда кто-нибудь из них решает снять собственный фильм. С другой стороны, так про любого, вероятно, можно сказать, а точнее даже и про всех. Люди умны ровно до того момента, пока ты не понимаешь, что видишь перед собой очередного идиота. Так что раз уж актер исполнял роли выдающихся поэтов, ученых, профессоров и изобретателей, допустим, да хоть бы и гениальных новаторов кино, пусть он таким и останется в памяти потомков, если он больше ни на чем не прокололся, не засветился сам в качестве режиссера и не сочинял стихов. Это было бы справедливо, мне кажется.

И русские футуристы, если бы не революция, тоже, в принципе, могли бы собраться вместе на пенсии и выпустить коллективный сборник, как группа ABBA сейчас. Маяковский, Бурлюки, Крученых и, кто там еще, Бенедикт Лившиц, если не ошибаюсь. Однако Россия, увы, это не Швеция. Там со времен Полтав-

ской битвы вообще, по-моему, ничего существенного, что способно отвлечь певцов и поэтов от творчества, не случилось. У них жизнь, говорят, состоит из одних сплошных дискотек. Ночью поспал немного, а с утра опять на танцы. Неплохо вроде, но даже не знаю, я бы, пожалуй, так не смогла.

Уродство и насилие: одно всегда предполагает другое. Тогда как красота очаровывает... Доказать последнее утверждение, впрочем, мне было бы не так просто. Но, к счастью, есть коты. Их присутствие в этом мире избавляет меня от необходимости тратить время на уточнение деталей биографии малоизвестных широкой публике декадентов. Можно лишний раз прогуляться по городу, посидеть в парке возле пруда и полюбоваться на осенние деревья и цветы.

Новая этика, новая искренность, новая честность... Не хватает только новой скромности еще для полноты картины. Забавно, что такое кого-то вдохновляет. Мне бы сказали, я бы не поверила, наверное, если бы не знала.

Чувствую себя последнее время примерно, как Андрей Белый в окружении поэтов Пролеткульта.

На фоне идей чучхе фактически любой дебил, который не считает, будто бульдозер способен вопреки закону тяготения перепрыгнуть через обрыв, выглядит чуть ли не носителем высшего разума. Однако рано или поздно Северная Корея как государственное образование исчезнет с лица земли, все к этому идет, во всяком случае, и количество олигофренов во всем мире резко возрастет. Я пессимистка.

Красота и комфорт абсолютно несовместимы. На улицах восточных городов силуэты женщин в темных нарядах с закрытыми лицами смотрятся чрезвычайно загадочно и романтично. Однако навязчивое стремление представителей противоположного пола поудобнее устроиться в жизни за их счет серьезно смазывает общее впечатление. Стоит только чуть внимательнее оглядеться по сторонам, и все очарование рассеивается. Те же коммунисты и так извращались, и этак, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение к буржуазному благополучию, постоянно всем пихали в нос, что где-нибудь в тайге, на целине или же на северном полюсе чувствуют себя гораздо лучше, чем в уютной теплой квартире. И все напрасно. Настолько уродливой была вдохновлявшая их идея построения общества, где каждый будет получать по потребностям. Даже отсутствие самых необходимых товаров на прилавках магазинов им не помогло.

274

По Фрейду голосование — это нечто неприличное. По-моему, это очевидно. Человек, хотя бы немного знакомый с психоанализом, вряд ли станет на публике засовывать бюллетени в урну. Последователи Маркса, ясное дело, предпочитают революцию. Уважающий себя ницшеанец, претендующий на звание сверхчеловека, и подавно не будет выводить галочки на бумажке в борьбе за власть. Не говоря уже, что он вообще находится по ту сторону добра и зла, на которые ориентируются претенденты на государственные должности и места в парламенте. А Гераклит так и вовсе считал, что меньшинство всегда лучше, чем большинство. Что явно не совместимо с самой идеей определения победителя путем подсчета голосов избирателей...

В результате наиболее активное участие в выборах обычно принимают читатели женских романов, Донцовой, Стивена Кинга и Коэльо. Стоит ли в таком случае удивляться их итогам?

За Бондом как-то не следила совсем. Периодически слышала правда, что вышла новая серия, и все. Ах да, знаю ещё, что есть девушки Бонда, и такая роль типа большая честь для начинающих актрис. И про принцессу Диану я впервые услышала только после ее гибели...

Но это вовсе не значит, что англичане мне совсем не интересны. Уайльд мне нравится. У меня в столе даже лежат два камушка с его могилы на Пер-Лашез. А вот сестер Бронте, Джорджа Элиота, Томаса Харди и Генри Джеймса я так и не научилась различать.

Сделанные американским спутником снимки Меркурия еще раз подтвердили, что планеты вблизи практически не отличаются друг от друга. Ландшафты Марса на прошлогодних фото были примерно такими же. На Венеру и Юпитер, я считаю, можно теперь даже и не летать...

В наши дни уже мало кто, вероятно, сомневается, что земной шар плывет в космосе сквозь потоки электрических частиц в окружении безжизненных каменных глыб. Если во Вселенной и остались сейчас какие-то загадки и тайны, то они представляют собой что-то вроде нерешенных математических задач и недоказанных теорем, которые просто ждут своего часа, чтобы стать темой для очередной диссертации, тогда как остальным людям, далеким от научной среды, на встречу с какими-либо поражающими воображение сенсациями и чудесами в обозримом будущем рассчитывать вряд ли стоит.

С другой стороны, разочаровавшись в природе, поневоле начинаешь больше ценить искусство. Раз уж даже появившимся на свет в результате случайного взрыва бесформенным скоплением плазмы и лавы тысячелетиями удавалось приковывать к себе всеобщее внимание, пробуждая восторг и трепет в душах миллионов доверчивых зрителей, то почему бы и тебе не

устроить для них сейчас какое-нибудь забавное представление? Нужно просто правильно расставить декорации и держаться от всех на расстоянии.

Вот смотришь на человека и думаешь: какой идиот! Но потом практически сразу понимаешь, что именно благодаря своей неразборчивости и способности искренне восхищаться откровенным фуфлом он и добился определенных успехов в жизни. Иначе бы, скорее всего, о нем вообще никто ничего не слышал, интервью бы у него сейчас не брали, а его книги, если это писатель, не публиковались. И значит, он вовсе не глуп, а очень даже сообразителен. Тогда, почему он в первый момент показался мне олигофреном? И это не отдельный какой-нибудь случай, так бывает со мной практически постоянно.

А ведь именно из подобных торможений и складывается фатальное отставание в жизни. Оцениваешь одного, а к нему уже присоединился другой, потом ещё один и ещё, их уже целая группа, ты оказываешься в окружении дебилов, и каждый из них несёт какую-нибудь чушь, которая на самом деле опять-таки свидетельствует об его уме... И в результате твой мозг не в силах справиться с таким количеством лишних операций, отказывается работать, фактически зависает – хочется побыстрее остаться в одиночестве, отвлечься и отдохнуть. Даже в компьютер можно заложить макрокоманды, чтобы свести несколько периодически повторяющихся действий к одному и таким образом сократить время на обработку информации. А у меня в голове что-то не срабатывает, и в совершенно стандартной ситуации, вот уже и не помню даже сколько лет, мне неизменно приходится прикладывать дополнительное усилие, чтобы снова и снова осмыслить совсем не сложный, в сущности, феномен: сначала я вижу перед собой дурачка, и только потом до меня доходит, как сильно я заблуждаюсь на его счёт. Удивительно!

Прочитала, как сотрудники спецслужб постепенно внедрялись в разные сферы жизни и таким образом пришли к власти в России... Не знаю, если это правда, то будущее за литературой, особенно за поэтами. Все-таки графоманией в той или иной степени страдают практически все люди в современном мире, начиная с дворников и кончая госслужащими. Министр иностранных дел и тот, слышала, сочиняет стихи. Обновляющаяся новость, короче.

В свое время я хотела назвать одну из своих книг «Опираясь на пустоту», но в последний момент передумала. Слово «пустота» ассоциируется еще и с буддизмом, а такой привкус, если так можно выразиться, меня совершенно не устраивает – хотелось бы настоящей чистой пустоты. Но где же теперь ее взять? А раньше, до тех пор пока не представила себе ее на обложке своей книги, о подобных нюансах я вообще не задумывалась...

В словах, продолжая аналогию с кулинарией, действительно есть много общего с продуктами питания. Все оттенки их значения начинаешь реально осознавать, только когда попробуешь из них что-нибудь приготовить.

ВВС назвала 100 лучших сериалов 21-го века... Не первый раз уже натываюсь на подобные списки, главным образом с книгами и фильмами, и практически всегда, что характерно, в них фигурирует число 100. Не так уж и мало, если подумать. Тем не менее, как ни грустно это осознавать, но произведений, которые кажутся мне наиболее примечательными, я в них, как правило, не нахожу. Причем обычно я начинаю их чтение с первых мест в полной уверенности, что именно там (а где же еще?) сейчас встречу какое-

нибудь особенно близкое мне название или имя, потом мой энтузиазм постепенно начинает угасать, в середине достигает нижней точки, я равнодушно пробегаю глазами мелькающие перед глазами строки, однако где-то к 90-й позиции я словно опять выхожу из полубытья, внимательно всматриваюсь в каждый номер: 97, 98, 99 и вот, наконец, 100. Все! Самое важное неизменно остается за чертой, за которую я уже не в силах заглянуть. При этом я даже не могу точно назвать, что конкретно я ожидала увидеть, но все равно при достижении границы начинаю особенно явственно ощущать его близкое присутствие, прямо как в известной игре «Холодно-горячо». Почти наверняка это прекрасное что-то в итоге заняло почетное 101-е место, но об этом, увы, знаем только я и, возможно, Господь Бог на небе, тогда как аплодисменты и признание толпы достаются другим. Невольно вспоминается 101-й километр, куда в советские времена из Ленинграда и Москвы высылали жить не вписавшихся в благополучный обывательский социум маргиналов и отщепенцев.

Воистину роковое это число 100! Все люди мечтают дожить до 100 лет, 100 лошадиных сил, 100 километров в час, не иметь 100 рублей, а иметь 100 друзей, 100 лет одиночества, 100 лет в обед, лет до 100 расти нам без старости, 100 процентов он врет, 100 грамм, 100 очков вперед, считаю до 100: кто не спрятался, я не виноват, 100 раз тебе повторять, 100 дней Содомы, 100 дней после детства, 100 лучших сериалов 21-го века, наконец! Всю, что превышает это число, выпадает из поля человеческого зрения, и никого не интересует. Когда я о нем думаю, у меня даже начинает кружиться голова. Нет ли тут, кстати, какой-нибудь фатальной закономерности, обусловленной воздействием цифр на космические процессы? Интересно, что по этому поводу сказал бы Пифагор? Лично я бы не удивилась, если бы вдруг выяснилось, что по расчетам астрономов доступная глазу линия горизонта, за которой начинается ночь, тоже по мере вращения Земли

постоянно отодвигается на расстояние в 100 километров от тех, кто к нему движется.

Харуки Мураками, Харуки Мураками, Харуки Мураками — три раза повторишь, и такое чувство, будто съела арахис и кусочек булочки с маком, ощущаешь определенное насыщение, таким образом можно даже похудеть. Но только в том случае, если ты никогда не открывала книг этого писателя, иначе в голову сразу будут лезть лишние ассоциации и нужного эффекта достичь не удастся. Достаточно наглядный пример вреда лишних знаний и чтения, я считаю.

С этой точки зрения я всегда завидовала тем, кто не читал Селина. Увидят его имя и сразу вспоминают сериал «Улица разбитых фонарей» про милицию, где играл его тезка, и начинают напевать «Наша служба и опасна и трудна» или что там еще исполняют в начале и в конце, когда показывают название и титры. Их жизнь полна удовольствий и беззаботного веселья. Про себя я даже не говорю. От моего псевдонима, я заметила, да еще при моих тиражах, с Селином не сравнить, люди вообще пачками падают и катаются по полу в экстазе.

Бог, как его представляю себе я, слишком хорош, чтобы в его существование было можно поверить. Религия же предлагает людям образ куда более реальный, но мне он не особенно интересен.

День лицеев отмечают сейчас 19 октября, в полном соответствии с известным стихотворением Пушкина, тогда как годовщина революции, которая, как известно, произошла 25-го, переместилась в ноябрь, что, впрочем, не мешало еще несколько десятилетий продолжать называть ее октябрьской. Выходит, что привязанность обеих дат к октябрю в названии особой

роли в данном случае не играет. В чем тогда тут дело? Никто специальных исследований на данную тему, насколько я знаю, пока не проводил. Но вполне возможно, что ноябрь — это что-то типа черной дыры, только во времени, и 25-ое октября туда просто засосало, поскольку оно по чистой случайности оказалось к его началу на шесть дней ближе, чем 19-ое. Разумеется, это пока только гипотеза, и данный феномен нуждается в более тщательных и длительных наблюдениях. Однако в пользу моего предположения свидетельствует еще и тот факт, что к настоящему моменту от Октябрьской революции, несмотря на ее значительные размеры, масштаб и размах (недаром же ее называли еще и «великой»), не осталось практически никаких следов. Как это обычно и бывает со звездами, и тоже абсолютно любой величины, когда они сближаются с космическими черными дырами и в какой-то момент пересекают роковую черту.

Да я и по себе могу судить, что просыпаясь утром 25-го октября я, как правило, тоже испытываю довольно необычное чувство, будто меня начинает прямо тянуть каким-то неведомым магнитом, причем ни куда-нибудь, а в направлении ноября, именно такая мысль мне неизменно приходит в голову в подобные мгновения, особенно это ощущается, когда подходишь к окну и смотришь на тяжелые свинцовые тучи на небе и морозящий за стеклом дождь. И такое случается со мной в этот день постоянно, вот уже на протяжении многих лет, практически с самого раннего детства. Стоит, правда, мне перевести взгляд на календарь и убедиться, что до ноября осталась еще целая неделя, как это наваждение, иначе не скажешь, отступает. Однако определенные симптомы, что под личиной ноября скрывается некая аномалия, все-таки имеются. И скорее всего, я считаю, речь идет об аналоге астрономических черных дыр, только в несколько ином измерении. На что и указывает, в частности, трагическая участь Великой Октябрьской революции. Можно еще вспомнить Бермудский треугольник и перевал Дятло-

ва, но все они присутствуют в пространстве, а ноябрь во времени.

В любом случае все это лишний раз заставляет задуматься над тем, насколько осторожной следует быть, когда имеешь дело с различными знаменательными датами. Чуть расслабишься, и тебя запросто может утянуть вместе с какой-нибудь из них в неизвестном направлении прямо из собственной квартиры в форточку. Правда меня, к счастью, в том же ноябре не только годовщина революции, но и день народного единства, и, что там еще, профессиональный праздник работников милиции, по-моему, никогда особенно не волновали. Наоборот, я всегда как будто инстинктивно чувствовала, что с этим месяцем что-то не так, поэтому старалась вообще не обращать на них внимания. И как бы привлекательно и романтично их названия ни звучали, я, подобно Одиссею, на зов этих коварных сирен стойко не реагировала. Но Одиссею, чтобы избежать соблазна, пришлось даже привязать себя к мачте своего судна, а мне и этого не потребовалось. Просто прыгаешь по дням, как по ступенькам, нигде слишком долго не задерживаясь, и пусть вокруг дождь со снегом и слякоть, зато в темноте вдали уже виднеются новогодние огоньки.

Не уверена, что в шахматах есть какой-то смысл, зато имеются победители и проигравшие. Про искусство, в принципе, тоже можно так сказать. И в этом плане они, конечно, поинтереснее, чем жизнь.

День кутания в пледы... Заглянула по ссылке, чтобы уточнить, о чем речь, и прочитала, что надвигается еще и Всемирная ночь воя на луну.

Смотрю сейчас старое кино про Эдит Пиаф. В финале уже на смертном одре фактически, отвечая на

вопросы журналистки, что бы ей хотелось пожелать своим поклонникам и посоветовать начинающим певцам и молодежи, она три или четыре раза с надрывом повторяет: «Любить. Любить. Любить...». После чего у меня возникло устойчивое ощущение дежавю, и я стала мучительно перебирать в уме, где я что-то похожее уже видела, пока не вспомнила, как в фильме по Маргарет Дюрас, в ее же постановке, скорее всего, алкоголического вида баба под пятьдесят, уставившись в камеру неподвижным взглядом, таким же хриплым голосом, только с еще более устрашающими интонациями, твердит: «Любовь. Любовь. Любовь. Любовь...».

Ах да, еще и Ванга, если не ошибаюсь, перед смертью всем завещала любить.

В Англии есть королева. Пусть она ничего не решает, но там никому не приходит в голову назвать премьер-министра королем. В этом, мне кажется, и заключается главный смысл сохранения монархии в наши дни.

Бунин в свое время довольно резко высказался о революции, и не только он, еще много кто. Но лучше бы они этого не делали. И не потому, что были неправы, скорее, наоборот. Достоевский чуть раньше также кое-что верно предвидел. Просто если всех их прочитать, невольно приходишь к выводу, что слова в этой жизни вообще ничего не значат.

И сегодня тоже, чем больше мне на глаза попадается точных наблюдений и глубоких мыслей об искусстве, религии, политике, природе, науке, философии, гениальности, красоте и уродстве, тем сильнее у меня портится настроение. И только откровенная ахиня и абсурдные умозаключения, которых, к счастью, тоже хватает, помогают окончательно не впасть в депрессию и сохранять веру в людей. Благодаря им у меня в душе до сих пор теплится слабая надежда, что вокруг

полно реальных дебилов, которые действительно чего-то не понимают и поэтому ведут себя как придурки.

Когда слышишь слово «время», перед глазами сразу встают висящие на стене часы, циферблат с вращающейся по кругу стрелкой, ручные часы на ремешке, настольные часы в форме обхватившего их руками чугунного медведя, вспоминается слабое тиканье в темноте, звон будильника по утрам или же бой курантов на городской башне, и этого, в принципе, вполне достаточно, чтобы понять, о чем речь, когда говорят: «время еще есть», «ваше время истекло», «отпущенное ему время», «время покажет», «всему свое время», «время пришло», «время — деньги» и т.п. Но стоит только на мгновение задуматься, что все-таки представляет из себя время, как вся ясность понимания этого слова сразу куда-то улетучивается и в мозгу возникает жуткая путаница. Страшно представить, сколько увлекательных, важных, полезных, приятных и красивых вещей, событий и явлений в окружающем мире можно пропустить, если попробовать полностью сосредоточиться на времени и хотя бы часть времени своей жизни посвятить его осмыслению.

А ведь именно этим, насколько я знаю, и занимаются философы, причем их интересует не только время, но еще и бытие, существование, сознание, материя, разум, красота, добро, зло, любовь, истина... да до фиги всего! И они вот так тупо сидят дни напролет, уставившись в стену, чтобы со всеми этими словами разобраться и установить, в какой последовательности они располагаются, что из них первично, насколько является чистым, можно ли ему доверять и откуда взялось. Бедные! Когда я об этом думаю, мне становится даже как-то не по себе!

Уже второй год приходится сторониться людей на улице, закрывать лицо тряпочкой и тупо отпрыгивать

от невидимых частичек на полтора метра. Это же смешно! Какой-то запредельный примитивизм, как в каменном веке фактически. А тем временем ракеты с компьютерами, электронными камерами и мобильной связью на борту летают на Юпитер, Венеру и Марс. И какой толк от этих ракет?!

Лучше бы Циолковский в свое время не о космосе мечтал, а изобрел какое-нибудь универсальное приспособление от вирусов, что-то типа инфракрасного пылесоса, допустим. Заходишь в помещение, включаешь на пару минут, и все новые и старые штаммы опасных инфекций отсасываются. Ему же все равно особо делать было нечего наверняка. Когда у тебя день расписан по минутам и постоянно приходится думать, где взять бабки на жратву, вряд ли ты станешь отвлекаться на покорение Вселенной.

Но если уж на то пошло, то здоровье населения Земли — тоже вполне себе заслуживающая внимания мечта, ничуть не хуже человека на Луне, я считаю, на которой почему-то всех потенциальных гениев научно-технической мысли, судя по всему, сейчас заклонило.

Услышала тут новое слово: вальвеологи. Но даже в словарь заглядывать не стала, наверняка какие-нибудь олигофрены.

Из всех известных мне профессий разве что «поэт» звучит более-менее солидно и внушает уважение, а на остальных сейчас можно вообще не обращать внимания.

Мало кто способен осилить Рай у Данте, в основном всем нравится Ад. Но когда речь заходит о загробном мире, практически все почему-то словно боится признаться себе в своих предпочтениях, и, по сути, обрекают себя на вечные мучения в раю, иначе не скажешь. И ладно бы только на вечные — реальная жизнь подавляющего большинства людей представляет собой

точно такое же мучение в раю. И в самом последнем круге этого посюстороннего «рая» пребывают сочиняющие высоконравственные высокодуховные стихи поэты, включая Данте.

Илон Маск прочитал «В стальных грозах»... Эрнст Юнгер уже никогда не будет прежним.

Хармс и Сергей Михалков. Одна из ключевых антиномий русского духа, на мой взгляд. Не менее значимая, чем противостояние Пушкина и Лермонтова, Обломова и Штольца, Петербурга и Москвы или же Толстого и Достоевского, которым Мережковским посвятил когда-то внушительных размеров монографию. А эта тема еще ждет своего исследователя, видимо.

Важно, чтобы за нее взялся специалист, способный смотреть на вещи объективно и беспристрастно. Но где такого найти? Я, например, даже когда речь заходит о столь привычных, казалось бы, явлениях природы, как день и ночь, и то не в силах совладать со своими чувствами, чтобы оценить достоинства светлой половины суток, какие наверняка имеются, и фактически полностью растворяюсь, если так можно выразиться, в ночи и темноте или даже в безумной мгле. Солнцу я точно так же предпочитаю Луну, холод — теплу, а море — суше... Что же говорить о Хармсе и Михалкове. Такую задачу мне определенно не потянуть, как ни грустно это осознавать. Боюсь, что у меня совершенно ненаучный склад ума.

Открыла пачку, а печенье оказалось все покрыто плесенью и, самое главное, на вкус прокисшее, есть невозможно. Хотела было отнести его обратно в магазин и устроить скандал. Но потом решила, что, пожалуй, отдам воронам. Вороны такие необычные черные большие красивые загадочные романтичные умные

добрые, ворон ворону глаз никогда не выклюет, да еще и скромные и неприязательные, от печенья с плесенью наверняка не откажутся... И пока я о них думала, все мое раздражение улетучилось, и я окончательно успокоилась. Вороны — птицы мира! На месте Пикассо я бы выбрала в качестве такого символа их, а не голубей.

Но в результате печенье все равно съели голуби. Стоило мне только бросить горсть крошек на траву, как слетелась целая стая голубей, а ворона так и осталась сидеть на ветке дерева, к которому я специально подошла в надежде привлечь ее внимание. Мало того, она еще и презрительно отвернулась. Понятно теперь, почему Пикассо предпочел воронам голубей, сказалось родство душ, видимо. Он ведь и сам был таким же пронырливым и хватким, не гнушался получать премии и бабки от коммунистов, хотя в СССР так и не удосужился ни разу приехать, по-моему, действуя по принципу «и нашим и вашим». А вороны — птицы гордые и независимые, как я.

Сегодня утром, проснувшись, вдруг поняла, что до сих пор не прочитала Лотреамона. А ведь это мой любимый поэт вроде как. И я много раз об этом говорила и писала...

Собиралась когда-то очень давно, но почему-то откладывала, а потом и вовсе забыла. На «Войну и мир», Горького, «Тихий Дон», Николая Островского, Гайдара, «Унесённых ветром» и ещё кучу всякой макулатуры у меня хватило времени, а «Песни Мальдорора» так и стоят на полке нетронутыми. Черт! Как там говорят в подобных случаях? Мы постоянно забываем уделить хотя бы минимум внимания своим самым близким людям.

Пандемия как эстетический феномен полностью себя исчерпала. Все что можно к настоящему моменту

про нее уже сказано. А она все продолжается и продолжается, причем исключительно из-за недостаточной осведомленности вирусологов. Яркий пример отставания науки от поэзии.

Лермонтову не было и двадцати шести, когда он написал «И скучно и грустно». В то время как химики, физики, астрономы и биологи до глубокой старости с увлечением смотрят в микроскопы и телескопы в надежде обнаружить в окружающем мире что-нибудь новое и необычное.

До конца 21-го века, между тем, осталось всего каких-то жалких восемьдесят лет. С ума сойти, как стремительно летит время! Не знаю, может, это просто оптический обман, но 20-й век в девяностые казался ужасно длинным: там и Гитлер был, и XX съезд, Оттепель, Великая депрессия, даже Распутин успел засветиться, Мата Хари, Рудольф Гесс отбывал пожизненный срок, да полно всего, одна только Блокада тянулась 900 героических дней... А тут осталось всего-то одному индивиду родиться и выйти на пенсию, и все.

extremum

Александр Дугин

ПОЛОЖИ СВОЕ ТЕЛО В ОСОКУ¹

Метафизика преступления

288

Когда обыватель ужасается описаниям чудовищных преступлений с мутацией, расчленениями, кошмарными подробностями — это понятно. Менее понятно, почему он любит, страстно любит ужасаться этому, неявно, но настойчиво требует все больше и больше ужасов, все больше и больше расчленений, чтобы, содрогаясь, в тысячный раз читать чудовищные подробности — отрезанные головы, вытряхнутые внутренности, вскрытые лона, выдавленные глаза, отделенные кости, уши, по которым полоснули бритвой, гениталии, валяющиеся в нескольких шагах от их бывших владельцев и т.д.

Ясно, что Чикатило — понятие внутреннее, что он выражает какую-то обязательную, интимно-близкую, неразрывно связанную с глубинами подсознания фигуру. Это не человек, это фетиш, знак, голос человеческой психики.

Преступление, — особенно страшное преступление, — резонирует с природой человека, с ее фундаментальными пластами. Значит, преступления и психиатрия связаны неразрывно.

Разделение преступников на невменяемых и вменяемых — чистая социальная условность, конвенция. Если маньяк способен к ясной рациональной деятельности и прекрасно владеет собой, это отнюдь не озна-

¹ Газета «Лимонка», 1997.

чает, что он не может обладать вместе с тем настолько выраженным, настолько яростно заявляющим о себе душевном миром, что в определенных ситуациях глубинные архетипы захлестывают его с головой, ввергая во власть древних космологических стихий, толкая на реальное совершение того, что являлось содержанием древнего мифа.

И напротив, явный шизофреник, не способный составить мало-мальски разумного предложения или непротиворечивой грамматической конструкции, в момент адского преступления нередко обретает поразительную ясность сознания, которой столь болезненно, столь жестоко, столь фатально и мучительно лишен в обычных ситуациях.

Одного при этом убивают, а другого просто лечат. Это имеет смысл лишь в упрощенном социальном обиходе, где без огрубленных определений и приблизительных сентенций не обойтись.

На самом же деле, все намного, намного сложнее.

«Преступление–бессознательное–мифология–религия».

289

Эту цепь нельзя прервать искусственно. Где строго кончается одно, а начинается другое?

Исток религии — «сюжет, предшествовавший изгнанию праотцев из рая» — есть Преступление.

Развитием или свертыванием Преступления, подготовкой к нему или проживанием (изживанием) его последствий является вся известная мифология — от классики до архаики.

И все это не данные отвлеченной историографии или описания давно прошедших эпох. Все это существует в психике конкретных людей, наших современников, и не собирается никуда исчезать из этого облюбованного места — из «топоса» души, который, собственно, и состоит из испарений преступного тела и уплотнений воющего с ним покаянного разума.

Чикатило современник Диониса. Компаньон египетского бога Сета, соучастник великой мистерии ин-

дусских богов, принесших в жертву и расчленивших Праджапати — первочеловека.

В драме психики, в таинстве преступления, в ассимиляции мифа — нет времени. Все, что происходит там, случается в вечном настоящем. Зеркала репрезентаций, сложные механизмы нагромождающихся контекстуальных дистанций, горы конвенциональных срезов культуры — все это растворяется во влажно-реальном, пробужденном, умопомрачительном акте конкретного преступления.

Мистику его видения могут лишь представляться. Ученый, сталкивающийся с головокружительными тайнами, успокаивает себя тем, что это все в прошлом. Художник снижает накал безумного откровения тем, что разделяет творчество и быт.

Преступник не имеет укрытия. Он один на один с голым бытием. А перед ним с чудовищной наглядностью факта, совершения, реализации — кровоточащий плод его рук. Некуда бежать, не на что списать. Невозможно проснуться или протрезветь. Пробуждение и трезвость и так тотальны.

«Что я сделал!» — ревет внутри.

«Это Я сделал!» — давит плитой на сердце.

«Мне удалось это сделать!» — торжествует темный вихрь из бездн внутреннего мира.

Зверь в нас не метафора. И не болонка. Пострашнее шакала, поковарней диких котов, погрознее лунных свиней Гекаты, кровавей геенн, поопаснее рыси... Это не просто зверь. Это Человеко-Зверь, Theiōn.

Динамика ролей

Неверно делить преступников на вменяемых и невменяемых. Это мы уже сказали. Неверно также делить главных действующих лиц преступления на жертву и палача.

А вы думаете убивать не больно? Терзать воняющую плоть не противно? Мучить других, наивно попавших в ваши руки, не страшно?

Все знают о «Стокгольмском синдроме». Когда заложники встают на сторону террористов. Менее известны (так как свидетели чаще всего молчат вечным молчанием) перманентно повторяющиеся ситуации, в которых истязаемая жертва начинает осознавать себя палачом и морально ликовать, даже сладострастно издеваться над мучителем. Мифическая драма, очень напоминающая сценарий ролей в половом акте. Имитация насилия, имитация жертвенности, постепенно переходящая в нечто противоположное. Роли меняются, меняются положения тел. Якобы боль (и просто боль) рождает наслаждение (или якобы наслаждение). Мужчина отдает часть своего организма, а в быту это называют обратной формулой. Как и эротический акт, преступление корнями уходит в тайну возникновения мира, в базовые пласты антропо— и космогенеза.

Преступник и жертва находятся в таинственном сговоре, в симбиозе, в особых уникальных отношениях. Тот, кому предстоит убить, и тот, кому предстоит быть убитым, выносятся за пределы социальных конвенций, так как обоим сейчас, вот-вот, предстоит окончательно и бесповоротно переступить линию в одном направлении. Они попадают не в никуда... Точнее, это никуда постепенно превращается из непроницаемой тьмы ужаса в особое таинственное, волшебное пространство вне времени, где пейзажи, вещи, декорации приобретают абсолютно новый смысл.

Повторяется великая драма творения, в основе которого — жертва, убийство, заклание, расчленение.

Жертва становится основой нового мира. Палач, исполнитель космогонической мистерии, умирая с тем, кого он убивает, казнит самого себя и снова очищается в кровавом ритуале.

Человеческие жертвоприношения древности имели тот же смысл.

Расчленение — возврат к космогонической мистерии.

Духи-пожиратели

Известно, что типичным синдромом шизофренического бреда является галлюцинативное представление собственного тела как решета, навязчивая идея отделения членов одного от другого, странная способность «заглянуть внутрь своего собственного организма». «Человек открывается, как цветок, его внутренние органы становятся внешними», — свидетельствуют пациенты клиник для душевнобольных.

Происходит провал под поверхность сознания, а в этом мире, максимально приближенном к телесности, предметы, зародыши мыслей и змеи медленных чувств настолько удалены друг от друга, что настойчиво отказываются от помещения или складывания даже в отдаленное подобие системы.

Почему так?

Потому что акт творения космоса, акт возникновения вселенной логически означает переход в мир множественности, в плоскость дискретных частиц. Отталкиваясь от хаотического дна реальности, человеческое сознание и человеческое общество, а равно и физический порядок вещей и элементов, сразу же стремятся подняться к более высоким уровням, где восстанавливается некое подобие того органического единства, которое было присуще (и присуще) Праджapati до творения, жертве до ее расчленения.

Но этот путь всегда обречен, пока внизу лежит квантовая тьма материи. Она будет заставлять возвращаться к ней все снова и снова, пока проблема дискретного существования, множественной количественной вселенной не будет решена однажды единственным, бесповоротным и необратимым образом. Расчленение есть не что иное, как онтологическое свидетельство о входе Духа в материальное бытие.

Он входит через расчленение, и значит и выйти сможет только таким же путем. Убийца и убиенный — полюса только в роковом, фатальном и неснимаемом, метафизически противоречивом дуализме. На самом

деле, они — суть одно и то же. Жертвенный акт должен повториться дважды.

Мы возникаем в материи как результат расчленения, мы имеем шанс вернуться в дух только через такое же действие. На этом основана шаманская инициация. Духи варят неофита, стремящегося стать шаманом, разрывают его на много кусков, отделяют кости его скелета от мяса. Потом собирают заново. При этом в магическом ритуале часто повторяется одна деталь — восстановленный человек, «заново рожденный» не имеет более магической плоти. Он символизируется отныне черепом или скелетом. Он — только основа человека, его твердая вертикальная, осевая духовная часть. Мясо материи надежно счищено с костей души.

Именно этот символ был знаком таинственных орденов, появившихся в начале Возрождения в Европе. Скелет и кольцо с черепом.

Такой же смысл у тибетского ритуала чод, где буддиста разрывают в чаше его собственного черепа дакини — женские духи, исполняющие роль посвященных. Они съедают тело неофита, истязают его, пока на месте человека не создается совершенно гладкое черное озеро. Это внеиндивидуальное черное озеро есть нирвана. Обретение истины.

Заметьте, что посвященный шаман или тантрический буддист, достигший таким образом Пробуждения, благодаря палачам тонкого плана обретают духовное бессмертие, становятся в каком-то смысле намного выше, чем их мучители, которые оказываются в конечном итоге, лишь слугами в инициатическом пути человека, ищущего более свободного и более достойного существования, чем эта земная имитация жизни.

Кстати, сходную функцию выполняют бесы в пути монашеской и особенно анахоретической христианской реализации. Они истязают отшельников, мучают их, но, в конце концов, именно благодаря борьбе с ними, благодаря страданиям и боли, обретается спасение и просветление.

Новое шизофреническое тело

Антонен Арто, который, будучи реальным безумцем, спонтанно открыл и прожил глубиннейшие доктрины Традиции, писал об особом «новом шизофреническом теле», к которому рвется темная воля исследователя глубин после болезненного, невыносимого понимания распада плоти, после «расчленения» и «саморасчленения». Это «новое шизофреническое тело» не имеет отдельных органов, членов. Это голова — без глаз, рта, ушей, ноздрей и т.д. Просто «голова». Точно так же и остальное тело, — которое, кстати, в данном случае не может быть строго отделено от «головы», точнее, того, что здесь называется условно «головой», — не имеет деления на «руки» и «ноги», более того на «внутренние» и «внешние» органы. Сущность «нового шизофренического тела» в том, что оно принципиально нерасчленимо, что оно — постпреступно, сверхжертвенно, не имеет шансов ни стать жертвой, ни выступить в роли палача. Эта реальность — реальность души, взятой в ее наиболее свободной и самостоятельной форме. Это гораздо ближе к реальному «я» человека.

Жиль Делез, боготворивший Арто, идеально точно подмечает, что «новое шизофреническое тело» есть «новая поверхность», то есть тот фантастический и впервые интересный и осмысленный мир, куда стремится подняться, поместиться пронизательная воля трагического шизофреника, схватившего и пережившего кошмар человеческой конституции в ее наиболее глубинном измерении.

«Новая поверхность» — то, что следует за магическим ритуалом спуска в миры расчленения, как вторая фаза, как награда, как венец инициатического делания. Эта «поверхность» во многом подобна обыкновенному горизонтальному сознанию, и вещи, смыслы и существа, на ней обитающие, весьма напоминают предметы знакомого мира. Но... Но в данном случае это уже не предметы, а их смысловые эссенции, они не подлежат больше кошмарной перспективе распада как

темной подоснове души. Они неанатомируемы, неразлагаемы, неампутируемы, органично целостны. Морговое вскрытие и американский ножик Мальдорора над ними не властны. Не удивительно поэтому, что в мире «новой поверхности» намного легче дышать, там разряженный и увлекательный воздух — ведь масса ненужных людей, сил, пейзажей и мыслей остаются за бортом этой реальности. Они — скорлупы, темная магия расчленения забирает их целиком, поскольку очищать и инициатически оживлять в них попросту нечего.

Куда исчезают помехи?

Давнишние знакомые? Детские сны? Покойники? Старые газеты?

*Был у меня приятель
Лучшего ты не найдешь, —*

как пели сросшиеся уроды в одном из рассказов Густава Майринка.

Возможно, существует особое пространство внешних оболочек, где фрагменты реальности, оказавшиеся непригодными для инициатического строительства души, пребывают вечно, безостановочно переминаясь и разлагаясь в неуютном космосе, навсегда оставленном жизнью и ее агентами. Туда же отправятся очень многие из тех, кого мы знаем и о ком думаем.

Но все это больше не имеет никакого значения.

п е р с о н а ж и

Вильгельм Шенрок СЕРТИФИКАТНЫЕ ВСТРЕЧИ

БАКШТЕЙН

Говорят в молодости был красавцем! (Кто из нас «в молодости» не был лишён этого недостатка?!) Довольно отвратительный тип! Чем и притягивает. Человек (по моему лысый?), которому приятно говорить гадости прямо в лицо. Не боясь осуждения окружающих. Да и Иосифу приятно! Без конца курирует какие-то важные институты! Загляденье! В этом курировании мальчишь-кибальчиш всегда был фатом! Так и слышен его треск-смешок. Если его присадить на корточки и покрасить бронзой в метро на «Площади революции», его бедро было бы отполировано «на счастье» благодарными пассажирами-перформанистами, идущими на пересадку к станции «Успех-Урюпинская»! Он, безусловно, душевно-тёплый, быть может, даже приторный, поэтому ленинский прищур защищает его от собственного излучения, именуемого в народе «предательством интеллектуалов». Ему пошла бы косуха с левосторонней молнией. Я люблю его сурово отрешённое лицо любовью заискивающей, фамильярно недостойной любовью маргинала. Классик вне досягаемости обид, повелительного снисхождения. Я готов бегать ему за «Клинским», но снисходительность его принципиально против живописи. Любимец простушек и стерв, запросто проходящий любой фейсконтроль. Из Иосифа получился бы хороший репер, жонглирующий балалайками.

Иосиф Бакштейн — гений презрения с детдомовским отрешением! Воодушевлённого ароматического презрения к... «ху-до-жни-кам»! Эти ползучие твари —

так выпренно Иосиф выражаться не станет. Даже просто: «твари» — и то вымученно. Тля! В 1964 году Иван Шевцов пишет роман-памфлет «Тля» про ничемного мазилу-авангардиста, в то время как реалист-прогрессист (цитирую, не удержался): «Над свежими бороздами с криком вьются грачи и вороны. Русский крестьянин в рубаше без пояса и в лаптях стоит у сохи, протянув корявые руки к Ленину. Владимир Ильич — простой, знакомый и до боли близкий — стоит, приласкав рукой белоголового босоногого мальчика, принёсшего завтрак отцу, и внимательно слушает «сеятеля и хранителя» земли русской. И, кажется, Ленин уже видит в весенней дали тысячи тракторов, вышедших на безбрежные просторы России, чтобы переделать крестьянскую жизнь». Иосиф Бакштейн так и видит эту выразительную картину, дополненную Виноградовым-Дубоссарским (новыми передвижниками), дополненную, повторю, голозадой пышнобёдрой роскошногрудой русой красавицей с оглушительным соблазном оглядки спускающейся к водам всё того же будущего! Иосифа Бакштейна с его презрением к летописцам-художникам можно понять! (Впрочем, поваляться бы в стогу сена с такой барышней!.. но это уже не по тексту.)

Итак, красивый в прошлом, но не оскудевший в красоте и ныне Иосиф не ироничен — это затратно, но просто небрежен в ненависти к дуракам, что утомляют землю русскую своим присутствием! (Господи, какая глупость!) Что утомляют просто немым присутствием. Без скорби и просьб к продвинутому куратору. Который плохо пишущей пастовой ручкой запросто мог бы внести твоё имя в реестр (чего?) хотя бы выигрышных операционных систем мирового искусства! Причём с лендой и эдак запросто, почти как денди! Вот только менталитет Иосифа Бакштейна, но не будем столь откровенны! Это тоже раздражает Иосифа!

Не скрою, я любил смотреть в слизистые глаза Вани Бакштейна. Бывало, скользнёшь из глаз по его округлой маслянисто-блестящей лысине и катишься до

горизонта небывалых остроумий. А Ване только щекотно в его ленинском прищуре отрицания искусства.

КУЛИК

Олежек прелесть! Кто не помнит его бредущий полёт с бабочкой под горлом на юбилейном пятилетии Галереи Гельмана на Кузнецком мосту, когда раздосадованный, вечно онанирующий израильтянин Бренер, (по пиар-сговору с юбиляром, булавой — не истекающим завистью членом — крушил стёкла выставки). Олежек в лакированных чёрных ботиночках исполнял чечёточку под стеклянно-каркасным быком, насилюющим корову. Были времена!

Обычный парень украинской национальности достиг высот не только у москалей, но и снискал за океаном!

Кулик встал с колен, как и Родина! Теперь он не на четырёх! Тогда как его винтообразный хвост провис наши самолёты день ото дня крепче.

298

Помню в галерее «Реджина» резали поросёнка. Это было по-гоголевски и по-украински одновременно. Олег ходил в галстук и лакированных остроносых ботинках, немного стоптанных. Зловеще-чёрная непривычная бабочка теснила ему горло. Его успеху было завидно. Ныне матерная группа поппсы на «А» (не буду делать дополнительную рекламу!) в чести. Есть заграничный парень Бренер — хрестоматийный символ зависти к Кулику! Лучше завидовать Кулику никто не смел! Это тот, кто онанировал на каждый портрет Кулика, выставленный в витринах антикварных лавок Москвы. Однажды Олег занял все этажи в ЦДХ и наделал на голову гипсово-картонного Льва Толстого! Перфомансист Бренер едва не кончил с собой от высшей степени паранойяльной зависти. Да что там — гудела Москва! Таков Олег в лучшие годы!

Олегу хорошо дышится среди деревенских поросячьих просторов. Возглавляя Демократическую Партию Животных, он чувствует себя крепким управленцем. Как вегетарианец-ветеринар, он энциклопедиче-

ски обладает зоофилией, о бесправии братьев наших меньших на любовь и страсть у мастера все права. Посмотрите в глаза собаке, погладьте за ухом кошке, взгляните под хвост корове и вы проникнитесь примирением и состраданием.

Олег виртуоз и фантазёр в области просвещения биомассы... Курино-гусиный помёт между пальцев ног... Олег много сделал в освоении психикой принадлежащей ей телесности, зачастую брошенной, неухоженной. Человек, который руками и ногами проголо-совал за мир и дружбу между низом и верхом! Даже Карл Маркс становился на четвереньки и бегал, вывалив язык, вокруг стола с детьми на спине. Иной раз нам не достаёт простоты в обращении с братьями нашими меньшими. Естество, стирающее грани...

Признаться, (это глупо, но...) у меня было желание похитить куратора собственного восхождения и хранить, как произведение хепенинга в подвале дома. Сделать это было проще простого. В подвале "Синтеза" он хранил совокупляющихся быка и корову, прежде чем продал в Голландию. Позволю небольшое отступление, как об этом было написано выше. К 5-летию празднования Галереи Гельмана на Кузнецком мосту бык, совокупляясь с коровой, залил выставочный зал, и Олег Кулик в бабочке заламывал руки Александру Бренеру (ныне смилившемуся писателю-реалисту) за то, что тот кувалдой громял выставленную под стеклом графику Дмитрия Александровича Пригова! Во — хепенинг продуманно устроенный Маратом Гельманом, толкнул я в бок друга Сергея Подреза. Но всё оказалось скучнее. Это была обычная натуралистическая мутотень, какая случается на сельских свадьбах с перепившимися гуляками. Такое бывает даже с радикальными авангардистами. Но так и не выбрал — Кулика или Гельмана заточить в подвале. Может быть, оно и к лучшему. Олег мне нравился. С Гельманом мы виделись в Нью-Йорке на выставке каннибалов, поедающих В. И. Ленина. Но это уже совсем другой исторический период нашей многовесёлой родины.

Однажды в каком-то ночном клубе, пестрило в глазах, (кадр из криминальных фильмов Тарантино) я порвал с Куликом: подарил ему с дарственной надписью «120 дней любви». Полупьяных нас зажало в углу, здесь наши дороги разошлись, не без злорадства, я ткнул в него книгой, лучше бы сорвал одежду, станцевал лЯзгинку. Когда рвёшь с товарищем по оружию, случается промочить пальцы ног. Позже встречались, но уже во льдах. Любвеобильные времена Джорджио Сороса канули в очко истории, взорвав рой пышнокрылых зелёно-гудящих турбо-мух. О, времена — о, дерьмищанравы!

Пацюков привёз Кулика пить водку в мастерскую «Синтеза». В вечерних лучах солнца горели сосны, зрелище не для слабоокультурных, побежал за этюдником. Ложь. Просто сидели со стаканами и глазели на оранжевые стволы. Ложь. Не просто сидели. «Я хочу быть Кабаковым, бегать, как он, на четвереньках до конца дней», — без слёз на глазах, Олег, — «Если бы у меня был такой дом (повёл рукой с накрёнённым стаканом), я бы всё бросил!» Виталий, согласно чину, молчал. Я выдавил зубной пастой на груди Олега нож и с этим «ножом» в руках обнял его для исторической фотографии. Чего не сделаешь ради пренебрежения и любви. В отличие от критиков (а ныне кураторов), художники народ тщеславно грязный, я наносил художественные раны зубной пастой на теле Кулика, предварительно обезопасив его намордником. Водка помогала понять, что переустройства общества не будет. Татлину, Малевичу и Розе Люксембург повезло. Трудящиеся, мы злились впустую, изо всех последних абсурдных сил давя на педали нигилизма; ноль шансов, при баснословной игре в величие. Сквозь закатные сосны Венера. Однажды англосакс, большой британский учёный Стивен Хокинг, скажет: Я понял многое, быть может, даже очень многое, кроме женщин. Учитывая внешность каждого из нас, можно смело утверждать, что мы не Леонарды да Винчи и не Марии Стюарты. (Не знаю, удалось ли мне выразиться.)

ПАЦЮКОВ

Помню, в каком-то 70-ом, в каком-то полутёмном зале, какой-то полутёмной выставке блестит глаз. Всё. Можно было бы не продолжать, но как выразился Кулик: «Пацюков — это король Лир!» Короля играет окружение, буду окружать! Припадаю на колено, красноколючие гвоздики революции дрожат в руке!

Я постановил: вблизи Виталия витальность жизни конденсируется! Я максимально насторожен относительно всяких смыслов. Про искусство проведена граница, укреплённая и в то же время приятно бесполезная. А вот о жизни, об истрепавшейся гонимой технологиями метафизике — здесь я намерен держать форпост! При встрече идут поверхностные разряды зловещего молчания, тогда как внешне всё благопристойно, мило. У нас несоизмеримо разные службы. Тяготы Виталия много невыносимее моих детских проблем. Мне плевать на социальные связи, тогда как он в путях. Мне не терпится произнести глагол «РОССИЯ»! И тогда — произнесённый — глагол меркнет! Не та территория, над которой реактивные двигатели слов благополучно ускоряются! Лучше сразу о *русской душе*. Это отнорочек, выход в евроазиатскую экзистенцию, от которой до буддизма рукой! А там, как известно, слова вне институции концепта.

По любой из фотографий Виталия я утвердил бы его на роль крёстного отца с вытекающими полномочиями прямо в канализационную действительность. В которой плохие и хорошие парни — одно целое, и в которой говорят стволы и перья, а не языки. Виталию не надо закладывать за губы сигару, достаточно неразборчиво (в смысле эстетики) пошутить. Когда мы встречаемся на палубе роскошной яхты, и он дремлет в шезлонге у бассейна, перевёрнутая рюмка покачивается у ног, ударяясь всегда о дорогой переплёт романа «Анна Каренина».

Одна из близких мне женщин при встрече с Виталием сразу же достаёт из ридикюльчика обрамлённое бриллиантами немеркнувшее **«СОВЕСТЬ»**. Чисто по-

женски! Кто сегодня, будучи в адеквате, начнёт про совесть! Только влюблённая бескомпромиссная женщина. Как можно служить дьяволу — если переводить на жаргон дистрибьютора или спонсора. (Хотя, честно признаться, покашливая, слежу за «полемикой»!)

Мы традиционно гуляли по Риму, Нью-Йорку, Мальмё, Москве, пользуясь редким единообразием разговорной эстетики прошлого. Будто общепринятой материи необязательно иметь будущее и выверенное традиционным искусством прошлое. Всегда кажется, что основной сюжет жизни (что-то вроде главного экзамена!) однажды не на шутку состоится и приведёт всё в порядок! Волны жизни плещутся у ног в ожидании доминирующих событий. Это как если бы предположить, что деревья в лесу не просто стоят, но выдерживают натиск очереди в ожидании необходимой прекрасной долины. Эта запись важна замечанием мимолётности всего и вся, даже какой-то раздражающей мимолётности.

ОСМОЛОВСКИЙ

Толя — мне всегда было жалко этого мальчика так беззаветно отдавшего себя революции, этой постоянно изменяющей родине проститутке. Ему бы надо писать детские книги, сказки. Как Аркадию Гайдару, отложить в сторону окровавленную саблю, покинуть кошмары снов с трупами и залечь на дно в Брюгге, как говорится!

Трудоголик революции, всё время сгребает себя из пепла. Левоцентрист, не видящий запада на Западе. Цитирует Остапа Бендера: «Запад нам не поможет. Надо прорываться своими силами!» Любит прихвастнуть вдумчивым чапаевским сомнением, с картошкой за щекой, ссылаясь на скоротечную молодость. Хобби — институциональное рекрутирование молодёжи. Забавно, как близкий к харакири головолосатый акционист Бренер, любящий мастурбировать и испражняться на публике, заглядывает почтительно в рот Толику.

Душевная и ранимая конституция характера Толи с детских лет забросила мальчика в революцию. Напившись кровью, парень потерял голову, но от теплого доброго сердца не уйдёшь. Не так просто покинуть сладостную сентиментальность и нежную доверчивость добротного организма.

Взвалить бремя страстей человеческих на детские плечи и носиться с тяжёлым грузом по полям сражений, кто мужал в атмосфере свободы, тому бесхозная рутина повседневных будней никак не придётся по вкусу. Кто героически колол флажки на фронтах боевых карт и спал в портупее, да что там! Толя обречён страдать и вынужден попросту мять глину. Пропорции, перспектива, кисти, карандаши, мастихины, этюдники, мольберты, стирательные резинки, кнопки, планшеты, пропорции, светотень, акварель, бумага, палитра, тюбики с красками (тсюбики з краськами! Б—ть!) — кто не сойдёт с ума от проклятых канцеляризов, совершенно недоступных продвинутому аналитическому, рвущемуся в бой стратегически-тактическому мышлению?!

Осмоловский, он же «Радек»! Человек устремлённый в недоступное для него академическое русло. Вроде бы рубаха-парень, похожий в собственных глазах на лидера. Не без хвастовства крутящийся у зеркала, хотя, наверное, это лишнее. Толик хотел бы иметь натруженные руки гончара, усталость плотника, удовлетворение от управления праведным трудом пасущегося стада. Здесь уместны любые метафоры, время революционное. На груди крест-накрест пулемётные ленты, в кобуре маузер, бескозырка не на затылок, но набекрень, в зубах папиросочка-самокруточка так и ходит из угла в угол. Довольно лоботрясничать и сюсюкаться, как со свежим пончиком с пустым крутляшом внутри, вокруг сердца. Молодой Толик запросто возглавляет экскурсию отряда солдат в лестничных маршах ЦДХ. Привычным жестом дирижирующих рук управляется взвод (сколько это?) солдат алкающих искусство.

Толик никогда не жил зажиточно, не стремился к мещанской роскоши. И когда мятежные дни революции и распада кончаются — тоска смертная. Нечем выть. Здесь и помогает авангард, способствует вырабатывать желчь на пустом месте, на холостом ходу. Создавать один интернационал за другим, одну институциональную партию за другой и всё это в пустыне Сахаре. Штудировать биографию Радека, презирать Троцкого, играть указательным пальцем на пианино, хлопнула форточка, вздрогнул, в страну возвращаются ветры вульгарной социологии. Если в сознании есть стены, то могут быть и граффити: «Уничтоженная Югославия взрастила Кустурицу и Жижека!» Толик, как неваляшка, в хорошем смысле слова, никогда не падает, хотя и сильно раскачивается.

ДЁГОТЬ

Фамилия — скорее пародия, чем псевдоним, уважительно отпугивающая. Скорее СМЕТАНИНА!

304

Властность, но какая-то невсамделишная. Можно даже неявно посочувствовать, чтобы снисходительность нигде и никак не выпирала. Искусствоведы любят быть большими и внушительными. А когда фотографируются, авоськи с выглядывающим кефиром и батонами хлеба незаметно удерживают за спиной. Хотелось бы сыграть с ней в карты, в дурака, или в крестики-нулики. Чтобы было по-простому и без обид на плохое обманное искусство. Не хочется подпадать под неуклюжесть судьбы.

У времени общего свойства не было, того, что можно было бы назвать сдерживающими перилами. Не было верха, низа. Возможно, не было даже календаря. Тогда как герои хорохорились под тяжестью собственной значимости. В те времена кураторства ещё не было, но осязаемость веса присутствовала, и хорошо было с этим считаться. Жора Сорос. (Просто имя.)

Я не часто беру интервью у женщин, но грешным делом бывают задние мысли. Были они и в этот раз. Но не будем отклоняться, сосредоточимся на лице, на

выразительных говорящих губах, горящих глазах, жестулирующих руках. День был субботний, день был суббботний, день был суббботний Иоанн Богослов, как поётся в песне. При сдерживающих обстоятельствах хотелось проявить максимум ласки, не только из интереса и уважения к полу, но главным образом — к интеллекту.

Екатерина импозантная и величественная! Этого не отнять. Её можно было бы снимать в сериале про Екатерину Вторую! В мировом искусстве есть нашуемвшая дива с которой хочется сравнить нашу героиню. Тоже куратор, тоже искусствовед, и тоже не районного масштаба, и тоже Екатерина! Катрин Милле. В далёком 1987-ом она создаёт грандиозный труд: «Современное искусство Франции», так себе балалайка. Приходится крутиться и в 2001-ом наконец-то выходит скандальный подлинник «Сексуальная жизнь Катрин М». Шум взрывает Францию и регионы Европы! Бесспорный мировой бестселлер — надрывно, как и положено, гласит реклама. И вдруг непредсказуемая радикально-скандальная Катя пишет в 2005 году искусствоведческую книгу «Дали и я». Писать с любовью о ничтожестве и маразматике — опуститься ниже для суперавангардного критика уже нельзя. Но и это не самое ужасное. Через три года выходят зелёные сопля — книга «РЕВНОСТЬ»! Да-да, старославянское слово ревность работает во всей его красе.

Екатерина Дёготь вряд ли опустится до столь непотребной мерзости, но радикализма нашей диве, в хорошем смысле, не занимать. Только бы не сойти с профессиональной дистанции после бурных критических оргий к заурадной усталости, которая всегда есть ревность и зависть к былому.

По глазам Екатерины видно, что она не любитель эксгибиционистских жестов. Её глаза рекомендуют держаться подальше от телесности, незаметно притормаживаю, ни малейшего намёка на коммуникативное насилие. Припотел к спинке стула. Я так улыбался, что мне казалось, будто я пахну фиалками, но

Екатерина смотрела мимо окна. Я мутно смутился, какой же я мужчина, если мои нервы не авангардные, соберись, тряпка, это твоё знамя! Мы не на танцполе, а в медийном институциональном пространстве, защищённом от скабрёзности и глупости реди-мейдов.

Не будем цитировать Локка с Гоббсом, скажем только...

РЕЛЕВАНТНОСТИ (где институции), НОМАДИЗМЫ, ДЕВИАЦИИ, ПАТТЕРНЫ, КОНТЕНТЫ, ЭКСКЛЮЗИВНОСТИ, ГОПНИКИ, ГЕРЫЧИ...

ЗВЕЗДОЧЁТОВ

Ещё одна фамилия весёлого канатоходца! Ногой жонглирующий грушами! Костя несколько утомлённый лёгкостью доступной фамилии с дежурной улыбкой уставшего клоуна; может быть это впечатление не от лица, но от фамилии. Неофициальные художественные люди обязаны излучать тепло, так оно и было. Судьба благожелательно «протапливала» Костю, от которого странно холодноватое тепло распространялось во все концы света. Может быть, не уверен, к Константину надо было приходить с водкой! Его вздорно-весёлое шалое искусство напоённое фольклорной мифологией едва ли не советских анекдотов. Рядом с Костей хотелось икать, смеяться, собирать мухоморы.

Звездочётову плевать! Константин плюёт, не намочив губ, цвиркает, как это могут цыгане и эфиопы. Ему кудри по плечи! Надувную балалайку! Красные мохеровые сапожки! Пошла плясать губерния!

Ему бы лучше жить в Питере. Крезии.

ПРИГОВ

Пригов — звёздный характер!

Незамедлительно (хотя нет, замедлительно!) Дмитрий Адександровича начнут ставить на одну доску с Александром Сергеевичем (одноимённым — ни много, ни мало — Александром Сергеевичем Пушкиным!). Видимо, каждому дню-пузырю нужен свой пушкин.

Дмитрий Александрович — герой собственных фантазий. Строитель хармсовских горячечных миражей, едва ли не параноийальных, но увы. Но по прядку.

Дмитрий Александрович, говорят, Вас долго не пускали в тусовку. Сволочи. А может быть так и должно быть. Трогательный маленький мальчик во всё горло надрывно кричал своё искусство на концертах-выставках. Проступившие красно-синие жилы, как молнии, так и бегали по шее, лбу, запястьям. А как было перекрыть селевой грохот эпохи перемен. Трогательный маленький мальчик с пузырями на брюках коленей не мог не величать себя Дмитрием Александровичем. Видна послевоенная безотцовщина.

Немецкая кровь, глубоко спрятанная в принадлежащем скорбному отечеству теле, бурлила в языковой семантике. Когда не было надобности надрывно кричать, Дмитрий Александрович запросто переходил на высокий слог, недоступный книжному рядовому соискателю-художнику.

Смею предположить, сердце Дмитрия Александровича недоумевало по поводу нагрузок на голосовые связки. Однажды на телесъёмках «Авансцены» в Ленинграде от крика Дмитрия Александровича картинки «СИНТЕЗА» попадали в воду, съёмки передачи проходили на заливе. Кому на Руси жить хорошо? В описываемые времена высоко ценилась способность соискателей просачиваться в СМИ. При этом сегодня смешно, но так было, с гордостью за отечество и завидной похвалой отмечали: «У него или у неё звёздный характер!» Обладать «звёздным характером» было так же необходимо, как и соответствующим прикидом, важно было быть «упакованным». Но мы отвлеклись. Признаться, над имиджем мало кто трудился, тогда как Дмитрий Александрович знал толк в стратегемах, подчас меняя их как перчатки. Держать нос по ветру учились все, как жители жарких стран учились бы кататься на салазках. Не было такого и вдруг праздник карнавала! Дмитрий Александрович был первооткрывателем по созданию сращения со своим героем-

персонажем. С милой тоской в голосе и чарующим рассветным блеском глаз поведал он сказ о необходимости симбиоза. Получалось выразительно и эффектно, будто Дмитрий Александрович проходил сквозь стену и возвращался с другого края со стаканом дымящегося чая.

Дмитрия Александровича (когда он прошёл фейсконтроль) любили все. Тусовка приняла его даже в телевизор. То есть при жизни у Дмитрия Александровича мог появиться шанс стать всенародным, если бы не безвременный уход.

МИЗИАНО

Виктор не может не нравиться! Он нравится всегда и всюду! Может быть не так яростно, как Бакштейн. У него нет недостатка, кроме одного — любит современное искусство!

Виктор — это Наполеон! Не в смысле сумасшедшей или политической идентификации, то Вождь краснокожих! Куратор-общественник, любитель быть в центре внимания, любитель поболтать, в самом хорошем, а ныне ещё и в художественном смысле! Виктор — первый уважаемый критик, который хотел бы понастоящему поженить художника с политикой. Это сводник. Он хотел бы поженить несводимые элементы в целое по-доброму, незлобиво, только благодаря интеллектуальному окрасу.

Виктор Мизиано — лапочка! От этого никак не уйдёшь. Его нескрываемое полное равнодушие к живописи компенсируется неимоверной жаждой власти. Виктор любит во власти не насилие, но её мягкое всеобъемлющее обаяние (или обаяние может быть свирепым и агрессивным?!) Если в интеллектуальном смысле ты познал Виктора, то отделаться от его чар не представляется возможным!

Его логика проста и незатейлива — современная жизнь — это я! Да, кстати, я ещё и рупор, куратор, прошу любить и жаловать! В отличие от Бакштейна Виктор не будет перемежать правду с кривдой. Он ра-

ботает в зоне перманентной искренности, не нарушая клятвенных обетов юности, что чрезвычайно подкупает молодёжь, особенно женского полу. Виктор трепетен и наивен, в отличие от циничного и желчного Бакштейна поставившего всё на ненависть, в то время как куратор Виктор Мизиано неприкрыто, и даже не модно, репрезентирует повсеместную любовь, правда одностороннюю — только к мутному современному искусству, которое так нелепо и по-русски трагикомично, что всё ещё не пробилось ни к рынку (деньгам), ни к власти (политике). И поэтому заслуживает милой снисходительности отечественных критиков, искушённых в приготовлении глобализированных художественных специй.

Не скажу, что мы общаемся каждую субботу и гуляем вместе мяч, но однажды я сказал ему: Виктор, Вы рекламируете плохих парней! (Имелось в виду бренеров-куликов!) И без того милые круглые глаза Виктора округлились ещё больше: «Я???» Ему льстило, и при этом критик не хотел бы испачкаться в навозе. Так я и не услышал, чего в этом реверберирующем «ЯЯЯ» было больше, недоумения или скрытой гордыни от незаметной эксплуатации гастарбайтеров, для роста и выгоды дела акционизма, дела революции и продвижения к власти!

Виктору надо много власти. Очень много. В кресле министра культуры ему было бы в самый раз. Но его беда в том, что он апеллирует не к политикам, а к дебилам, то есть к акционистам. Попросту — к неудачникам, аутсайдерам. Должно быть, его прелестная наивность должна питаться извечным разочарованием (иначе художества не получится?).

Виктор не любит тусовки. Само слово «тусовка» его раздражает, вызывает аллергию. Король поп-арта Уорхол обожал тусовки (а он прорвался к власти там, где прорваться к власти никак не представляется возможным! Америка — не Россия!). Надо бы Виктору полюбить, войти во вкус необязательности тусовок. По-нятно, для мастера слова, для великого риторика тусов-

ка, где владение словом — дурной тон, никак не ко двору. Смени гордыню. Элегантность бессмысленного общения — новая форма акционизма, не так ли? Прелестная пародия на ничегонеделание. Изнеженный гламур, страдающий от отсутствия цинизма, настоящего мужского запаха! Виктор изнежен, что и говорить! Но надо идти дальше, перешагивать через ненависть к любви. Абсурд тоже надо уметь любить со свойственной просвещённому уму галантностью. Уж, коль надел бабочку, не наклоняй рюмку!

Для социалистических дураков худкашу заваривали в г. Любляна, политической аналогии Брюсселя, для аутсайдеров. Словения до 1929 года была Югославией. В 1991-ом году Словения — самостоятельное государство. В 2004-ом вошла в НАТО и Евросоюз. Понятно, откуда продудает идеологема.

ГЕЛЬМАН

Некоронованный король тусовки. Дизайнер новообразованного компьютерного самопиара. Того самого, что вызывает ревность и раздражение любителей властвовать всех рангов. Сотрудничать с Гельманом, выставляться у Гельмана — рисковать репутацией. Давайте сразу оговоримся: ни хорошо, ни плохо о геях, лесбиянках, РПЦ, евреях, домашних животных, адюльтерах и нацменьшинствах. Я не пошёл бы с Гельманом в разведку, потому что ему это неинтересно. Я не сел бы играть с ним в шахматы, потому что он непременно смахнул бы рукавом коня с доски. Сказать, что у Гельмана нюх на политику — оскорбить его. Наоборот — его достоинство в том, что ему медведь наступил на нос — у него абсолютно нет нюха на политику, что делает его приятным увальнем в бросовом искусстве. С Гельманом можно дружить годами, быть может, даже столетиями, не знаю почему, когда и кто составил ему такую репутацию. Быть может, он настолько высокомерен и не раним, что не нуждается в привязанности и верности, что подходит отечественному климату художественных галерей и ночных клубов.

Если Виктора Мизиано мы любим холодной, слегка подмороженной, как клюква, платонической любовью, то с Маратом Гельманом можно этой платонической любви позволить бурлить кипящей лавой! Добряшка, с которым комфортно, который обожает играть с властью, кошка с мышкой (на зависть тому же библиофилу Виктору Мизиано!).

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА



Генералы и адмиралы. Психогеография агрессии 4

м и к р о

Марина Третьякова. Золотая бабочка 6

Карина Намазова. Жор 8

Александръ Саньковъ. Изъ дневника 12

Артур Другой. Сатаника 14

Света Литвак.

Обнаруженное в архиве семьи Егё 16

п р о з а

Александр Гунин. Лук 20

Сергей Дедович. Как я рис доел 33

Дмитрий Колейчик. Нереально 39

Евгений Долматович.

...и да придет Царствие Твое 49

Свят Павлов. Инициация 70

ш к о л а т р у п о в

<i>Павел Лукьянов. Бесконечное детство.</i>	
<i>Мертвая поэзия победившей революции</i>	75
<i>Карл Радек. Борис Савинков</i>	168

с ц е н а

<i>Евгений Телишев. ПОВИТУХИ ИЛИ ЛАО-ЦЗЫ</i>	
<i>(По Юань-Мэю и Чехову)</i>	176

к а м у ш е к в б о т и н к е

<i>Арсений Занин. Агрессия как вирус насилия:</i>	
<i>Страх и Анархия в Соединенном Королевстве</i>	184
<i>Вадим Климов. Мертвая мать</i>	
<i>и одиночество Йоргоса Лантимоса</i>	199
<i>Алексей Лапшин. Копытом в смерть</i>	203

polaroid

<i>Вадим Климов. Медицинская агрессия.</i>	
<i>Шесть кадров пандемии</i>	207
<i>Маруся Климова. Опираясь на пустоту</i>	215

extremum

<i>Александр Дугин. Положи свое тело в осоку</i>	288
--	-----

п е р с о н а ж и

<i>Вильгельм Шенрок. Сертификатные встречи</i>	296
--	-----

ИЗДАНИЯ «ОПУСТОШИТЕЛЯ» МОЖНО КУПИТЬ

в Москве:

Фаланстер Тверская, 17

Ходасевич Покровка, 6

Листва Жуковского, 4с1

Книжный в Клубе Покровский бульвар, 6/20с1

Порядок слов в Электротeatре Тверская, 23

Гнозис Турчанинов переулок, 4с2

Москва Тверская, 8с1

Библио-Глобус Мясницкая, 6/3с1

в Санкт-Петербурге:

Все свободны Некрасова, 23

Порядок слов Набережная реки Фонтанки, 15

Подписные издания Литейный, 57

Свои книги Репина, 41

Во весь голос Маяковского, 19

Фаренгейт 451 Маяковского, 25

Иное кино Невский, 60 (кинотеатр «Аврора»)

Верхняя Пышма **Книги, кофе и др. измерения** Успенский, 99

Краснодар **Чарли** Красная, 69

Краснодар **Bookowsky** Рашпилевская, 106

Пермь **Пиотровский** Ленина, 54

Ростов-на-Дону **В порядке** Тургеневская, 78

Ставрополь **князь МЫШКИН** Космонавтов, 8

Томск **Догма 80** Ленина, 85а, 2 этаж, офис 4

Ярославль **Книжная лавка Юрия Швецова** Свердлова, 9

www.opustoshitel.ru, totenburg.org, ozon.ru, Читай-город

lavkababuin.com (Украина)

mybooks.by (Беларусь)

merion.lv (Латвия)